

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ

**НАЧАЛО
ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ**

*ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ПЕРЕРАБОТАННОЕ*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Гиз. № 7311. С.-Э. С. Главлит. № 28635. Москва. Напеч. 4.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-МУ ИЗДАНИЮ.

Книга эта вышла впервые в 1908 г. До этого значительная ее часть была напечатана в журнале. После этого ее главное содержание четыре раза было проведено через университетскую аудиторию. Большое количество источников, не использованных в первом издании книги, привлечены были потом, как и вся литература, появившаяся с того времени.

Научное мировоззрение, которое лежит в основе книги, проводилось в самых первых ее очерках. Все то, что написано вновь, для второго издания — книга стала больше почти вдвое, — вызывалось необходимостью показать, что не только при схематичном обзоре, как это было в первых очерках, но и при детальном анализе материал не только не опровергает научного построения книги, — кое-кто говорил об этом после первого издания, — но наоборот укладывается в него еще лучше.

В книге новы целиком или радикально переработаны главы 2—8, 12—15. Остальное сохранено без коренной переделки.

Я не отрицаю, что в архитектонике книги и сейчас имеются неровности. И продолжаю надеяться, что мне удастся когда-нибудь дать продолжение книги, которое самым естественным образом эти неровности ликвидирует.

А. Д.

Москва.
Январь 1924 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие</i>	3
1. Что такое Возрождение	5
2. Средневековая культура	7
3. Предвестники Возрождения	12
4. Городская культура	15
5. Городская литература	28
6. Итальянские города	37
7. Италия—колыбель Возрождения	57
8. Данте	63
9. Джотто	77
10. Петрарка	83
11. Боккаччо	101
12. Тиранны и кондотьеры	112
13. Флоренция под властью цехов	120
14. Социальная борьба во Флоренции XIV в.	135
15. Восстание чомпи	142
16. На повороте	155
17. Монах и канцлер	163
18. Козимо Медичи	170
19. Гуманизм пускает корни	182
20. Флорентинская плеяда	190
21. Брунеллеско	207
22. Донателло	216
23. Мазаччо	230
Хронологическая таблица	240

1. Что такое Возрождение?

Что такое Возрождение? Исчерпывающий ответ на этот вопрос может быть дан, лишь когда мы ознакомимся со всеми многообразными проявлениями той культуры, которую принято называть культурой Возрождения. Но, чтобы читатель не был совершенно лишен руководящих точек зрения, попытка дать это определение будет сделана сейчас же.

Историки, писавшие о Возрождении, понимают это слово по-разному. Одни из них говорят об «эпохе Возрождения» и нередко пытаются установить для нее хронологические рамки; другие подразумевают под ним просто факт — возрождение классической древности; третьи — считают Возрождение культурным течением, которое определяется различными, более или менее характерными моментами. Некоторые из формул осложняются еще тем, что в них замешивается другой термин, более простой, но тоже вызывающий разногласия, — гуманизм. Оба термина как будто характеризуют что-то очень близкое по содержанию, но в литературе далеко не так просто решается, одно ли и то же Возрождение и гуманизм, две ли стороны одного и того же, или совсем различные вещи. Большинство историков, повидимому, держится того мнения, что гуманизм — одно из проявлений духа Возрождения. Те, которые считают Возрождение фактом (возрождение древности), смотрят на гуманизм, как на нечто более широкое, и превращают его в этикетку для эпохи («возрождение древности или первый век гуманизма»). Наконец, некоторые объявляют оба термина синонимами.

Теперь не приходится уже серьезно отстаивать тот взгляд, что было действительно «возрождение классической древности» в Европе. В своем месте будут приведены факты, показывающие, как много было в Италии и в других культур-

ных странах переживаний античного. Воспоминания о древности, литературные мотивы, заимствованные из греческих и римских классиков, язык,—все это слишком сильно напоминало о древнем мире, чтобы воспоминание о нем могло умереть и чтобы древности потом пришлось «возродиться». Количество изучения древности в XIV в. в Италии, в XV—за Альпами возросло и усилилось, но не оно внесло те новые принципы, которые являются наиболее характерными признаками Возрождения.

Немногим лучше и понимание Возрождения как эпохи, особенно когда стараются указать хронологические границы для этой эпохи. Если спросить у разных историков, какой период времени они понимают под «эпохой Возрождения», то эпох будет ровно столько, сколько историков. И это понятно. Если с термином эпоха связывать, как это делают обыкновенно, представление о промежутке времени, обнаруживающем некоторые культурные в широком смысле особенности, то для Возрождения этот термин будет мало пригоден; Возрождение—одно из тех культурных течений, где крайне трудно собрать воедино все особенности и еще труднее указать моменты, когда они появляются и когда исчезают; кроме того, вследствие многочисленности этих особенностей самые моменты их появления и исчезновения не только не совпадают, но часто отделены один от другого большими промежутками времени. От «эпохи Возрождения» нужно отказаться, как и от «возрождения классической древности».

Остается третья формула—правильная.

Она отказывается удерживать в какой бы то ни было мере этимологический смысл слова. Есть Возрождение, но нет возрождения. Ибо в Возрождении главное совсем не то, что возрождалось. А то, что возрождалось, если возрождалось, имело значение второстепенное. Словом, «Возрождение» есть не более, как условный знак, условное обозначение одним термином сложного процесса. Термин сохраняется просто для удобства. Что же такое Возрождение?

Под Возрождением следует понимать культурное течение, вернее—культурный процесс. Общественный смысл его в том, что он совершенно убил средневековую культуру. Его главный результат,—что он освободил человеческую личность от средневековых пут, дал торжество мирской точке зрения, ос-

мыслил и углубил индивидуалистические устремления. Его главный признак—что он ищет опоры в культуре древности и поэтому изучение древности делает своей главной научной целью.

Возрождение началось гораздо раньше, чем это принято думать. Лаборатория культуры Возрождения—город. Возрождение противоположно средневековой культуре, как городской строй противоположен феодальному укладу. Возрождение—это городская культура, под которую подведен идейный фундамент. Нельзя Возрождение отрывать от той почвы, на которой оно выросло,—от почвы города. Нельзя Возрождение изучать исключительно, как эволюцию идей и забывать о его социальных корнях. Городская культура—удивительно стройное целое. Ее идейные особенности крепко покоятся на материальном фундаменте и окажутся совершенно необъяснимы, если мы выбросим из поля нашего анализа экономику города и его социальный рост. Поэтому не только корни Возрождения, но и вся его последующая эволюция должны изучаться в свете теории единства исторического процесса. Только исходя из этой теории, можно правильно понять Возрождение, и, наоборот, изучение Возрождения дает ей необыкновенно красноречивые подтверждения.

Чтобы наша формула наполнилась реальным содержанием и сделалась точнее, необходимо выяснить несколько вопросов: В чем характерные особенности средневековой культуры? Что подготовило ее крушение? Каковы были особенности городской культуры? Когда мы получим ответ на эти предварительные вопросы, дальнейший анализ сам собою поведет на правильный путь.

2. Средневековая культура.

Средневековая культура—культура поместного уклада. Она складывается из трех главных составных признаков. Отношения людей между собою определяются феодальным строем. Отношение людей к церкви определяется идеей иерократии. Отношение людей к богу определяется принципом аскетизма.

Феодализм в средние века проникает собою все стороны жизни. Некоторые его черты продолжали жить и в новое время, но классической эпохой феодализма являются несо-

менно средние века. В экономическом отношении он держится на натуральном хозяйстве, т. е. на такой системе удовлетворения непосредственных жизненных потребностей, при которой каждый производит и имеет все необходимое дома и не принужден обращаться к обмену за чем-либо существенным. В социальном отношении он держится на землевладении и на системе неравенств, на делении людей на свободных и крепостных. Так как торговли почти нет и денег в обращении крайне мало, то главным богатством является земля. Земля же составляет источник могущества. Она принадлежит исключительно свободным. У кого много земли, тот может часть ее уступить в пользование другому, тоже свободному. За это тот другой обязан по отношению к первому (сюзерену) службою (вассальная служба). Если же на земле свободного, барона, живут крестьяне, они становятся крепостными; помещик требует от них работы на себя и волен делать с ними, что хочет, «сварить или изжарить», как гласит внушительная средневековая поговорка. В политическом отношении каждый барон—государь в своем поместье, не признает никакого суда над собою, кроме суда себе равных, не признает за королем верховной власти над собою, ибо считает его только первым между равными. Феодалный король—не абсолютный монарх: он ограничен своими вассалами, которым уступает целый ряд прав и привилегий верховной власти. В морально-бытовых отношениях барон—рыцарь. Если он хороший рыцарь, то он должен бояться бога, почитать церковь и ее служителей, быть верным государю, служить даме сердца, биться с неверными, карать преступников, защищать слабых.

Иерократия (прежде неправильно говорили «теократия»), это—представление о власти католической церкви над миром. Представление это очень широкое. Оно подразумевает подчинение светской власти власти духовной, авторитет догмы в делах разума, авторитет канонический в вопросах права, вмешательство папской власти в целый ряд житейских и общественных отношений. Когда сталкивались две власти: светская и церковная, принцип иерократии требовал, чтобы они размежевывались таким образом: в светских вопросах церковь совершенно независима от государства, а в вопросах, имеющих хотя бы самое отдаленное отношение к духовным делам, государство должно уступать церкви. Слабая светская

власть не могла воспротивиться осуществлению этого принципа. Церковь постепенно освобождалась от всех мирских обязанностей, от вмешательства государства в решения церковного управления и церковного суда, захватывала в свои руки суд по брачным и наследственным делам. Мир, таким образом, подчинялся церкви, а церковь — папе.

Папа сделался верховным судьей и законодателем христианского запада. И Иннокентий III (1198—1216), наиболее блестящий представитель иерократического начала, недаром, говоря о папе и светском государе, сравнивал их с солнцем и луною. Государь действительно в значительной степени заимствовал свой блеск от папы, в его присутствии бледнел и ступивался. Иннокентий далеко не ограничивал сферы своего вмешательства вопросами, имеющими отношение к духовным делам. Он вмешивался всегда, когда хотел, и всегда умел выставить благовидный повод вмешательства. Когда король французский Филипп II Август развелся с женою, Иннокентий запротестовал, потому что дело шло о святости брака; когда началась война между Филиппом и Иоанном Безземельным английским, его вассалом, за Нормандию, Анжу и Мэн¹⁾, Иннокентий объяснял свое вмешательство тем, что короли совершают грех, вступая в войну.

Такая практика не могла держаться одним обычаем: она нуждалась и в теоретическом оправдании, и в юридической охране. Первым занялась средневековая философия—схоластика, бывшая послушной служанкой богословия, говоря проще,—церкви; вторым—средневековые специалисты по каноническому праву. Схоластика скрывала умственную жизнь, каноническое право—общественную. Про запас церковь имела еще инквизиционные застенки и костры.

С идеей иерократии тесно связана по своему происхождению идея аскетизма; обе они коренятся в учении блаженного Августина о противоположности града божия—церкви и града дьявола—мира. Иерократия и аскетизм—две стороны средневекового миросозерцания, поскольку оно господствует

¹⁾ Это—французские провинции, принадлежавшие Англии с тех пор, как герцог Анжуйский сделался королем Англии под именем Генриха II. Так как герцоги Анжуйские были вассалами французского короля за эти земли, то и английские короли, в качестве их владельцев, оставались вассалами короля Франции.

над идейною областью. Близости принципов соответствует тесная связь между их носителями—папством и монашеством.

Основная формула аскетизма—в словах Екатерины Сиенской: «Бог противоположен миру, и мир противоположен богу». Кто хочет возлюбить бога, должен уйти от мира; другого выбора нет. Мир и мирское—предано проклятию. Все помыслы должно направлять на небесное, на загробное существование. Любовь—гнусность, ибо она мешает единственной законной любви, любви к богу. Брак не делает земной любви законной: он едва-едва ее оправдывает. Женщина—сосуд греховный и источник скверны: никогда ни раньше, ни позже не терпела женщина столько поношений, как в период расцвета аскетической литературы. Отрицая брак, аскетизм отрицает семью; отрицая семью, он отвергает ее материальную основу—собственность и производящий собственность труд. Бедность становится идеалом.

Простого удаления от мира и отказа от всего мирского еще недостаточно для того, чтобы сделаться хорошим аскетом. Необходимо активное подвижничество—истязание плоти. Это истязание доходило до чудовищных размеров, и только одно то мешало фанатикам добивать себя бичами и еще более варварскими инструментами до смерти, что церковь осуждала самоубийство. Изнурению плоти должно было соответствовать подавление воли и разума. Воля подавлялась рабскою покорностью духовному начальству и смирением; разум убивался притупляющею дисциплиною и бесплодно умственной работою над вопросами богословскими. Так, в темной, тесной келии, вдали от мира, заглушая порывы воли и голос разума, жили и предавались подвижничеству, «подобные трупу» в своем слепом покорстве,—средневековые аскеты.

Все три стороны средневековой культуры находились в тесной связи между собою. Незачем распространяться о близости между принципами иерократии и аскетизма. Но и феодализм имел не одну точку соприкосновения и с тем и с другим. Натуральное хозяйство делает ненужной торговлю; отсутствие торговли делает лишним и даже подчас вредным кредит. Каноническое право осуждает процент, как ростовщичество, и тем как бы освящает, само того не понимая, веления натурально-хозяйственной действительности. Общества в бытовом смысле феодальный строй не допускает, женщина появляется

среди мужчин только в исключительных случаях: на турнирах, на приемах; простого отношения к женщине быть не может. Это делает понятным в одинаковой степени как полумистическое поклонение женщине, так и аскетическую ненависть к ней.

Если мы будем искать равнодействующую всех указанных особенностей средневековой культуры, то мы найдем ее в одном факте: в подавленности и приниженности человеческой личности. Личность всюду подчинена какой-нибудь выше нее поставленной идее, если она не подчинена просто-на-просто другой личности. Рыцарь, барон, существует для войны. Он обязан быть верным своему сюзерену и безропотно покоряться его приказаниям в пределах обычая. Монах подчинен своему уставу и скован обетом послушания. Виллан отдан на произвол сеньеру. Мыслитель связан догматами, установленными иерократией. Свобода отсутствует совершенно. Средневековое общество знает множество «свобод», вольностей, т.-е. привилегий для лиц и общественных групп, но ему совершенно незнакома свобода вообще, свобода личности с ее последствиями. Авторитет, традиция, обычай—вот что царит над средними веками, давит и принижает человеческую личность.

Сказанное определяет, конечно, не все содержание средневековой культуры, а лишь ее господствующие устремления. Были, конечно, исключения. Начиная с того, что не все крестьяне были крепостными, и кончая тем, что не все думзющие люди были аскетами. Но если, как это теперь можно считать доказанным, свободных крестьян было много, то их культурное состояние мало чем отличалось от культурного состояния крепостных. Если не все были аскетами,—аскетизм все-таки давал господствующую идеологию, и заботы о спасении души—простейшее выражение аскетической идеи—не были чужды никому. Поместье—насыщающая его культурная атмосфера—формировало свои настроения, типичные для средневековой культуры.

Человек поместья был безнадежно прикреплен к земле, кучастку, на котором он жил и кое-как кормился. Он никогда не помышлял о том, что он может существовать вне этого участка. На нем могло быть плохо. Вне его наверно было хуже. Земля давала или должна была давать ему все необходимое: пашня—хлеб и лен, огород—овощи, сад—фрукты, дуга—

сею для скота, скот—мясо и шерсть, мастерские—утварь, инструменты и оружие. Если бы у него порвалась связь с землею, он бы погиб, потому что нигде в другом месте он не мог бы найти того, что имел дома. И он покидает землю, с которой связан, только в самых исключительных случаях: когда неурожай и голод погонят его прочь или когда заботы о спасении души заставят его господина наскоро вооружить его и вести за собою в святую землю, отнимать «гроб господень» у неверных.

В обыкновенное время он цепко держится за свой клочок, несмотря на жесточайший помещичий гнет. Замок его господина, стоящий на горе, видный отовсюду, был в его глазах божьим установлением. Священник неустанно укреплял его в этом убеждении, и оно сидело в его голове крепко и неискоренимо. Все, что исходило из замка, было ко благу. Так его учили. И вырастала в этом полуголом, приниженном состоянии порода людей покорная и забитая. Голод и гнет пригибали к земле, мертвили и опустошали душу, стнимали присутий нормальному человеку размах, в корне убивали всякий личный почин, всякую энергию. Густая завеса скрывала от глаз человека широкий мир. Он жил и умирал, веруя, что все всегда так было и так будет. Он не мог вырваться из оков той культуры, в которой он жил. Она была в его глазах защищена двойной твердыней: несокрушимых каменных стен господского замка и столь же несокрушимой религиозной традицией, пророком которой был его священник. Люди поместья, пока они жили в поместье, были неспособны ни сокрушить старую культуру, ни создать новую. Из поместья те же настроения распространялись в другие общественные соединения: в школу, в церковь, в монастырь. Но когда жизнь переросла старую культуру, гнезда новой—и чем дальше, тем в большем количестве, — появились вне поместья. В городах.

3. Предвестники Возрождения.

Характерные черты крупного исторического явления никогда не проявляются сразу; они вырисовываются постепенно, мало-по-малу, и так же постепенно исчезают. Корни его заходят далеко в глубину прежних исторических периодов: отголоски замирают с трудом и слышатся много времени спустя

после того, как явление в целом отошло в область чистой истории. В этом постепенном нарастании и угасании культурных признаков заключается одна из особенностей исторической эволюции. Смена культурных признаков обусловлена сложною цепью причин; новые культурные признаки так или иначе связаны со старыми, если не прямо ими обусловлены; признаки, характерные для каждой данной стадии процесса, тесно связаны между собою.

Вот почему, отыскивая корни того культурного течения, которое нас интересует, мы должны зайти за несколько веков назад и там искать первого появления его признаков. При этом нужно иметь в виду, что не все то, что внешним образом имеет сходство с культурою Возрождения, может быть рассматриваемо, как один из ее корней. Чтобы признать наличие корня, требуется не только внешнее сходство, а нечто большее: сходство всей социальной и культурной обстановки. О корнях можно говорить лишь тогда, когда соответствующие культурные факты вырастают на таком материальном фундаменте, на котором другие культурные факты вырастать не могут. Вот два-три примера.

В IX и X веках мы уже встречаем факты, которые не вяжутся с общим духом и направлением средневековой культуры и скорее могут быть сближаемы с культурою Возрождения. Так, очень много говорили о так называемом «Каролингском Возрождении», о временном оживлении интереса к древней литературе при дворе Карла Великого, об Оттоновском Ренессансе, тоже о временном подъеме интереса к древности при Оттонах в Германии¹⁾. Но эти факты стоят одиноко и не могут быть приводимы в связь с Возрождением. И «Каролингское Возрождение» и «Оттоновский Ренессанс» были короткие вспышки. Ярко разгорелись, быстро погасли, Следов не оставили. Потому что выросли не на той почве, на какой могли вырастать здоровые и жизнеспособные плоды этого рода. Они явились прежде времени и не вязались с феодальным укладом, который был полон силы и не терпел таких куль-

¹⁾ Это—факты наиболее крупные. Были и другие. Теперь в литературе говорят о целом ряде таких же «Возрождений»: о двух или трех византийских, об ирландском, о староанглийском, о касинско-римском, о норманнском. К каждому из них применимо то, что говорится о каролингском и оттоновском.

турных надстроек. За пределы дворов ни один из этих скороспелых Ренессансов не пошел, в сколько-нибудь широкие общественные круги не проник.

Другой пример: в X веке были мыслители, которые с точки зрения господствующей церковно-феодальной идеи могли казаться настоящими революционерами. Таков знаменитый схоластик Иоанн Скотт Эриугена, стремившийся примирить восточный пантеизм с христианством, решительно отрицавший вечность адских мучений и даже самый ад, доказывавший, что разум не нуждается для своих утверждений ни в каком авторитете, ибо авторитет есть не что иное, как истина, открытая путем разума. Таков не менее знаменитый Герберт, впоследствии папа Сильвестр II, проникнутый совсем не средневековым энтузиазмом к древности, писавший работы по разным отделам математики, по философии, истории, оставивший поэтические произведения, гениальным чутьем предугадывавший идею классификации наук. Но оба мыслителя опять-таки стоят одиноко. Под ними нет той социальной почвы, которая была бы способна сообщить их мыслям силу распространения. Они не могли сделаться достоянием общества. Как коллективная, так и индивидуальная культурная работа, протягивающая руку грядущим векам, но плотно окруженная социальными установлениями феодального строя, имеет с культурой Возрождения только внешнее сходство, не более. Это не корни Возрождения. Это лишь его далекие, случайные предвестники.

Где же настоящие корни? Чтобы их нащупать, нужно перешагнуть из X века в XI и в XII.

В XI и в XII веках факты, подобные только что перечисленным, сделались многочисленнее. Они перестали быть изолированными. Их влияние стало ощущаться более сильно. И, что всего важнее, под ними постепенно начал появляться такой материальный фундамент, природа которого прекрасно соответствовала природе этих фактов. Феодальный уклад начал разрушаться. Тот процесс, которому суждено было внести разложение в основы феодального строя, зовется хозяйственным переворотом. Признаки его налицо уже в XII веке. Процесс был тяжелый и длительный. Им положено начало городам. А в городах создавалась городская культура.

4. Городская культура.

С началом крестовых походов увеличивается торговые сношения. Торговля постепенно разбивает основы натурального хозяйства, ибо становится невыгодно дома производить то, что дешевле купить на рынке, и накапливать дома запасы того, что с пользой может быть отчуждено на сторону. Земледелие, таким образом, отделяется от промышленности, промышленность дробится на многочисленные отрасли. Так как натуральный строй — хозяйственный фундамент феодального общества, то его распадение сопровождается распадом феодальных общественных форм. Натуральные крестьянские повинности — барщина, оброк натурой — переводятся на деньги, ибо это выгодно помещику. Перемена форм повинностей означает отмену крепостного права и начало эры социальной свободы.

Из однородной, бесправной, приниженной народной массы выделяются горожане. В раннюю пору средних веков города были редки, ибо в них не было нужды. Города создаются торговлею и промышленностью и существуют для них, а ни того, ни другого ранее средневековье почти не знало ¹⁾. Города со своим населением принадлежали помещикам — одному или нескольким — на тех же основаниях, как и поместья с крестьянами. Городскими сеньерами в большинстве случаев были епископы. Возродившаяся торговля обогатила прежде всего городское население, наиболее влиятельную часть которого составляло купечество. Горожане легко пришли к пониманию огромного социального значения капитала. Полные победного увлечения, уверенные в своих силах вступили они в борьбу с сеньерами из-за свободы. Частью силою оружия, частью при помощи денежной сделки горожане завоевали себе свободу и могли беспрепятственно отдаться торговой деятельности. Мало того, города в силу тех же условий торговли сами сдела-

¹⁾ После появления 2-го издания книги А. Донша, «Wirtschaftsentwicklung d. Karolingerzeit» (1922), приходится ограничить мнение о редкости городов и слабости торговли в каролингскую пору. Но для IX—XI веков прежние взгляды остаются в силе. Множество каролингских городов исчезло в последующий период. Другие еле еле влачили существование. Это одно говорит о сильнейшей натурально-хозяйственной реакции.

лись источниками свободы: человек, проживший в городе определенный срок, обыкновенно год с днем, тем самым становился свободным. Если основывались новые города на помещицкой земле, то их населению заранее обещалась личная свобода.

Так было положено начало падению феодального строя. Одна форма свободы сделалась знакома средневековому обществу. На этом процесс, конечно, не мог остановиться. Психика свободного человека совершенно иная, чем психика человека зависимого: требования его больше; добивается он своей цели энергичнее; он не может мириться со стеснениями, которыми полон средневековой умственный и моральный обиход.

И этот переворот в психике средневекового человека в значительной степени является результатом торговли. Та обстановка, в какой купцу приходилось вести торговлю, порождала качества, обществу раньше неизвестные, вызвала потребности, прежде ему чуждые.

Средневековой купец совершенно не похож на своего потомка XX века, на какого-нибудь американского крупного коммерсанта, который, сидя у себя в конторе с десятком телефонов на необъятном бюро, с телеграфным аппаратом в соседней комнате, подписывает бумаги и делает обороты на сотни тысяч. В средние века купец обыкновенно сам сопровождает свои товары, часто один путешествует с небольшим грузом в далекие страны, подвергаясь всевозможным случайностям. Средневековая торговля полна такими случайностями. В лесах и ущельях купца подстерегает рыцарь-разбойник, который живет грабежом и поборами с купцов. Дороги отратительны, и, если телега сломается и ось коснется земли, купец лишится своего товара, на строгом основании принадлежащего барону призового права. На протяжении пути товар вскрывают на сотнях застав, чтобы взыскать пошлину, и товар часто не выдерживает этой операции и портится. Чтобы быть готовым каждый день встречать лицом к лицу новую опасность, нужна была железная воля. Чтобы не бросить торговли после первых же катастроф, требовалась несокрушимая энергия. Чтобы не убоиться огромного риска, сопряженного со странствованиями, необходим был широкий размах. И среди тысячи тревог у купца воспитались эти

качества. Верхом на рослом коне, с мечом у седла, одетый в панцырь, сопровождаемый вооруженными слугами, ехал купец со своим товаром, зорко всматриваясь в окрестности и готовый грудью защищать свое имущество.

Он настороже. У него все чувства обострены. У него прежде всего раскрылись глаза. Когда аскет шел или ехал, он был углублен в себя. Он не замечал того, что делалось кругом. Он глядел в свою душу. Про Бернарда Клервосского его биограф рассказывает, что он целый день шел по берегу Женевского озера и не заметил огромной водной стихии рядом ¹⁾. Купцу нельзя быть углубленным в себя или видеть что-нибудь, не замечая. Он должен был смотреть во все глаза, оставляя беседу с собственной душой до более удобного момента. Если бы он перестал смотреть и замечать, у него могла бы перевернуться телега, он мог бы не разглядеть опасности во-время. А такие вещи означали в то время гибель или, в лучшем случае, потерю товара. Он смотрел и видел. И привык находить красоту в окружающем: в лесу, в холмах, в реке. Родилось чувство природы, сначала пассивное: человек смотрел и любовался. Потом оно стало активным: человек начал искать в природе красоту. Это был первый результат торговых поездок. Потом явились другие.

В этих поездках, в постоянных торговых расчетах, в непрерывных мирных и враждебных столкновениях с людьми крепили нервы, вырабатывалась самостоятельность, развивалось критическое отношение к действительности. Такого человека не легко было загнать в ярмо. Он рвался вон из затхлой атмосферы средневековой церковной культуры. Все эти приобретения ума, чувства и воли подготавливали переход к чему-то новому, отличному от того, чем дух человеческий питался в феодальную эпоху, к тому, из чего создастся современем новая культура. Если считать главным отличительным признаком этой новой культуры могучий рост личного начала, то нельзя будет не признать, что именно та жизнь, которой жил купец, представляла наиболее удобную питающую почву для индивидуализма, что именно те качества, которые вос-

¹⁾ «Если ему и случалось что-нибудь увидеть, — говорит автор, — то, так как память его была занята другим, он не замечал виденного. Ибо без помощи памяти чувство осязающего — ничто».

нитывала экономическая и общественная практика горожанина, делали прежнего рыхлого и сырого человека сильной индивидуальностью.

Городской человек, ремесленник или купец, — уже не крепостной. Он уже не чувствует над собою помещичьего гнета. Он привык распоряжаться собою и своею судьбой самостоятельно. У него нет господина. Никто не мешает ему делать то, что он сам считает нужным. Естественно, что при этих условиях в рабьей душе прежнего крепостного происходит резкий перелом. Он находит в себе силу дерзать, и когда ему нужно думать о чем-нибудь таком, что выходит из рамок его обычной хозяйственной жизни, он не оглядывается больше пугливо, как прежде, на замок барона, или на маковку соседней церкви. Замок остался в деревне, откуда он ушел. Того, что скажет ему священник, он не боится. У него свои взгляды. Поучения он отвергает, а если ему говорят о верховном авторитете, ему и это не страшно. Он уже заражен бунтом.

Людам, которые стояли на точке зрения старой феодально-католической культуры, которые были неразрывно с нею связаны, эта новая особенность душевного уклада городского человека бросалась в глаза очень рано. Представители старой культуры, люди, принадлежавшие церкви, оставили нам первые портреты городского жителя. Конечно, эти портреты сделаны в тонах обличения и злого сарказма. Но от этого они не теряют своего огромного значения. Вот какую характеристику обитателей города Тия, бывшего в XI и XII веках видным торговым центром в земле фризов, дает одна хроника: «Скажу немного о том, чем названные жители Тия нравами и установлениями отличаются от других людей. Не для порицания, а соболезнуя в самой глубине сердца, скажу я это. Люди они грубые (*duri*) и никакой сдержке (*disciplina*) недоступные. На суде дела решают не по закону, а по произволу и утаверждают, что так делается согласно хартии, полученной от императора. Если один от другого получил что-либо в долг или по договору, и давший требует возвращения перед судом, тот, другой, спокойно клянется, что это наговор и что он ничего не получал. И если вещь такая маленькая, что ее можно зажать в кулаке, он охотно поднимет другую руку для присяги, что у него ничего нет...

Предубодеяние не считают виною. Пока жена не поднимет шума, мужу дозволено пятнать себя гнусными поступками, и никому, кроме жены, не позволено затеять об этом дело перед церковным судом. В пьянстве усердие проявляют великое. И кто на попойках громче рассказывает грязные истории (*turpes sermones*) для возбуждения смеха и для подстрекательства к вину невежественных людей, тот удостоивается самой большой похвалы».

Если от этого описания отнять явное преувеличение, мы получим живую и, повидимому, в общем верную картину первой стадии процесса возникновения новой культуры. Новый человек уже родился. Он живет так, как хочет, и не считается ни с чем. Десять заповедей, видимо, забыты. О спасении души заботятся мало. Зато много заботятся о приобретении и проявляют большую склонность к веселому времяпрепровождению. Человек сбросил с себя старые путы. Земной мир, земные расчеты всецело занимают горожанина. У него так много дела на земле, что думать о загробном мире так, как того хочет церковь, ему некогда. Это не значит, что он отбросил всякую религию. Мы увидим в свое время, что и религию он создал себе свою собственную, не такую, о какой говорил ему его приходский священник. Теперь, если у него оставалось свободное время, он проводил его так, как не предвидел ни один монастырский устав.

Сильное напряжение воли в часы досуга разрешалось крепкими развлечениями—пирушками, где можно было напиться до потери сознания, зрелищами, где можно было насмехаться вдоволь, лупанаром, интригой с женой соседа. Горожанин, конечно, совершенно не думал о том, что все эти его похождения отмечены перстом истории, что они знаменуют разрушение средневековой культуры, и, разумеется, не помышлял ни о каком теоретическом оправдании того, что он делал. Он был практик до мозга костей и не подозревал о том, что существует на свете теория.

Но подобно тому, как аскетическое настроение не ограничивалось монастырской келией, а разливалось более или менее по всем слоям общества, так и новое настроение, которое постепенно вырабатывалось в городах, не оставалось исключительным достоянием горожан, а завоевывало себе все больше и больше приверженцев. Его момент настал. Оно

начало свое победное шествие, постоянно сталкиваясь с различными сторонами старого мирозерцания и мало-по-малу побеждая его. Для окончательного торжества ему понадобились века и героические усилия длинного ряда поколений, но уже с первых же шагов выяснилось, что старому церковному мировоззрению не устоять против молодого натиска мирской культуры.

Прежде всего рухнули те стороны средневековой культуры, которые больше всего мешали новым людям. Ранее других должно было пасть каноническое учение о лихве, так хорошо согласовавшееся с хозяйственным строем, не знавшим обмена, и сделавшееся тормозом, когда торговые сношения увеличились и явилась необходимость в организации кредита. Нормы канонического права нужно было заменить другими. В современном обиходе таковых не оказалось, создавать новое право было еще рано: жизнь не накопила для этого достаточно материала. И вот в XII веке к услугам жизни является возрожденное римское право. Так называемая рецепция римского права, т.-е. восстановление римских правовых норм для нужд нового общества ¹⁾, есть не что иное, как ответ на запросы хозяйственной необходимости. Римское право, создавшееся в обществе, построенном на системе сложного обмена, превосходно приспособленное к самым тонким коммерческим расчетам и сделкам, с избытком удовлетворяло довольно элементарные на первых порах потребности торговли. Правда, не без борьбы и не без компромиссов кредитные сделки получили право гражданства и были освобождены от церковного проклятия, но, в конце концов, дело было сделано, и сама церковь первая стала пользоваться кредитом для своих целей. Общество одержало победу над церковью.

Эта победа готовилась исподволь. Иерократическая идея теснила и давила общество, но оно не решалось вступить в борьбу с папой, в котором продолжали по традиции

¹⁾ Особенно много сделали для этого юристы (так назыв. глоссаторы, т.-е. толкователи) болонского университета в Италии: Ирнерий, Аккурсий и др., начавшие вновь разрабатывать главный римский источник общих юридических построений — Пандекты. Другая часть юстинианова *Corpus juris*, Кодекс, продолжал изучаться и кое-где даже действовал в течение самых глухих периодов средних веков. Важна была рецепция именно Пандектов, теоретической части *Corpus'a*.

видеть преемника св. Петра. Нужно было, чтобы это представление поколебалось, а для этого, в свою очередь, было необходимо более близкое знакомство с Римом и святым престолом. Его доставили многочисленные путешествия в святую землю через Рим, участвовавшие вместе с крестовыми походами. В Рим приходили пилигриммы и купцы; через Рим барон вел своих вассалов и вилланов, чтобы биться с неверными в Палестине. Словом, за несколько десятилетий в столице мира успели побывать люди всех классов и профессий, из всей Европы. Знакомство католического мира с папою начало пополняться. И то, что добрые католики видели и слышали в Риме, было в высокой степени поучительно. Из наблюдений выяснялось, что папа — человек, как все, что ничто человеческое ему не чуждо, что вокруг его трона происходят самые обыкновенные безобразия, что сам он большой знаток в вине, а если не очень стар, то и в женщинах, что деньги, которые народ приносит из последнего на престол св. Петра, идут на пиры и оргии, расходуются на красавиц. Престиж папы колебался, и поток жизни постепенно подмывал устои иерократии. Светская власть восстала против господства Рима, и те же болонские юристы в том же римском праве нашли оправдание протесту светского государства. Упадок престижа иерократии был реализован, когда явились настоятельные запросы торговли.

На узаконении кредита дело не остановилось. В торговых сношениях требуются космополитизм и широта. Дух наживы отличается величайшею веротерпимостью, и вот почему в отношениях к народам, не верующим в Христа, наступил такой крутой поворот. Когда при Карле Великом и при его преемниках христиане бились с сарацинами, они видели в них врагов и ничего больше и считали священным долгом истреблять их. Другие неверные — евреи — даже и в то время пользовались большей терпимостью, так как они занимались торговлею. Два века спустя после того, как прекратились набеги сарацин на Европу, христиане вновь встретились с ними на полях Сирии. Они и тут смотрели на них сначала только как на врагов, но, когда стали возможны мирные встречи с мусульманами, перенесение религии в сферу международных отношений сделалось невыгодным. Простой коммерческий расчет убил фанатизм. С мусульманами начались

оживленные торговые сношения, которые достигли очень крупных размеров. Дело доходило, напр., до того, что некоторые итальянские республики продавали сарацинским пиратам корабельный лес, отлично зная, что их суда будут грабить христиан. А в таких городах, как, напр., Монпелье, всегда можно было встретить живописнейшую толпу, составленную из представителей всех вероисповеданий, христианских и нехристианских. Они торговали с местными жителями и были с ними в самых дружеских отношениях. В свою очередь, веротерпимость воспитывала свободное критическое отношение к религии. Совсем не был случайным тот факт, что большинство ересей в средние века возникло в городах, притом в городах тех стран, которые своим торговым развитием опередили остальную Европу — в Италии и южной Франции.

Религиозные вопросы занимали в мировоззрении горожан все время огромное место. Недаром, как увидим, городская литература так безжалостна к представителям духовенства. В насмешках, которыми она их осыпает, нет еще новой программы. В них нет принципиального уклонения от тех религиозных догм, которые проповедывала церковь. Но и этот принципиальный разрыв с господствующей католической догмой не заставит себя долго ждать. Мы видели, как в постоянном кипении практической жизни забываются принципы аскетизма, появляется интерес к мирской жизни и почти совсем прекращаются заботы о жизни загробной. Но до отрицания аскетизма, как жизненного принципа, все-таки еще далеко. Было бы большой ошибкой думать, что средневековой человек, хотя бы то был и горожанин, обвеянный новым духом, сразу и окончательно порвал свои отношения с небом. Штурм неба еще не начинался. До победы над небом еще далеко. В городах борьба с верой в бога только-только готовится. В горожанине еще слишком много было от старины. Он инстинктивно начинал отвергать казенную церковь и казенные религиозные требования, но в нем жила потребность веры, единственное побуждение высшего порядка в его элементарной душе. Он видел фальшь церкви, духовенства и святого престола, но еще верил. Верил и искал способа устроить дела своей веры без посредничества церкви, духовенства и святого престола. Церковь сама была целиком

виновата в том, что горожане отвернулись от нее. Занятая мировыми вопросами, ревниво оберегающая свой исконный духовный удел от всяких враждебных покушений, она совсем позабыла о том, что у людей могут быть религиозные потребности, непредусмотренные церковными статутами. Те застывшие формы богопочитания, которые церковь властно навязывала верующим, перестали удовлетворять людей. Верующие не видели бога, ибо церковь заслоняла бога от людей. Она не допускала непосредственного личного общения с божеством, и люди стали обходить церковь, чтобы стать непосредственно перед лицом бога. Они обратились к евангелию. Так возникли ереси.

Той почвою, в которой укреплялись ереси, хотя бы и занесенные извне, был опять-таки город. Ересь—городская религия, подлинная религия свободного города. Вне города ересь не могла пустить сколько-нибудь глубоких корней. Только город, представляющий большое скопление людей, порвавших с изолированностью феодального мира, привыкших к постоянному общению, более смелых духом, мог сделаться рассадником свободной религии. Ибо ересь по существу своему была не чем другим, как свободной религией. Только город, в котором в период расцвета городской жизни было сколько угодно деклассированных людей, обиженных судьбою, ставших жертвою беспощадной экономической и социальной борьбы, свободная религия, обещавшая не только царство божие, но почти всегда призывавшая к реальной помощи бедняку, проповедывавшая раздел имущества между бедными не только добровольный, но и принудительный,—мог дать сразу огромное количество адептов новой свободной религии. Ибо средневековая ересь была не только религия, но и проповедь коммунистических идей. Нет ничего удивительного, что, уже начиная с XI века, в различных городах появляются одна за другою ереси. Они появляются прежде всего там, где города успели уже разбогатеть и устроить жизнь сложнее и значительнее, чем в других местах. Если проследить внимательно за географическим распространением ересей, то мы без труда увидим, что они следуют непосредственно за ростом благосостояния городов. Где раньше появляются богатство и неизбежная с ним социальная рознь, результат обнищания городских низов, там прежде всего

появляются и ереси. В середине XI века в Милане появилась ересь патаров, которую церковь, еще не разобравшаяся в смысле и значении этого движения, деятельно поддерживала. В начале XII века в тосканских городах проповедывала какая-то секта «эпикурейцев», к которой принадлежали Фарината и Кавальканте Кавальканти («Ад», песня X), о которой позднее историк Виллани отзывался очень неодобрительно. В первой четверти XII века в ломбардских городах возникла ересь катаров, не прекращавшаяся в течение всего столетия и окрасившая своими особенностями все последующие ереси. В середине XII века Арнольд Брешианский привез из Франции новую ересь, которая свила себе гнездо под самой кровлей Ватикана в Риме. Во второй половине XII века в городах южной Франции вспыхнуло движение вальденсов. В начале XIII века в городах южной Италии возникло иоакимитство. В середине XIII века в городах средней Италии распространилась ересь Апостольских братьев.

Корни некоторых из этих ересей были заложены очень далеко. Ересь катаров, например, пришла из самой глубины Передней Азии — из Армении. Ее догматическое основание, дуалистическое представление о борьбе доброго и злого начала, зародилось еще в учении персидских огнепоклонников. Потом, преломляясь в павликианстве и богумильстве, передвигаясь через Малую Азию и Балканский полуостров, она пришла в Южную Европу, следуя по путям за возвращавшимися дружинами крестоносцев и за купеческими караванами, спешившими домой из далекого Леванта. Но только в городах южной Франции и Италии это учение приобрело значительное распространение и огромную общественную и политическую важность. Если бы города не давали готовую лабораторию общественно-религиозной мысли, ни одна ересь не могла бы получить в Европе сколько-нибудь значительного распространения. Ибо не случайно то обстоятельство, что до крестовых походов многочисленные ереси, то и дело выроставшие в пылу религиозно-догматических споров на Византийском Востоке, — не получили отклика в Европе. До крестовых походов некому было подхватить такую бы то ни было ересь; люди были робки духом и еще не сбросили с себя старого обаяния, распространяемого церковью. В городах только и могли появиться как психологи-

ческие, так и социальные условия, необходимые для распространения ересей. В городах только и были те социальные элементы, которым так много говорили коммунистические мотивы ересей.

Две особенности отличали все, без исключения, ереси, о которых шла речь. Они старались осуществить заветы евангелия о нравственной жизни. Они были сплошь проникнуты мистицизмом. Изучение евангелия представляло огромный соблазн, потому что церковь не давала евангелия в руки верующим. Она не хотела, чтобы простой человек, которого она считала недостаточно подготовленным к пониманию непосредственного слова божия, читал христовы заветы, не имея около себя духовного руководителя, облеченного от церкви и от ее главы правом толковать священное писание. А в городе человек уже отвык от того, чтобы рядом с ним стоял какой-нибудь руководитель вообще. Свои дела, свои профессиональные дела, он выполнял без всяких руководителей, и он рассуждал, что и для дел, выходящих из сферы его профессиональных забот, ему руководитель не нужен. И когда он стал читать евангелие самостоятельно, он в нем нашел то, чего не давала ему церковь, — путь к непосредственному общению с богом. Чтение евангелия заставляло человека забывать о грозном, устрашающем величии божества, раскрывало в боге чувствительную сострадательную душу и приближало его к человеку. Так выросла мистика, религия любви. В самой популярной ереси XIII века этот мистический подъем достиг своей высшей точки и сообщил этой ереси такую огромную, сокрушающую популярность, что папская власть оказалась вынужденной склониться перед силой нового религиозного движения. Папство узаконило эту ересь. То было францисканство.

Францисканство, как и предыдущие ереси, вышло из города. Св. Франциск был горожанин, основанный им монашеский орден спас церковь от внутреннего разложения тем, что дал людям религию, какую они хотели. Франциск приблизил бога к человеку, приблизил монашество к обществу, превратил веру с любовью, чувство более близкое и понятное горожанину. Он не отверг целиком и аскетизма, но его аскетизм уже иной, перерожденный, смягченный, умеющий понимать человеческую природу и уступать ей, когда нужно. В нем нет ни насилия,

ни педантизма. В нем чувствуется, что его породила ересь, а не ортодоксальная католическая догма. Религия Франциска Ассизского учила любить бога, ближних, природу, животных, старалась воздействовать на чувство, ибо Франциск был убежден, что только тот верит, кто чувствует. Влияние францисканства было огромно. Именно потому, что оно отвечало давно назревшим запросам, оно сразу нашло себе множество путей в общество. Очень многие из горожан вступали в орден терциариев, светское или полусветское ответвление основного монашеского ордена. Терциари как бы считались монахами, не покидая мирских занятий, и во всем соблюдали заветы любви великого апостола городской религии. Города наполнились францисканскими монахами, которые рассказывали с церковной кафедры или на площадях собравшейся толпе эпизоды из жизни св. Франциска: как он отрекся от отца и сделался монахом; как папа Иннокентий, наученный чудесным сном, утвердил орден; как Франциск, трубадур божий, всюду странствовал и прославлял творца; как он любил людей и природу; как проповедывал птицам, и как птицы, протягивая крылья, внимали его поучениям; как поучал рыб Тразименского озера; как укротил злого волка из Губбио; как он творил чудеса при жизни и после смерти. Рассказывали монахи и эпизоды из евангелия, рассказывали просто, не по-латыни, и понимал их всякий, и образы Христа и мадонны теряли свою догматическую суровость, становились ближе, доступнее, человечнее.

Мистицизм получил официальное признание. Проповедь нищенствующих монахов открыла широкий путь в общество мистическим идеям. Многие из этих проповедников, как ближайшие непосредственные ученики Франциска, как Бернардин Сиенский в Италии или Бертольд Регенбургский в Германии, становились настоящими властителями дум, проповедуя любовь к богу и мадонне. Про Бертольда Регенбургского рассказывают, что число его слушателей доходило до 40, 60 и даже 200 тысяч человек. Разумеется, цифры эти очень преувеличены, но одно то, что современникам они представлялись вероятными, указывает на огромную популярность францисканских проповедников.

Мистицизм, заложенный в учении св. Франциска, не умер и тогда, когда в орден начали проникать мирские настроения,

когда заветы нищеты перестали мешать монастырям обзаводиться крупными богатствами. Всегда в недрах ордена находились группы, которые, вопреки новым мирским устремлениям, старались укрепить мистическую стихию францисканства. Этот мистицизм сделался основной темой всякого рода пророческих видений, трактатов о грядущей счастливой жизни, стихотворений, философских размышлений. Пророчества Иоханна Флорского владели умами в течение долгих столетий. Стихи Якопоне да Тоди, поэта XIII века, были полны глубочайшего мистического захвата. Вдохновенные тирады живших веком позднее немецких мистиков, Экгарта, Сузо и Таулера, полны такой силы, такой искренности, такой философской глубины, которая предполагает огромное напряжение религиозного чувства у их слушателей и почитателей.

Папство знало, что делало, когда узаконило францисканство. После этого в Италии возникла только одна ересь: Апостольских братьев. Других, сколько-нибудь крупных не было. Обе особенности ересей, столь страшные для церкви, сразу потеряли свой революционный характер, затененный тем, что во францисканстве было покрыто папским благословением. Пропаганда нищеты отодвинула коммунистическую проповедь, а мистицизм заставил побледнеть догматическое инакомыслие. Личная религия—то, что было дорого всем классам городского населения, была спасена. Развитие пошло по линии наименьшей опасности для церкви. XIV век был веком мистики, веком Якопоне, Данте, Екатерины Сиенской, немецких мистиков. Только в конце XIV и в XV веке восстановилась революционная связь еретической догмы и коммунистической проповеди: в проповедях монахов, агитировавших среди рабочих во Флоренции перед возстанием чомпи, в виклефизме, в гусситстве.

Религиозное развитие в городах дало два прочных культурных результата. Во-первых, люди отстаивали личную религию и освободились от гнета официальной церкви в делах веры. А во-вторых, что было еще важнее, было твердо водружено победное знамя мирского духа. Церковь лишилась роли руководительницы в делах жизни и носительницы верховного авторитета. Вопросы, волновавшие человека: вера, мораль, мышление, творчество,—разрешались раньше с участием и при содействии церкви. Теперь они должны разрешаться без ее

участия. Сразу образуется зияющая, мучительная пустота. Начинаются беспомощные вначале метания, болезненно-торопливые поиски. Новые интересы нового человека властно требуют ответов на возникающие вопросы. Результат мог быть и был только один. Люди нашли без помощи церкви, своими средствами, все: новую мораль, новую религию, новое искусство, новую науку.

Так общественная эволюция в городах, на основе накапливающегося торгового капитала, сделала два своих наиболее существенных завоевания. Она создала новую породу людей, сильных духом, с яркой, способной к бесконечному росту индивидуальностью, смелых и независимых: цельную личность. И утвердила на развалинах церковного авторитета, иерократических традиций и аскетического мировоззрения независимый, тоже чреватый могучими дерзаниями и победами, мирской дух.

Таковы зачатки новой культуры. Первое оформление этих настроений, из которых сложится в дальнейшем зрелая культура, даст городская литература.

5. Городская литература.

Излюбленной литературой феодального периода были жития святых и рыцарские эпопеи. Они были наполнены высокими примерами евангельских добродетелей, святости и морали величайшего благородства. Святой — герой феодального общества. Рыцарь — тот же святой, только светский. Его жизнь — та же сплошная цепь подвигов. Конец ее часто так же увенчан мученическим венцом. Рыцарь — раб своего долга, как святой — раб своей веры. Подвиги того и другого — сверхчеловеческие, непосильные для обыкновенных людей.

И в житиях и в эпопеях все насыщено своеобразным идеализмом. Герои — недосыгаемые образцы. Это не лица, — лики. Перед ними нужно опускаться на колени и молитвенно складывать руки.

Даже когда феодальный период приходит к концу, феодальные классы остаются при своих старых вкусах. Они не любят ничего реального. Им нужно нечто, далекое от того мира, в котором они живут. Действительность кажется им слишком пресной. И если им не приходится видеть чудес

в действительности, они хотят, чтобы о них говорила им литература. И опять: и церковное общество и светское, как в XI веке в житиях и эпопеях, так и в XII—XIII получают свою долю чудесного: Клир зачитывается «Книгою Чудес» (*Dialogus Miraculorum*) Цезария Гейстербахского, монаха, собиравшего *ad maiorem Dei gloriam* все слышанные им рассказы об ангелах, о святых, о чертях всех рангов, и вообще сверхъестественной, доброй и злой силе, вмешивающейся в человеческую, главным образом монастырскую, жизнь. Бароны в своих замках увлекаются рыцарскими романами, в которых доброго императора Карла Великого и его паладинов сменяет король Артур с рыцарями Круглого Стола. Если в старых эпопеях чудесное держалось на некоторой привязи, то в романах Круглого Стола оно разнуздалось окончательно. Тут фигурируют волшебники и феи,—тоже добрые и злые, чудовища и монстры, крылатые кони, огнедышащие драконы, говорящие птицы, великаны, карлики. Герои с помощью волшебных приспособлений переносятся с одного конца мира на другой, с земли на небо, из подземного царства на луну.

В городах—все по-другому. Интересы, запросы—иные. Горожанин работает, борется, наживает. Он весь в мире беспощадной реальности. Ему приходится защищать на каждом шагу собственную шкуру—и не во имя долга, как у рыцаря, а потому что иначе нельзя. Ему приходится в каждой поездке по торговым делам ставить на карту все имущество. Он постоянно слышит формулу сурового закона борьбы за существование: «око за око».

Идеализм не по нем. Чудеса его не интересуют. Он весь в реальном и реального требует от литературы. И получает то, что требует. Но не сразу.

Прежде чем в городах появилась настоящая литература, своя литература, отвечающая вкусам и интересам горожан, в разных частях Европы города стали ареною расцвета литературы, классовым образом чужой городу, но по настроению обнаруживающей несомненные городские корни.

Настроение, созданное светскою культурою в городах, распространилось и на те слои общества, которые не принадлежали к городскому классу. Уже в XII веке мы встречаем в городе течения, коренным образом противоположные церков-

ной точке зрения, враждебные или аскетическому, или иерократическому началу, или обоим им вместе.

Аскетизм проповедует порабощение чувства. Новые течения прославляют самое могучее и самое ненавистное аскетам чувство—любовь. Рыцарская лирика XII века служит первым ярким выражением этого течения. Любовь рыцарской лирики не носит того полумистического, идеального характера, которым проникнуто служение даме в рыцарском эпосе. Здесь любовь—настоящее человеческое чувство, знойное, как солнце юга, порою реальное до грубости, и опять-таки нет случайности в том, что родиной любовной рыцарской лирики был торговый Прованс. Песни провансальских трубадуров, все эти альбы, серенады, канцоны, благодаря своему понятному всюду бодрому, жизнерадостному настроению, проникали во все страны культурной Европы, далеко выходили за пределы рыцарских кругов и всюду вытесняли аскетическое мировоззрение.

Другое течение, протестовавшее против аскетизма, шло, как это ни странно, из духовной среды, и тоже родилось в XII веке. Представителями его были бродячие школьники, ваганты или голиарды, как их называли тогда. Это были обыкновенно великовозрастные юноши, очень способные ценить жизненные блага, но обучающиеся в церковных и монастырских школах, где им внушали, что все земное—тлен. До XII века они спокойно сидели на своих скамьях, степенно оканчивали свое учение, превращались в степенных священников, обзаводились домоправительницами¹⁾ и проживали век среди своего прихода. Но когда в воздухе повеяло новыми настроениями, и общество стало сниматься с насиженных мест, кто на войну, кто на торговлю, кто в поиски за новыми местами для поселения, не вытерпела и голия. Городской воздух отравил ее. Смирненные бурсаки отряхнули церковный прах и пошли в мир. Голиарды стали переходить из города в город, добывая себе пропитание пением церковных псалмов, а иногда и обыкновенной милостыней. Их очень любили жены горожан, всегда готовые накормить, напоить и дать ночлег веселым бурсакам;

¹⁾ Беспеременные французские фаблио прямо называют этих особ попадьями (prestresses). Таково было одно из непредвиденных последствий правила о безбрачии католического духовенства.

сами бюргеры смотрели на них довольно косо, хорошо зная их дон-жуанские повадки. В этих странствованиях, в постоянном соприкосновении с горожанами, из голиардов постепенно выдохся весь церковный дух, и явилось совершенно мирское мировоззрение. В их латинских песнях (*carmina burana*) появляются мотивы, заимствованные во всяком случае не из обычного круга школьного преподавания ¹⁾. Они прославляют красоты природы, предести женщин, наслаждения любви, вино, игру в кости и прочие удовольствия. Лирика их очень богата, оттенки необыкновенно разнообразны, они довольно хорошо знают классиков. Если прибавить, что голиарды, как и провансальские трубадуры в своих сирвентах, громят духовенство и папу, часто делают вылазки против религии, то будет ясно, что протест против средневековой культуры становится уже более или менее сознательным.

Настроение, которым проникнуты песни трубадуров и вирши голиардов, создано, как указано, в городах, но не сами горожане были его первыми выразителями. Это объясняется очень просто. Горожане были практики, и им, особенно в первое время, было не до сочинительства, но когда благодаря политическим условиям положение буржуазии упрочилось, стали появляться признаки мировоззрения и известным образом направленных интересов и у них. Это относится уже к XIII веку. Правда, мировоззрение буржуазии в идейном отношении было удивительно скудно; никаких общих принципов оно не проводило и направлялось, главным образом, интересами повседневной жизни. Поэтому литература, выросшая в городах, — прежде всего бытовая литература. Она всего охотнее занимается людьми, и мы всего лучше узнаем из нее именно отношение горожан к людям. Произведения этой повествовательной литературы — итальянские новеллы, французские фавлю, немецкие швенки — имеют одну цель: забавлять горожанина в часы его досуга.

Как возникла городская литература, та литература, образцы которой стали доходить до нас в XIII веке? Городская лите-

¹⁾ Песни эти интересны и по стилю. Они складывались короткими, с грехом пополам рифмованными, строками на латыни, очень далекой от цинцероновской, но гибкой и легко передающей всевозможные мотивы. Размер их песен обыкновенно тот же, что в «*Gaudemus igitur*».

ратура была ответом на потребность деловых людей: отвлечься от житейской прозы и унести от окружающих деловых и повседневных забот в мир фантазий. Чтобы могла появиться городская литература, требовалось одно условие: возможность существования при городах жонглеров-профессионалов. Жонглер это—странствующий рассказчик. С гитарой за спиной, с обезьяной на плече, с одной или несколькими собаками, одетый в пестрый фантастический костюм, он ходит с места на место и ищет где-нибудь скопления людей. Когда он находит достаточно слушателей, он замащивается на какую-нибудь импровизованную возвышенность—на тумбу, на пустую бочку, на стол рыночного торговца,—и начинает рассказывать свои рассказы. Начнет, дойдет до самого интересного места, остановится, а обезьяна со шляпой в руках идет по слушателям собирать. Если рассказ длинный, это повторяется два, даже три раза. Кончит, забирает зверей и идет в таверну, где за едой, за кружкой, а чаще всего за игрой в кости, оставляет весь свой сбор. Рассказы бывают и прозаические и стихотворные. Сюжеты их самые разнообразные. Если мы можем установить существование жонглеров-профессионалов при городах, это значит, что у горожан достаточно досуга от деловых забот, чтобы слушать рассказы, потому что если города редки или небогаты, жонглеру нет выгоды приспособляться к городским вкусам. Он будет всегда предпочитать странствование по рыцарским замкам и будет готовить для них соответствующие сюжеты. В рыцарских замках любят рыцарские истории: былины, романы, в которых все чудесное особенно подчеркивается и все величественное и нереальное встречает самый большой интерес. А когда город становится видным элементом общественной жизни, те же жонглеры, угождая новому спросу, вместо рыцарских приключений и чудесных эпопей начнут рассказывать о веселых похождениях клириков, монахов, ловких жен, или же истории о животных, — все, до чего так падки горожане. Арена этих новых рассказов, приспособленных для городских вкусов, сразу зузится до размеров какой-нибудь городской площади или небольшого купеческого дома, подземный и надземный миры исчезнут окончательно или будут только привлекаться для разного рода пародий на то, чему прежде так беззаветно поклонялся рыцарский феодально-католический мир. Никаких чудес. Правда, на

могиле курицы Пинты, замученной безжалостным Лисом, совершаются чудеса, и в этом никто не должен сомневаться, так как они засвидетельствованы честным псом Роонелем. Правда, апостолу Петру приходится пускаться в ход тоже чудеса, чтобы наверняка обыграть в кости жонглера, приставленного сатаной стеречь души в аду. Но это все только для смеха. Чудес нет. Если ловкий монах показывает чудо, значит он мошенник. Все реально. И действующие лица—настоящие люди или животные под людей. Нет ликов. Есть лица, рожи, морды: человеческие лица, шутовские рожи, звериные морды. Обо всем этом жонглер рассказывает так же гладко, как в рыцарском замке рассказывал о королеве Джиневре и о рыцаре Ланселоте. Это, конечно, не значит, что рассказы появились в городах только вместе с жонглерами-профессионалами. Раньше их рассказывали в часы пирушек сами горожане друг другу. Купец—человек бывалый. Он странствовал на юге, добирался до мусульманского Востока. Много слышал и незаметно, понемногу всюду собирал свои сюжеты. Дома их рассказывал. Или передавал всякие смешные приключения, которым сам был свидетелем, или в которых принимал участие. Это—те самые *turpes sermones*, грязные истории, которыми возмущался простодушный летописец: нескромные анекдоты, имевшие целью рассмешить и быть приправою к веселию и пьяному пиру. Жонглеры-профессионалы дали художественную обработку всем этим сюжетам.

О чем же повествуют эти городские рассказы? Самыми излюбленными среди них являются рассказы о животных и прежде всего о Лисе (*Renard, Reineske*), в Италии—новеллы, во Франции—фаблио, в Германии—швенки. Все это по содержанию очень близко между собою. Всюду одинаково распространены часто повторяющиеся сюжеты этого рода рассказов. В Италии, которая ближе к востоку, сюжеты богаче. А так как, кроме того, горожане там более культурны, чем на севере, эти сюжеты не столь однообразно смешотворные. Франция и Германия в этом отношении идут наравне. Англия живет французской литературой.

В городской литературе XIII века мы прежде всего встречаем типичную философию борьбы за существование. Горожанин больше всего любит успех и удачу. Он с наслаждением слушает рассказы о многоумном Лисе, хитром, продувном,

насквозь фальшивом, грубо эгоистическом существе, для которого не существует ничего святого, который с величайшей легкостью приносит в жертву своим мимолетным утехам самое дорогое достояние ближнего. Поэма прославляет ум, энергию, лукавство, хотя бы они и были устремлены на неправо дело, и издевается над благородством и честностью, если они не дают ни удачи, ни удовольствия. Какое характерное мировоззрение для средневекового купца, жизнь которого окружена столькими опасностями! Новеллы, фаблю, швенки в значительной мере дополняют цикл рассказов о Лисе. И у них нет сочувствия к мужу-колпаку, который обманут ловким ловеласом. Но если муж во-время открыл козни своей жены и накрывает ее, то симпатии автора, т. е. опять-таки публики, немедленно переходят на сторону мужа, и исчезает сострадание к беспощадно наказанной жене.

«Будь сильным, будь ловким, будь умным, и я тебя буду любить. В противном случае я подниму тебя на смех» — такова главная максима жизни средневекового горожанина. Он прежде всего должен развивать в себе все эти качества, иначе он погибнет.

Против кого направлена борьба горожанина? На это мы тоже находим ответы в городской литературе. Сатира в ней занимает огромное место. Купец торгует в рыцарском поместье в монастыре, в деревне. Рыцарь, монах, виллан являются на ярмарке его клиентами. Они приходят в город на рынок. «Не надуешь — не продашь». Купец старается продать, а клиент старается, чтобы его не надули. Кроме того, и купец-горожанин часто попадает в зависимость от своих клиентов. Рыцарь стережет его в засаде на большой дороге, донимает его пошлинами, когда он едет через его поместье. Монах дорого ценит отпущение грехов. Крестьянин не уступает назначенной цены с привозимых им в город сельских продуктов. Словом, отношения создаются не из приятных, и рассказы, подносимые городским обывателям, жестоко высмеивают и рыцаря, и монаха, и виллана. К рыцарю особенно беспощадны авторы разных редакций «Лиса». Фигура волка Изенгрима, изображающего барона, — одна из самых ярких во всей эпопее. Это олицетворение грубой, элементарной, неразумной силы. Он постоянно побеждаем умом и ловкостью Лиса. Более поздние, чем большинство версий «Лиса» новеллы, фаблю и швенки

преимущественно занимаются монахом и вилланом, особенно монахом. Часто, впрочем, достается и белому духовенству.

Во всей этой литературе перед нами целая картина глубочайшего социального смысла, вполне отвечающего созревшему социальному сознанию горожан. Это—отходная старому средневековому миру. Ренар-Лис — не рыцарь и не духовное лицо. Волк Изенгрим—то барон, то монах, то и барон и монах одновременно. Борьба Ренара с Изенгримом и победа Ренара, это—победа нового человека над средневековым. Это—утверждение новой силы, выросшей в городе, выработавшей себе свое оружие: ум и ловкость. Вооруженный им, новый человек побеждает закованного в железо рыцаря и защищенного сверхъестественными, божественными силами монаха или попа.

Городская литература—осанна новому человеку, не благородному и не божественному, победная песнь мирскому духу, которому суждено вырвать господство в обществе у феодально-церковных групп, ревниво оберегавших до сих пор свои привилегии.

Городская литература вплоть до XIV века совершенно чужда теоретизированию. Эпический тон, без всяких попыток делать вывод,—таковы ее особенности вначале. Но затем мало-помалу в нее проникает дидактическая струя. Авторы произведений, написанных для горожан и рассчитанные на то, чтобы вызвать интерес и симпатии к этим произведениям, уже переходят постепенно к отвлеченным рассуждениям, и тут сказывается с еще большей яркостью, каковы симпатии и устремления городского жителя. Один из самых талантливых писателей-дидактиков более позднего периода, француз Эташ Дешан, живший в середине XIV века, оставил огромное количество произведений, в которых с необычайной полнотой выразил все мировоззрение городского жителя. В его стихах попадаются сплошь и рядом такие афоризмы, которые давным-давно служили руководящими принципами жизни и деятельности городского человека, и которые до Дешана лишь не были сформулированы. Когда горожанин, пробегая то или другое из произведений Дешана, встречал там такой, напр., стих:

C'est le plus sain que d'être bien renté
(Самое здоровое дело—иметь хороший доход),—

он сейчас же узнавал свои собственные сокровенные мысли. Этот род литературы, стремившейся говорить не художественными образами, а прямым поучением, делал все большие и большие успехи, пока, наконец, не достиг полного расцвета в таких книгах, посвященных прямому уже руководству хозяйственной деятельностью, каким был, например, трактат «О семье» Леоне Баттиста Альберти, флорентинского писателя XV века.

И еще одна особенность городской литературы должна быть отмечена тут же. Она не ищет подкрепления ни в каких авторитетах. Она вся от жизни, современной, кипучей, злодуровой жизни. Церковному авторитету она враждебна. Классического не знает. Античный мир не раскрылся еще горожанину. Городская культура в главном сложилась без участия классической мысли и классической формы. Правда, в эпоху выработки новой, городской культуры мы встречаем людей, пропитанных насквозь духом античных реминисценций, но они представляют такое же случайное явление в XII и XIII веках, как Скотт Эриугена и Герберт Орильякский в X. Вот Готье Шатильонский (Philippus Gualterius de Insulis, dictus de Castellione), автор этического трактата «Liber qui dicitur Moraliū Dogma». Книга написана так, как будто никогда не существовало ни библии, ни отцов, ни всей богословской литературы средних веков. Цитируются одни классики: Гораций, Ювенал, Саллустий, Теренций, Вергилий, Овидий, Лукан, Персий, Стаций. Рассуждение следует в общем за Цицероном и Сенекою. Нет разговоров ни об аде, ни о рае. Нет ни схоластики ни аскетических разглагольствований. Такой же характер носит энциклопедия, «Speculum maius» Винченца Бовесского, жившего несколько позднее, в конце XII и в начале XIII века.

Что из этого следует? Что в выработке новой культуры античные, классические моменты не были самыми существенными. Что наиболее важная часть ее — то, что возникло под непосредственную диктовку жизни, в городской сутолоке и старалось самостоятельно облечься формами, лучше всего соответствующими содержанию. Правда, формы находили плохо. Теория была беспомощна. Но главное было сделано. Содержание было дано.

Того, что было достигнуто в XII и XIII веках, было очень мало, но это были очень определенные предвестники того,

что должно было явиться в следующие столетия. По мере того, как сказывается вполне хозяйственный переворот, назревает понемногу и переворот культурный. Их связь между собою понятна, ибо и экономические факты оказывают свое влияние, проходя через психическую среду, т.-е. ту среду, которая является лабораторией всех вообще общественных и культурных явлений. Хозяйственный переворот не получил в науке особого названия. Культурный переворот зовется Возрождением.

6. Итальянские города.

Возрождение, это—культурный переворот, стоящий в тесной связи с переворотом хозяйственным, выражающийся в росте индивидуализма и мирской точки зрения, в упадке церковной идеи и в усилении интереса к древности. Если вдуматься в эту формулу и принять во внимание общественный строй Европы в XIII—XIV веках, то делается ясно, что этот переворот впервые мог сказаться в ярких и несомненных фактах только в Италии. Это объясняется двумя группами причин. Во-первых, Италия никогда не видела такого блестящего расцвета различных сторон средневековой культуры, как заальпийская Европа, и раньше создала условия, разлагавшие эту культуру; во-вторых, в за-альпийской Европе не сохранились и не могли сохраниться такие переживания античной культуры, какие сохранились в Италии.

Феодализм привился в Италии слабо. Там целые области, как Равеннский экзархат и Романия с Марками на севере, как значительная часть юга, никогда не подпадали под продолжительное и прочное господство германских завоевателей. Но даже и в остальных ее частях, где господство германцев—тут речь идет, главным образом, о лангобардах—длилось долго и было организовано, феодальный строй по многим причинам установился лишь отчасти. Поэтому он оказался более податливым и не мог, как на севере, оказать такого сопротивления, когда явились разлагающие его условия.

Главным из этих условий была устойчивость городского быта и городского строя в Италии. В Италии налицо были все предпосылки пышного развития городов. Италия продолжала оставаться страной развитой городской культуры в те-

чение всей феодальной эпохи. Нигде за Альпами не сохранилось такого количества городов и нигде внутри городов не сохранилась в таком крепком виде римская общественно-юридическая традиция. Итальянские города не были, как в северной Франции и еще больше в Германии, преимущественно крепостями: в них жив был специфический нерв, который поддерживал в полной силе культурные и экономические возможности. В X в. Генуя, Амальфи и Венеция были уже крупными торговыми центрами; артерия Ломбардии, старый По, уже вновь начинал служить для торгового движения, а в ломбардских городах зарождалась промышленность.

По своему географическому положению Италия прежде, чем другие страны Европы, вступила в тесные торговые связи с Востоком (с Левантом, как говорили тогда) и прежде других воспользовалась выгодами этих связей. Особенно быстро пошло ее торговое развитие со времени крестовых походов. Крестоносцы перевозились на Восток в галерах итальянских городов. Те же города — во главе других Венеция, Генуя и Пиза — пользовались случаем, чтобы основаться в завоеванных у мусульман сирийских портах, получали на месте чуть не даром лучшие продукты Востока, которые втридорога продавали в Европе. Их обороты росли, возбуждали аппетиты других городов, и мало-по-малу главные приморские и многие неприморские города Италии обзавелись конторами в важнейших левантских портах. Торговля с Левантом оказывала влияние даже на те города, которые прямого участия в ней не принимали. Вне этого движения стоял только юг Италии, захваченный норманнами. Даже Амальфи, прежде конкурировавший с Венецией, пришел в упадок.

Таково было начало. Теперь для того, чтобы понять, каким образом в итальянских городах возникла специфическая городская культура, нам нужно познакомиться с внутренней эволюцией итальянских городов, с развитием самоуправления и свободы, с перипетиями социальной борьбы внутри городов. Ибо экономика, социальные отношения и политика были той основой, на которой выросла культура.

История итальянских городов определялась двумя общими фактами: слабостью центростремительных политических сил, столь энергично действовавших в Англии и Франции, и отсутствием крупных дробных государств, подобных германским

территориальным княжествам, которые зорко подстерегали города и присваивали их при первом удобном случае. В Италии городам не мешало ничто, и они развивались без какой-нибудь внешней помехи. Итальянские города раньше других начали накапливать богатство. Приморские шли впереди, другие отстали не на много. Экономическая мощь делала неизбежной политическую эволюцию, которая в них совершилась. Под надежным попечением (отнюдь не бескорыстным) своих епископов, города (преимущественно в сев. Италии) освободились от власти крупных феодалов. Не всегда, конечно, они жили в полном согласии со своим духовным пастырем, который теперь стал их государем. Столкновения случались, и случались с очень давних пор. Предметов для спора и ссор было, конечно, сколько угодно; главным образом, они касались вопросов обложения. Ломбардские епископы хорошо понимали, что нельзя долго сопротивляться настойчивому желанию богатых граждан иметь долю в обсуждении размеров и способов обложения. Повсюду мало-по-малу они уступали требованиям горожан, хотя и крайне неохотно. Иногда их приходилось вынуждать. Власть епископов над городами в Италии была очень сильна. В их права входили такие полномочия, которые государственная власть в других странах не выпускала из своих рук, напр., право возводить укрепления: им они обзавелись в эпоху смут и сарацинских нашествий. Но во время борьбы папства и империи епископскую власть в Ломбардии парализовала и ослабила патария, общественное движение, поднятое городскими низами (патарены значит тряпичники) под знаменем ереси. Наоборот, горожан усилила успешная торговая и промышленная деятельность. Взаимное соотношение епископов и горожан, быть может, долго осталось бы в состоянии мало устойчивого равновесия, если бы горожанам не помогли крестовые походы, о роли которых мы знаем, и борьба императоров с папами.

За долгие годы, пока империя и Рим истощали друг друга, обоим нужны были союзники. Папство не верило в силу горожан в Ломбардии и боялось епископов; оттого против них была поднята патария. Относительно тосканских городов папство не беспокоилось: оно уповало на могущество маркграфини Матильды, наследственной владельницы единственного крупного графства, уцелевшего к этому моменту в север-

ной Италии. Генрих IV, а вслед за ним Генрих V рассуждали иначе. В недостижней еще полного своего роста социальной силе горожан гениальный салический император разглядел огромную силу и пытался ее утилизировать и в Германии и в Италии. В Германии города находились в совсем зачаточном состоянии, а в Италии они представляли некоторую силу. Поэтому Генрих IV широко раздает городам вольные грамоты, особенно во владениях маркграфини Матильды. За ним следует в этой политике, после некоторого колебания, его сын. И города северной Италии один за другим становятся в непосредственное и прямое отношение к империи, т.-е. приобретают полную независимость от своих епископов.

Во главе получившего тем или иным путем свободу города стала коллегия *консулов*, в руках которой сосредоточивались функции прежних графов и епископов: судопроизводство, командование на войне, внешние сношения, заведывание финансами, наблюдение за порядком. В консулы не могли избираться духовные лица и вассалы враждебных сеньоров. Количество консулов колебалось в разное время и в разных городах между двумя и двадцатью. Выбирались они чаще всего на один год, иногда больше, до пяти. Рядом с консулами стояли городские советы. Консулы и члены совета выбирались только полноправными горожанами (*il popolo*), в состав которых входили: буржуазия, а потом переселявшиеся в город мелкие дворяне. А вся городская организация, считая епископа, консулов, советников, полноправных и неполноправных (*пролетариат*) горожан, называлась *il comune*.

Свободное консульское управление было началом блестящего городского развития Италии, подобного которому не видела ни одна ни другая часть Европы. Все сколько-нибудь крупные города Ломбардии, Тосканы, Эм依лии, Марок, Умбрии добились этой свободы. Даже Рим образовал на короткое время свою коммуну при Арнольде Брешианском. Независимость от сеньора сейчас же сказалась в том, что все эти новые маленькие государства начали проявлять свою своеобразную верховную власть. Борьба императоров с папами создала партийные клички: гвельфов, сторонников папы, и гибеллинов, сторонников императора. Каждое городское знамя сейчас же было снабжено одной из этих этикеток, и открылась полоса ожесточенных междугородских усобиц. Партийные дозунги,

как всегда в этих случаях, прикрывали какое-нибудь гораздо более реальное соперничество. Каждый город, став свободным, захотел сделаться столицей известной территории. А так как в Италии городов было слишком много, то расширительные тенденции столкнулись очень быстро. Началось обычное. Крупные города стремились поглотить мелкие. Равносильные бились из-за торговых интересов, из-за удобной гавани, из-за обладания горным проходом или удобной речной переправой. И надо всем этим кровавым, но чисто домашним соперничеством висели два непримиримых лозунга, ко всему легко пристающие: гвельфы, гибеллины. Люди могли не думать ни о папе, ни об императоре, но если соседний город захватил проход в горах и поставил там заставу, объявив себя гибеллинским, тут немедленно выкидывалось гвельфское знамя и под звуки набата объявлялся поход.

Но сознание важности завоеванной свободы, сознание ее необходимости для беспрепятственного осуществления экономической деятельности было все-таки господствующим. Когда ломбардские города почувствовали, что их свободе угрожает опасность от такого могущественного врага, как сам император, они не пали духом. Они только забыли, кто из них причислял себя к гвельфам, кто к гибеллинам. Так как врагом был император, то они, за немногими исключениями, сделались гвельфами и протянули руку папе. А между собою они заключили союз. К ломбардским городам примкнули города Марок и Романьи, присоединилась сильно укрепленная Александрия. Перед Фридрихом Барбароссой выросла крепкая лига, и Леньяно (1176) едва не сделалось могилкой Священной Римской империи. Констанцкий договор 1183 года стал великой хартией итальянских городов. Они получили подтверждение всех своих вольностей, и то, что получили города Лиги, сделалось очень скоро правом и тосканских городов.

Когда грозная опасность со стороны империи миновала, вновь вступили в силу местные соперничества, опять пошло разделение на гвельфов и гибеллинов и возобновились мелкие войны между городами. И эти мелкие войны выдвинули еще раз вопрос о ликвидации дворянства. Город был окружен дворянскими замками, которые жестоко мешали одной из главных тенденций городской политики, расширению городского округа. Поэтому борьба шла понемногу и раньше,

а наиболее слабые элементы дворянства, вынужденные силою, уже переселялись в города. Теперь за них принялись вплотную.

Ибо, как ни мягко крепостное право в Италии, как ни незначительно оно территориально по сравнению с заальпийскими странами, оно все-таки стесняет города. Городская торговля и, особенно, городская промышленность нуждаются в первое время в непрерывном притоке сил из деревни. А в поместьях жило, главным образом крепкое земле (хотя бы и лично свободное) население.

Такова еще одна причина вражды к дворянам со стороны городов. Были и другие: грабежи, которым горожане подвергались со стороны дворян, закупорка ими торговых путей и проч. Все эти причины в совокупности сделали то, что против дворян стали планомерно вести войны с целью принудить их оставить свои владения и поселиться в городе, к которому эти владения примыкают. Враждебные действия разрешались по-разному. Дворяне или закладывали свои владения городской казне, городским богачам, или поступали на службу к городу, или передавались на сторону того города, с которым нападающий на них вел в это время войну, или, если к этому их принуждала успешная осада их замка, просто покорялись горожанам, переселялись в город и записывались в какую-нибудь из городских корпораций; замки их срывали. В начале XIII века этот процесс закончился; побежденное римское население покорило своих германских завоевателей. Феодализм, в политическом смысле, перестал существовать в Италии. Осталось разрушить его в социальном смысле, чтобы добиться наконец гражданского равноправия для всего населения страны, столь необходимого для успешной хозяйственной деятельности.

Процесс освобождения начинается постановлениями городов, объявляющих, что крепостной, нашедший убежище в городе, не подлежит выдаче. Это общеевропейский принцип, но он нигде не сделался в такой полной мере началом планомерного разрушения крепостного права, как в Италии. Оно совершается как-то сразу с самого начала XIII века. Флоренция, Пиза, Генуя, Милан, Венеция, более мелкие города наперерыв торопятся объявить упраздненной крепость земле и, там, где она существует, личную несвободу. Барщина переводится на оброк, денежный или натуральный, и помещик вознаграждается частью

надельной земли, если не полным наделом, крестьянина, получившего вольную. В Тоскане процесс пошел быстро и к концу XIII в. мы находим исключительно фермерство и полоничество. Накопление капиталов в городах к этому времени сделало уже большие успехи. Первые толчки были даны операциями, связанными с крестовыми походами: торговлей и кредитным делом. Сиена и Пьяченца хорошо заработали, давая ссуды крестоносцам. Потом Сиена перешла к кредитным операциям с папской курией, откуда позднее была вытеснена флорентинцами: до того флорентинцы работали с дворянами и монастырями в окрестностях города. Что касается торговли, то итальянцы сумели раскинуть ее к этому времени по всему свету.

В это время в городах действовало уже так наз. второе городское устройство. Его отличительный признак — *подестат*, заменяющий власть консулов. Подестат является после Ронкальского сейма 1158 г., когда гордый Милан лежал у ног Барбароссы и болонские юристы, при победных криках немецких легионов, объявили в точном согласии с нормами реципируемого римского права волю императора законом. В знак укрепления и обеспечения своих верховных прав, Барбаросса насаждал в ломбардских городах своих чиновников. Это и были подеста́ (*potestas*, *podestá*). В их руки перешла высшая судебная и военная власть в городах, т.-е. основы власти консульской коллегии. Последняя, как символ городской независимости, естественно была уничтожена; там, где осталось название консулов, то были лишь судьи по гражданским делам. Подеста́ оставался у власти первоначально год или даже несколько лет, но позднее его должностной срок установился в шесть месяцев. Первые подеста́ были немцы и не могли быть, конечно, жителями того города, власть над которым даровал им император. Графы и епископы из Германии назначались в город, некоторым образом насильственно возвращенный под власть императора, хотя городам было дано право соглашаться на данное лицо. Те города, которые остались верны империи, в виде особой милости были освобождены от подестата.

Так было сначала. Но очень скоро обнаружилось, что подестат имеет и преимущества над консульской коллегией. Прежде всего — единство власти: при постоянных почти усобицах, когда единство команды на войне часто решало дело,

оно оказалось особенно удобным; да и во внутренних делах порою представлялось несравненно более выгодным, чем многоначалие. Затем, неожиданно объявились хорошие стороны и в том, что подеста был иностранец, т.-е. человек, чуждый партийных симпатий и антипатий: ему легче было сохранять беспристрастие в судебных и административных делах, чем консулам. Когда эти преимущества мало-по-малу выяснились, и те города, в которых не было подестата, стали понемногу вводить его у себя, упраздняя консулов. Они лишь сократили срок, что было чрезвычайно мудро, и сделали должность выборной, но продолжали выбирать подесту не из своей среды; правда, немцев тоже не приглашали. А когда Леньяно устранило необходимость императорского назначения, подестат все-таки остался, из чрезвычайной должности стал обычной и натурально превратился в выборный городской институт. Вместе с этим должно было подвергнуться коренной реформе и все городское устройство. Подеста не был диктатором. Власть его, как и власть консулов, ограничивалась городским советом, который, как и в прежние времена, часто делился на две коллегии: более тесную, постоянно функционирующую, и более широкую, призывавшуюся только при решении важных вопросов. Вече не исчезло, но утратило функции правящего органа: его созывали, чтобы объявить о совершившемся факте, когда хотели иметь формальную санкцию всей общины. Мало-по-малу народные собрания превратились в показательные, театральные зрелища, где новоизбранные магистраты щеголяли своим красноречием.

Сосредоточение административно-судебной власти в одних руках, сопровождающееся упразднением правительственных функций веча, как нетрудно видеть, является таким устройством, которое представляет мост между коммунальной свободой и тиранией.

Однако, на ближайшее время подестат оказался, действительно, удобным установлением, именно потому, что усложнившаяся, вследствие приселения дворянства, жизнь требовала власти беспартийной, незаинтересованной, уравновешенной. Подестат этим условиям удовлетворял. Правда, горючий элемент, привнесенный дворянами, был так велик, что подестат не всегда мог устранять столкновения и предупреждать вражду. Дворянство переселилось в города с затаенной мыслью

захватить в свои руки власть и неоднократно делало попытки в этом направлении. В городах появились их дома-крепости, слепые, вместо окон снабженные бойницами, увенчанные зубчатыми башнями. В случае нужды, в них можно было отлично защищаться против стремительного, но не обладающего выдержкой импровизированного ополчения горожан. Дворяне, если не входили, вынужденные, в городские корпорации, то обыкновенно составляли собственную корпорацию, которая посылала в городские учреждения своих делегатов. Словом, так или иначе они принимали участие в городском управлении. Столкновения, происходящие при этом, чаще всего были причиной городских смут. Дворяне, обыкновенно, были по привычке гибеллинами; это понятно, потому что в Ломбардии мелкие самостоятельные феодалы были насажены Конрадом II, а в Тоскане — Генрихом V после смерти «великой графини». Нет ничего удивительного, что партийные распри, под ярлыком вражды гвельфов и гибеллинов, с междугородских отношений были распространены, с появлением дворян, на внутригородские. Они и здесь покрывали то то, то другое вполне реальное соперничество, ни к империи, ни к папству отношения не имеющее. Это не мешало им представлять большую опасность для городов, потому что дворяне заводили связи вне города, сталкивались с его врагами. Перед городской буржуазией поднимался очень серьезный вопрос: каким образом справиться с длительной дворянской революцией, которую они собственноручно внесли в свои стены? Очевидно, нужно было искать союзников в самом городе, и этими союзниками могли быть только ремесленники.

«Второе устройство» в состав полноправных горожан, *cives*, допускало только представителей дворянства и старой буржуазии, будущих, как их назовут во Флоренции, старших цехов; в состав этой буржуазии входили нотариусы, банкиры, медики, представители крупной торговли и промышленности. Ремесленники в составе активной буржуазии не числились и политическими правами не пользовались. Такое положение и без политических толчков долго держаться не могло. По мере того как экономическое развитие поднимало значение ремесла, по мере того как увеличивалось городское население и вырастали его потребности, люди, призванные удовлетворять спросу, должны были пожелать сбросить свое приниженное положение.

А промышленность в Италии играла в начале XIII в. очень большую роль. Она охватывала очень многие отрасли производства, но больше всего процветала в текстильном. Шерстяная промышленность существовала исстари, а в конце XII века она получила очень сильный толчок в гумилиатских монастырях. Монахи и монахини ордена гумилиатов организовали, сначала в Ломбардии, потом в Венеции, Эмилии и Тоскане, целые сукноткацкие фабрики, и производимое ими сукно, *rappi, qui dicuntur Humiliati*, скоро приобрело себе славу. Организовано было производство на капиталистический лад. Монахи закупали сырье, оно проходило весь цикл в монастырских мастерских под наблюдением отцов-фабрикантов, потом сбывалось на рынок отцами-торговцами. Конечно, долго не могла продолжаться такая, почти монопольная концентрация шерстяной промышленности в руках монастырей. Частная инициатива уже к XIV в. отбила рынки у монахов, и производство стало развиваться независимо от гумилиатов. Первым крупным центром суконного дела был Милан, потому на ряду с ним оно проникло в другие ломбардские города: Монцу, Мантую, Пьяченцу. Но Тоскана скоро захватила первенство в этой области. Пиза, Сиена, Пистойя, Лукка — все имели крупные производства. Впереди же всех шла Флоренция, где капиталистическая организация сукноделия в XIII в. приняла, как увидим, твердо выработанные формы. На ряду с шерстяным, в Ломбардии и Тоскане процветало полотняное производство, но оно составляло еще в XII—XIII вв. больше предмет домашней промышленности.

Если шерсть была классической отраслью туземного производства в Италии, то шелк и хлопок являются в Европе и в итальянских городах только в результате организованных сношений с Востоком. И так как Италия была в более постоянных и тесных сношениях с Востоком, то в ней обе эти отрасли текстильного производства появились раньше, чем в других странах Европы.

Шелковая промышленность сулила большие выгоды, потому что потребление шелковых товаров было распространено даже в самые глухие периоды средних веков; тогда их приходилось получать через византийцев и мусульман. Потому и в Италии первые шелковые мастерские появились на юге, где были живы византийские и греческие традиции. В 1148 г.

норманские короли призвали в Палермо мастеров из Византии, и в Сицилии выросла значительная промышленность. В Венеции и Генуе шелковое производство появилось не раньше середины XIII в. Оба города были предупреждены Тосканой. Во Флоренции уже в конце XII в. существовали шелковые мастерские, но они владели жалкое существование. Царицей в сфере шелкового дела была Лукка. Оно было организовано там тоже капиталистически. Граждане Лукки хранили свои секреты, как зеницу ока, но один из главных — устройство шелкопрядильной машины — в середине XIII в. сделался известен в Болонье, а в самом начале XIV в., когда, после одного из политических кризисов, эмигранты из Лукки появились в других городах, вместе с ними появились и секреты шелкового производства. Венеция, Флоренция, Генуя, ломбардские города немедленно ввели у себя шелковое дело. Но настоящий расцвет шелковой промышленности в этих городах относится к позднему времени.

Хлопчатобумажная промышленность появилась в Италии тоже раньше, чем в других странах Европы, и тоже в связи с усилившимися левантскими сношениями: хотя хлопчатник и рос на юге Европы, но лучшие промышленные сорта его получались с Востока. В конце XII в. в Венеции, Милане, Пьяченце и некоторых других ломбардских городах уже существовало хлопчатобумажное производство. Потом оно распространилось и на другие города. Из крупных отраслей нетекстильной промышленности наиболее видную роль играло оружейное производство в северной Италии и, прежде всего, в Милане, и стекольное в Венеции.

Нет ничего удивительного, что при таком раннем и устойчивом развитии промышленности ремесленный класс в итальянских городах, особенно в северной и средней Италии, был заметной силой в городе. Некоторые, наиболее видные отрасли ремесленного дела, те, в которых уже появились принципы капиталистического производства, выделились из общей массы ремесленников в политическом отношении. Сукноделы-предприниматели, суконные фабриканты, перерабатывающие дешевые заграничные сорта, шелковые фабриканты рано вошли в состав правящей буржуазии. Вне ее рамок, остались мастера мелких производств: столяры, слесаря, булочники, сапожники, портные и проч., и рабочие, занятые в крупной промышленно-

сти¹⁾. Ремесла были организованы в цехи, имели свои статуты, свои знамена и, когда нужно было защищать родной город против врагов, с готовностью выставляли свои дюжие контингенты. Когда буржуазии пришлось отстаивать от приселившихся дворян старые основы городского управления, она естественно прибегла к помощи ремесленников. Но в это время, т.-е. начиная с самого конца XII в., ремесленный класс уже созрел и начал понимать, что в политике принцип *do ut des* всегда должен играть роль. Ремесленники и потребовали своей доли участия в политической власти. Буржуазии, конечно, было неприятно пускать рядом с собою в правящие учреждения сапожников и плотников. И если бы на политических весах не лежала огромная тяжесть дворянских притязаний, Италия могла бы сделаться в XIII в. такой же ареной ожесточенной борьбы между буржуазным патрициатом и ремесленниками, какая разыгралась в немецких городах в XIV и в XV вв. Но буржуазия понимала, что уступка ремесленникам — меньшее зло. В случае победы дворянства неминуемо наступила бы олигархия знати, ремесленники же нисколько не претендовали на узурпацию прав буржуазии и только требовали для себя скромного места в совете. Поэтому кровавые столкновения между буржуазией и ремесленниками из-за допущения в правящие городские органы сравнительно редки. Дело чаще всего обходилось мирно. Некоторые города пропускали в городские советы представителей ремесел постепенно, по мере того, как для них выяснилось значение той или другой корпорации. Одно из самых кровопролитных восстаний произошло в Болонье в 1228 г. Оно увенчалось успехом, и тогда ремесленники в других городах стали смелее, а буржуазия уступчивее. В Сиене ремесленники были допущены в 1233 г., в Пизе — в 1250 г. и т. д. Но проникновение ремесленников в существующие правящие органы было только одним из способов осуществления своих прав ремесленниками. В 1198 г. миланские ремесленники избрали другой, более радикальный способ, который приняли потом ремесленники и некоторых из тех городов, которые уже раньше добились уступок.

Этот способ заключается в том, что, на ряду с существующей коммуной, во главе которой стоял подеста, ремесленники

¹⁾ См. ниже, в главах о Флоренции

учреждали в том же городе свою особую, «народную», комму-ну, *il comune del popolo*, с собственным главою, *il capitano del popolo*. Такие народные учреждения появились в Болонье в 1245 г., в Перуджии в 1250 г., во Флоренции — в том же году, в Сиене — в 1253 г., в Имоле — в 1254 г., в Генуе — в 1257 г., в Лукке — в конце XIII в. и т. д. *Capitano del popolo*, т.-е. военачальник народа, был точным сколком с подесты: у ремесленников не было еще большой изобретательности по политической части, и они рабски копировали старые коммунальные учреждения. «Капитана» сначала выбирают на год, потом на полгода. С ним рядом стоял совет *анцианов* (*anziani*), выборных от цехов, поровну от каждого; они оставались в должности два-три месяца. Кроме этого совета, были еще два: *credenza* и *gran consiglio*. Наконец, так как ремесленники желали иметь собственное вече, появилось и вече ремесленников нечто в роде древнеримских собраний по трибам. Правящая буржуазия обыкновенно мудро мирилась с совершившимся фактом и не пыталась разрушить ремесленной коммуны. Две организации продолжали жить рядом, не мешая одна другой. В делах, в которых требовалось участие всего государства, буржуазная и ремесленная коммуны вступали в соглашение. Вопрос, подлежащий решению, обсуждался сначала в установлениях подестата, потом в установлениях капитаната, или наоборот. Если решение было общее, оно уже связывало весь город. Тот же результат получался, если вопрос был решен старым (не ремесленным, а обще-городским) вечем, в котором, как указывалось, участвовали и до народной реформы все граждане. Председательствовал по-старому подеста. Внешние сношения велись сообща. Подеста и капитан вместе принимали чужих послов, вместе подписывали дипломатические бумаги.

Позднее, к концу XIII века, были случаи, когда обе коммуны сливались в одну; должность капитана упразднялась или становилась подчиненной, но его ближайший совет, анцианы, становились советниками подесты, и в случаях разногласия их мнение брадо верх над мнением главы города. Состав анцианов соответственно этому изменился; в их среду вошли и представители неремесленных классов. Зато в старые городские советы вошли представители ремесла. Хотя новые советы «народной коммуны» упразднялись не всегда, но они уже пе-

реставали быть равноправными с городской креденцой и с городским большим советом. Слияние двух общин было в Падуе, Вероне, Виченце, Тревизо и др., преимущественно восточно-ломбардских, городах.

Таков был облик «третьего городского устройства». Примирение буржуазии с ремесленниками было сигналом к наступательным операциям против представителей дворянства. Наиболее типична была эволюция во Флоренции, которая закончилась реформой Джьяно делла Белла и изданием *Ordinamenti di giustizia* (1293)¹⁾. В других городах законы, изданные против дворян, зачастую были еще суровее. В Болонье в 1271 г. был издан закон, запрещающий дворянам вступать членами в народные общества, появляться вооруженными перед коммунальным дворцом, приходить без зова к городским властям, удаляться без разрешения правительства в свои земли. Им было назначено двойное против обыкновенного наказание не только за преступления против коммуны, но и за насилия против горожан. С 1274 г. им было вообще запрещено занимать какие-либо должности в городе. То же запрещение было издано в Пистойе в 1285 г. и в Падуе в 1310 г. В Сиене, помимо такого же запрещения, в 1310 г. девяноста дворянским семьям не было даже разрешено записываться в городские корпорации, что одно только и давало полные гражданские права. В Лукке в 1308 г. была установлена смертная казнь в случаях покушения дворян на горожан (горожанам грозила лишь денежная пеня). В Модене в 1327 г. было введено правило, что если дворянин хотя бы только ранит горожанина, подеста должен приказать бить в набат, идти с народом к дому виновного, арестовать его и распорядиться с ним согласно закона, а дом срыть до основания, не слушая никаких оправданий (*nulla defensione audita*). А еще раньше (1313) было постановлено, что для доказательства преступления со стороны дворянина достаточно простой клятвы потерпевшего или его родственника. Таких постановлений можно было бы привести еще больше. Дело ясно. Коалиция крупной и мелкой буржуазии вдохнула в горожан не столько сознание своей силы — потому что страх перед дворянством остался и диктовал эти истерические меры, носившие все признаки террора, — сколько

¹⁾ См. ниже гл. XIII.

уверенность, что, в конце концов, дворяне принуждены будут смириться под градом этих исключительных законов. Но, как и следовало ожидать, исключительные законы лишь ожесточали дворян, и еще весь XIV век городам приходилось выдерживать настоящую вооруженную борьбу с дворянами, доведенными до крайности. И так как при существовавших взаимных отношениях свободное примирение было невозможно, то примирительницей выступила посторонняя сила: тирания.

Исход борьбы между Барбароссой и двумя руководящими политическими силами Италии, папой и Ломбардской лигой, был таков, что ни император ни папа не могли считать его окончательным. Барбаросса понимал, что, пока он не заручится крепким союзом на юге, императорская власть будет бессильна против национальных политических сил Италии. Этим соображением был вызван брак сына Фридриха, будущего Генриха VI, с наследницей норманнского королевства, Констанцией. В ответ на этот угрожающий ход папство принялось усиливать то орудие, при помощи которого оно оказалось победителем при Леньяно. Иннокентий III, один из величайших политиков средневековья, зная, что только города представляют в Италии реальную силу, всячески старался укрепить экономическую мощь итальянских городов. Он одобрял исход четвертого крестового похода, сделавшего из Венеции великую державу, как в свою очередь итальянские города были довольны разорением своих провансальских конкурентов в Альбигойской войне, поднятой Иннокентием. Но главное, чем гениальный папа решил парализовать появление империи у себя в тылу, это — созданием дальнейших городских лиг наподобие Ломбардской. Он организовал их три — в герцогстве Сполетском, в Марках и в Тоскане. Все три были насквозь пропитаны гвельфизмом, потому что торговые связи с папской курией у городов средней полосы Италии всегда стояли на первом плане. Наследство «великой графини», которое при Генрихе V ушло из папских рук и подверглось гибеллинизации, вследствие раздробления между мелкими баронами, снова вернулось под эгиду св. Петра, после того, как города произвели своего рода контр-революцию в гвельфском духе. Одна только Пиза, связанная широкими интересами морской торговли и тесными сношениями с югом, крепко держалась гибеллинизма.

Но когда Фридрих II возложил на себя корону (1220), объединяя под одним скипетром Германию и королевство обеих Сицилий, в первое время все предосторожности Иннокентия оказались недостаточны. Вспыхнула вновь борьба, и гибеллины торжествовали по всей линии. Несмотря на то, что и в Ломбардии возродилась гвельфская лига городов, Фридрих подчинил себе и значительную часть Ломбардии, и Марки, и Романью. Но ненадолго. Германия покинула внука Барбароссы. Силы, объединенные Фридрихом под гибеллинским знаменем в Италии, двигались своими собственными, не императорскими интересами, и потеряли свой пыл, когда эти, их собственные интересы, были осуществлены. Гвельфы, с другой стороны, имея за спиною неисчерпаемые ресурсы папства — все снова и снова собирались с силами. Фридрих умер с разбитой душой, с горьким сознанием полной неудачи. После его смерти Манфреду удалось поправить дела гибеллинов, но папы призвали анжуйцев, и власть Гогенштауфенов в Италии была уничтожена. Анжуйская династия недолго владела всем королевством обеих Сицилий. В 1282 г. Сицилия восстала (Сицилийская вечерня) и передалась Арагонскому дому. В северной и средней Италии вся эта кровавая политическая сумятица имела только один результат — усиление гвельфско-гибеллинской распри, что, в свою очередь, было прелюдией к установлению тирании в огромном большинстве городов.

Гвельфы, в общем, имели почти все время перевес над гибеллинами. Эццеливо ди Романо, которому Фридрих II отдал Верону, Виченцу и Падую, был свержен. Пиза после поражения при Мелорини выбита из ряда крупных итальянских государств, Флоренция окончательно изгнала своих гибеллинов и стала понемногу захватывать руководящее положение в Тоскане. Тщетно гибеллины возлагали надежды на пылкого, рыцарственного Генриха VII, в котором видели достойного преемника Фридриха II и которого Данте страстно призывал в Италию из своего изгнания. Генрих пришел, но его приход ничего не изменил. Единственно, что получил император в Италии, — это могилу в прекраснейшем кладбище мира, цизанском Campo Santo. Но распри в городах и между городами только по привычке приурочивались к соперничеству между папством и империей. Ни крушение Гогенштауфенов, ни переселение пап в Авиньон, ни смерть Генриха VII не уменьшили остроты

и жесточенности этих распрей, в которых партии и города сводили свои местные счеты, отстаивали реальные, местные и личные, интересы. Это особенно заметно внутри городов. Там были то горожане гвельфами, а гибеллинами дворяне (это чаще всего), то горожане гвельфами, гибеллинами — жители подчиненной городу округи, то полноправные горожане гибеллинами, а гвельфами — не получившие гражданских прав пролетарии. Сегодня одна партия изгоняла другую, завтра изгнанники возвращались с помощью, одолевали и отправляли в изгнание вчерашних победителей. В конце концов, все утомлялись от распрей, и в городе, в котором оставалось не более половины прежнего количества активных горожан, водворялось успокоение. Все давно ждали этого успокоения, и если предприимчивый человек обещал его обеспечить надолго, ему охотно подчинялись все. Были и другие условия, облегчавшие тираннам их дерзания. Те, у кого еще не было полных гражданских прав, рассчитывали их получить; те, у кого уже их не было, надеялись их вернуть: тиранния была вестником равенства. Наконец, тиранну открывало дорогу и то, что городу нужен был военный вождь для борьбы с соседями, оборонительной или наступательной.

Первым тиранном был Аццо д'Эсте, призванный Феррарой в самом начале XIII в. За ним следовала водворенная Фридрихом II тиранния Эццелино да Романо. Но это — два очень ранних случая. Они были необычны и не были вызваны общими причинами. Гораздо типичнее процесс в Милане, где фамилия Торриани, вожди народной партии, боровшейся против дворян, уже в 40-х годах XIII в. стали подкрадываться к власти. В 1240 г. вождем народной крденцы был выбран Пагано делла Торре, а в 1247 г. — его племянник, Мартино делла Торре. В 1265 г. Наполеоне делла Торре был провозглашен «вечным народным синьором» (*signore perpetuo del popolo*). В 1287 г. власть в Милане была отнята у Торриани вождями дворянской партии, Висконти. В Вероне, после свержения Эццелино, Мастино делла Скала был избран сначала подестою (1260), а два года спустя провозглашен вечным капитаном народа (*capitano perpetuo del popolo*). Мастино был гибеллин, но был за горожан. С ним началось господство Скалиджери в Вероне.

Таково было начало. В каком отношении находилась возникающая тиранния к группировке общественных классов

в городских республиках? В городах и примыкающих к ним территориях было пять групп жителей: дворяне, переселенные в город; старая купеческая буржуазия; ремесленники; городской пролетариат; жители территории, сидящие на земле. Комбинации между этими пятью группами были очень различны. Наиболее естественной и следовательно наиболее обыкновенной была такая: буржуазия и ремесленники составляют правящую группу. Они не сливаются, но между ними твердая коалиция. Дворяне, если и входят юридически в корпорации, дающие полные политические права, все-таки держатся особняком и готовы принять участие во всякой интриге. Пролетариат и крестьянство, находящиеся вне рамок полноправного гражданства и задавленные социальными законами, составленными буржуазией, — готовы для завоевания полных гражданских прав поддерживать всякую силу, обещающую вырвать власть у буржуазной коалиции. Тиранны в первое время, не только в течение всего XIII века, но и в первые десятилетия XIV, сплошь выходили из местного или иногороднего дворянства, и в большинстве случаев достигали власти, опираясь на городской пролетариат и подгородное население. Если же республика имела и подвластные города — в этих даже буржуазия была лишена политических прав, — то поле для комбинаций открывалось более обширное. Технически захват власти облегчался практикою продления сроков подестата и капитаната. И хотя многие города, опасаясь тирании, уже с начала XIII в. издают законы против пророгации, — это помогает мало. Тирания приходит потому, что ее приносят социальные противоположности и социальная борьба.

Каковы были те юридические, хотя бы и не очень строгие титулы, которые давали санкцию власти тираннов? В первое время, в течение XIII и XIV вв., можно, повидимому, установить три пути, хотя и перекрещивающиеся для некоторых городов, но в принципе отличные один от другого. Первый заключался в том, что представитель какой-нибудь выдающейся дворянской семьи, давно живущей в городе и владеющей именьями в округе, призывался к власти горожанами. Таково происхождение тирании д'Эсте в Ферраре, Малатеста в Римини, Полента в Равенне, Манфреды в Фаэнце, Орделаффи в Форли, Кьявелли в Фабриано, Варани в Камерино. Второй был по происхождению столь же легальный: императорская

инвеститура. Фридрих II дал Урбино Буонконте да Монтефельтро, его преемники пожаловали Милан Висконти, а Верону — Скалиджери. Третий путь — наиболее обычный: призвание тиранна на правах *signore* или *capitano del popolo*, только «вечного». Этим способом, который узаконил пророгацию, прежде так пугавшую и вызывавшую противодействие, создались тираннии Гонзага в Мантуе, Каррара в Падуе, Росси и Корреджи в Парме, Скотти в Пьяченце, да Камино в Беллуно, Фельтре и Тревизо. Иногда императорская привилегия закрепляла создавшиеся местные отношения, сопровождая их пожалованием титула. Так было с Висконти.

Тиранн обыкновенно не получал наследственных прав сразу. Аццо д'Эсте был избран наследственным сеньором Феррары лишь в виде исключения. Считалось, что новый глава государства выбирается либо на срок, либо пожизненно (последнее было более обычно). Тем не менее, появление новой власти в городах производило в городе коренную перемену. Все прежние носители городских должностей теперь были подчинены ему. Прежде источником власти был народ, который делегировал свою власть выборным лицам. Теперь стал тиранн. Была республика. Стала монархия. Правда, тираннам пришлось приложить много усилий, чтобы упрочиться на своих местах и заставить горожан примириться с превращением их временной власти в наследственную. То, что не удалось дожам Венеции, без труда провели тиранны. Наследственность была введена, в некотором роде, явочным порядком. Тиранны при жизни принимали соправителями или заставляли провозглашать своими преемниками своих сыновей, племянников, братьев и т. д. А когда тиранн чувствовал под собою крепкую почву, он просто распоряжался своим владением, как вотчиной: дробил ее, завещал незаконным детям, минуя законных. Однако нельзя сказать, что власть тиранна была совершенно лишена юридических оснований. Иногда уже тот акт, который провозглашал его сеньором или капитаном города, передавал ему и правительственные функции, обыкновенно подробно их перечисляя. Иногда это перечисление составляло содержание позднейшего специального закона. В функции тиранна входили: полная судебная власть, гражданская и уголовная, полномочие править и управлять городом согласно своей воле (*Stat Piacent.: potestatem omnem communis*

et imperium transferentes), издавать новые законы, пересматривать, дополнять, толковать и отменять старые, располагать городским имуществом, налагать подати, вести войны и заключать мир. Словом, это был довольно полный каталог прав абсолютного монарха. Более могущественным и это еще казалось недостаточно. Иногда тиранн заставлял горожан приносить себе присягу в верности, а должностных лиц — в том, что они будут подчиняться и всех заставлять подчиняться его власти. Все те права и полномочия, которые давались городом тиранну в таком акте, находили у него очень широкое применение. И еще вдобавок он всегда переходил границы, ему поставленные. Он вторгался в права частных лиц, пускал в ход насилия всякого рода; рассказами об этих насилиях полна современная хроника.

Внешним образом конституция города при этом оставалась неизменной. Продолжал существовать подеста, продолжали существовать анцианы, городские советы. Но и в учреждениях уже царил новый дух. Начать с того, что некоторые городские должности, особенно подестат, тиранн присваивал себе. Когда это почему-нибудь было неудобно, тиранн добивался права назначения подесты и анцианов, как было в Падуе, Милане и других городах, подвластных Висконти, или же сокращал количество анцианов и членов советов, чтобы проще ими управлять, легче пополнять их людьми преданными и — это тоже не было редкостью — дороже продавать должности. С вечем тоже поступали так, чтобы оно не сделалось учреждением, опасным для тираннии, хотя обыкновенно народный элемент настроен был по отношению к тиранну скорее дружественно, чем враждебно. Но бывали случаи, когда вече во время обсуждения того или иного важного вопроса окружалось вооруженными людьми или когда на вечевой сходке пригоняли народ из округа: его было легче заставить голосовать так, как приятно тиранну. Та же опека распростерлась над хозяйственной жизнью: цехам было запрещено собираться и обсуждать свои дела без разрешения тиранна. Когда железная власть достаточно крепко сковала все городские элементы, тиранн стал чувствовать себя настоящим государем. В городе появились власти, действующие исключительно в силу от него полученных полномочий, совершенно независимые от старых органов городского управления, своего рода ми-

нистры. У него начал формироваться двор, тот самый двор итальянского тирана, которому культура Возрождения должна была позднее сообщить такой ослепительный блеск.

7. Италия — колыбель Возрождения.

Культура Возрождения в итальянских городах начала складываться из двух элементов: тех, которые были созданы сознательными и бессознательными усилиями, и тех, которые оказались в наличии, когда эти усилия стали действовать. То, что Италия стала колыбелью Возрождения, объясняется тоже двумя причинами: что созидательные усилия начались в итальянских городах раньше, чем где бы то ни было, и что того, что оказалось в наличии в Италии, не оказалось и не могло оказаться ни в какой другой стране.

Мы знаем, что созидательные усилия итальянских горожан шли в двух направлениях. По мере того, как развертывались экономические и социальные отношения, строились правовые и политические формы. А в более спокойные моменты нечувствительно шло иное творчество: выковывалось новое мирозерцание; новое отношение к природе, к людям, к церкви, к богу. И появлялась новая литература.

Как уже говорилось, во всем этом бурном и многогранном строительстве классицизм был не при чем. Жизнь диктовала, люди выполняли. Законам подражания нечего было делать. Законы естественного роста насыщали собою все. Все была практика. Время теории еще не пришло. Но налицо уже то, к чему обратится теория, как только настанет ее время. Это—вторая группа элементов, из которых должна была сложиться культура Возрождения: то, что осталось на итальянской земле от античной культуры.

Посмотрим прежде всего, что нового сравнительно с прежним дало культуре экономическое, социальное и политическое развитие за XII и XIII века. Все стало сложнее. Ко всему стало труднее приспособляться. Борьба во всех областях сделалась ожесточеннее. Все, плохо приспособленное к такой жизни, беспощадно истреблялось. Выживали самые сильные. Человек начала XII века был, несмотря на все свои новообретенные качества, старой тряпкой по сравнению с железными людьми конца XIII века. До прихода тирана страш-

ная борьба на всех аренах жизни несколько смягчалась благодаря существованию множества мелких и крупных корпораций на половину профессионального, на половину политического характера. Они давали человеку защиту, поддержку, приют. Они заслоняли его от государства. Человек не чувствовал себя одиноким в борьбе. Он ощущал братское плечо справа и слева. У него не было необходимости напрягать все свои силы. Тирания если и не покончила начисто с корпорациями, то подрубил им один из главных корней — их политическое значение. Человек оказался свободным от групповых пут. То соединение, которое раньше помогало ему не захлебнуться в море жизненной борьбы, не могло дальше сделать для него ничего сколько-нибудь существенного. Человек оказался предоставленным самому себе. Это был, конечно, факт благоприятный для культурного роста личности. У человека, который должен полагаться только на себя, удесетеряются силы и способности. Он становится сильнее, ярче, даровитее. Но по той же причине рост личности принимал и уродливые подчас формы.

Личность уже не находит опору и защиту в группе, к которой она раньше принадлежала и которая теперь доведена до полного упадка. Человек должен на собственный риск и страх вести борьбу за существование. Нет ничего удивительного, что цветы зла распускаются в его душе, что в нем обостряется эгоизм, вспыхивают и разгораются страсти, которых раньше не было. Нет ничего удивительного, что в обществе теперь учащаются преступления насилия, что сила становится главным божеством, а успех — моментом, все оправдывающим. Понятия о нравственности и добродетели сильно изменяются. Люди, подобные свирепому Эццелино да Романо, тиранну Вероны, Падуи и Виченцы, трижды отлученному от церкви за вопиющие преступления, вызывают не только ужас, но и удивление: он сильная личность. Еще не вошло в употребление слово *virtù*, доблесть в смысле высокой одаренности, но самое понятие уже начинает складываться.

Борьба гвельфов и гибеллинов, в которой папа фигурировал, как глава партии, и, следовательно, был противником доброй половины городов, расшатывала почитание св. престола, колебала авторитет папства, следовательно церкви. В конечном счете креп мирской дух, и расчищалась дорога для независимого критического исследования.

Этот процесс находил поддержку еще в одном факте, опять-таки специфически итальянском, как и борьба гвельфов и гибеллинов. Иерократическая идея и все ее последствия господствовали над сознанием итальянцев далеко не в такой сильной степени, как в других европейских странах, хотя естественно было бы ожидать, что у подножия папского трона она будет властвовать, как нигде. Это и понятно. Для остальной Европы папа был понятием, более или менее отвлеченным. За Альпами, издадека, в нем чтити святого, преемника апостола Петра, главу христианской церкви, облеченного властью разрешать от грехов и доставлять вечное блаженство. Словом, для Европы папа — идея, раз навсегда определенная и привычно импонирующая религиозному сознанию. Не то было по эту сторону Альп. Для итальянцев папа — свой. Они видели на близком расстоянии человека вполне реального, которого они помнили кардиналом, часто и раньше; им трудно было связывать с ним отвлеченную идею; они знали по именам его любовниц, меню его пиров, все его слабости и недостатки. Пышный декорум давно перестал их обманывать. Они знали ему цену. Они жили за кулисами.

Вполне естественно поэтому, что прогресс свободной религии и мирского духа в Италии далеко оставил за собою остальную Европу. Из всех ересей, перечисленных выше, только вальденство родилось не в Италии. Францисканство было чисто-итальянским явлением вначале. После узаконения ордена борьба за чистоту первоначального устава, т.-е. за то, что в ордене было порождением здоровой ереси, велась только в Италии (спиритуалы). Только Италия выделила радикальное крыло францисканства, эпигонов еретических основ ордена, *fraticelli*. Только в Италии Апостольские братья, уже в порядке нового бунта, пытались восстановить во всей ее чистоте идею нищеты, а Сегарелли и Дольчино сложили свои кости на кострах.

Культура Возрождения родилась тогда, когда все те элементы городской культуры, о которых до сих пор шла речь, сделались предметом теоретического обоснования. Нам нужно прежде всего посмотреть, что в Италии было налицо из остатков той культуры, которая, пока был жива и процветала, успела дать теоретичное обоснование очень многим проблемам жизни. Это — античная культура. Как культура, она давно погибла. Но она умерла не совсем после крушения западной

империи. Ее следы остались во многих крупных переживаниях, и ни одна страна не находилась в этом отношении в таких благоприятных условиях, как Италия.

Римская традиция в Италии сохранилась прежде всего в фактах языка. Латинский язык вообще отличается большою устойчивостью, и, как более развитый язык, он всегда успешно боролся с другими, с которыми ему приходилось сталкиваться благодаря случайностям политической истории. А в Италии условия борьбы для него были особенно благоприятны в том отношении, что другие элементы не были сильны. И латинский язык умел всегда победить другие. Тут нужно различать два течения. Как литературный, книжный язык, латинский в Италии не имел соперников. В народном разговорном обороте он видоизменялся под влиянием других элементов, пока не сделался итальянским. И мы знаем, что в первое, наиболее критическое время, литература не только жила латинским языком, но в значительной степени усвоила с ним вместе и классические предания. Такие поэты, как Альфан и Гуайфер, очевидно, питаются из классического источника; писатель начала X века, который известен под именем панегириста Беренгара, жалуется, что стихи, которые он пишет, не удивляют никого и никем не ценятся, так как всякий может писать такие же. Мало того, классические образцы перестали быть исключительно достоянием школы уже к началу того же X в. До нас дошел любопытный образец этого рода — песня моденских стражников (904 г.), характерная в том отношении, что обнаруживает начало перехода античной традиции из школы на улицу. Для XI века у нас есть такой надежный свидетель, как придворный поэт императора Генриха III, Вишпон, который уверяет, что в Италии латинский язык широко распространен и что им хорошо владеют все итальянцы. В начале XIII века св. Антоний Падуанский проповедует по-латыни, и народ, который говорит уже на *volgare*, его еще понимает. Теперь трудно проследить средние стадии того процесса, исходный пункт и завершение которого нам так хорошо известны, те стадии, когда латинский язык постепенно сделался вполне народным и мало-по-малу перешел в итальянский. Конечно, как книжный язык, латинский все время держался независимо от этой эволюции, и когда он пропал из народного обихода, претворившись в итальянский, и постепенно сделался чужд

широким слоям общества, он продолжал культивироваться в школах и монастырях.

В Италии никогда вполне не умирал даже греческий язык. В южных провинциях, в особенности в Калабрии и на острове Сицилии, благодаря продолжительному византийскому господству, знание греческого языка держалось без перерыва; греческий язык был там господствующим языком. Его знают также и купцы, имеющие дела в Константинополе и вообще в восточной империи. Помнят его изредка и монахи; так, про одного минорита XIV века рассказывали, что он получил греческий язык в качестве особой милости от бога. Но этот греческий язык был язык разговорный, не литературный, и не всякий калабрийский грек понимал греческих классиков. Сколько хлопот причинил Боккаччо и Петрарке добытый ими именно в Калабрии, «грязная скотина», Леонтий Пилат, переиравший Гомера в пьяном состоянии! Но, вообще говоря, «звуки божественной эллинской речи» в Италии умолкли гораздо основательнее, чем звуки речи латинской.

Фактами языка переживание античной традиции, конечно, не ограничивается. Другая непрерывная нить от древности идет в школьном преподавании. Светские школы средневековой Италии восходят к римским школам императорской эпохи. Заведуют ими обыкновенно ученые грамматикки, которые продолжают заниматься своей незаметной, неблагодарной, но крайне важной культурной работой и при остготах, и при лангобардах, и под владычеством каролингов. Фактов, указывающих на деятельность светских школ, сохранилось очень мало, но мы все-таки имеем возможность проследить ее непрерывно от VII века до XI, прежде чем мы сделаемся свидетелями их превращения в итальянские университеты.

В деловой традиции, преимущественно в нотариальной практике, продолжают все время господствовать постановления римского положительного права, урезанные, правда, согласно скудным потребностям общества, но заимствованные, несомненно, из практической части юстинианова *Corpus'a*, из Кодекса. Теоретическая часть *Corpus'a* — Дигесты или Пандекты — находилась в совершенном забвении. О них, как мы знаем, вспомнили, когда явилась необходимость серьезного изучения права. Тогда их стали изучать и комментировать глоссаторы болонского университета.

Некоторые из деятелей римской литературы все время продолжали пользоваться популярностью в Италии, и, разумеется, никто не пользовался большею популярностью, чем Вергилий. В V и VI веках его усердно изучают в школах, в нем дивятся не столько мягкости стиха и совершенству формы, сколько умению воспеть величие Рима. Он слывет мудрецом за то, что он впустил в своих произведениях мысль античного Рима; его считают пророком, предсказавшим появление Христа, за то, что в одной из его эклог имеется довольно темный стих о каком-то младенце. В конце концов, римский поэт стал в сознании широких народных кругов каким-то полуфантастическим волшебником, и в первых иллюстрированных изданиях поэмы Данте изображается со всеми атрибутами настоящего чародея, в необыкновенной шапке, в длинной мантии, с большою бородою.

Популярные в римском художественном обиходе представления ателлан, т. е. народного театра, не пропали после падения империи. Они продолжали жить, сделавшись достоянием скоморохов (*saltimbanchi*), у которых они мало-по-малу приняли национальный итальянский облик. Позднее типы ателлан мы встретим в масках *Commedia dell'arte*. Быть может, они прошли не погибнув, десять веков, от VI до XVI.

Множество уцелевших и наполовину развалившихся архитектурных памятников в разных городах громко говорили итальянцу о былой славе Рима даже в самые глухие времена средневековья. Это было хорошее напоминание, быть может единственное, которое ощущалось.

Мы бы никогда не кончили, если бы стали припоминать дальше переживания римской культуры в культуре средневековой Италии. Их было много, и не могло не быть много. Ведь, когда в Италии античная культура осложнилась элементами христианскими и потом германскими, их взаимодействие привело к иному результату, чем на севере. В Италии германские элементы были представлены слабо, а христианские не могли подавить античных. Под формально-христианскою оболочкою там еще держались многие из античных жизненных привычек, которые претворили в себе национальные особенности германцев. Но присутствие античных элементов в средневековой итальянской культуре было далеко не так ясно современникам, как ясно в настоящее время нам. Больше

того, современники совершенно не ощущали их, ибо старое было очень хорошо переработано в новом. Тем не менее они были и, когда пришла пора, они сильно облегчили дело создания для выработанных уже основ новой культуры теоретического фундамента. Это было неизбежно. Процесс должен был пойти одним из двух путей: или до теоретических аргументов должны были додумываться самостоятельно, или должны были искать их где-нибудь в готовом виде. Последнее было, несомненно, легче. И после того, как был испробован первый путь, и оказался труден,—пошли по второму: эволюция общества идет в конце концов по линии наименьшего сопротивления. Обращение к древности не было необходимым постулатом культурного роста Италии в XIV веке, как не было и в XII и XIII. Правильно сказано (Бурггардт), что итальянский гений и без древности сумел бы найти все те пути, которые продолжил с ее помощью. Но исторически обращение к древности было не только целесообразно, но и неизбежно, именно потому, что легче брать готовые аргументы, чем ломать голову над новыми.

Каков же вывод? Городская культура сделала нечто очень существенное в процессе выработки новой культуры. Она положила фундамент и первые камни здания. А так как остатков античного в Италии было много, дальнейшая стройка должна была пользоваться именно этими античными материалами. До сих пор культурное творчество было больше бессознательное, чем сознательное. Теперь оно пойдет почти сплошь сознательно и планомерно. До сих пор оно было главным образом коллективное. Теперь оно будет в наиболее существенном индивидуальное. До сих пор оно было безымянное. Теперь пойдут имена. В их числе будут и такие, которые принадлежат к вершинам мысли и творчества во всей истории человечества. И как раз двое первых, которыми нам предстоит заняться,—титаны. То Данте Алигьери, поэт, и Джотто, художник.

8. Данте.

Одна из легенд, которыми скудные факты биографии Данте облеплены со всех сторон, рассказывает следующее: однажды, на улице Вероны, две женщины очень внимательно вглядывались в проходившего мимо них высокого, худого человека.

Он был весь в красном; верхняя часть его лица была прикрыта красным капюшоном. — «Смотри-ка, — воскликнула одна, — ведь это тот самый, который спускается в ад и выходит оттуда, когда захочет, и здесь, на земле, рассказывает про тех, кого там видел!» — «Должно-быть, ты говоришь правду, — ответила другая. — Как закурчавились у него волосы, как он загорел от адского жара и почернел от копоти!» Таким представлялся ближнему потомству творец поэмы, которую сам он назвал «Комедией» и которую потомство нарекло «Божественной».

Уже при жизни Данте народ создавал легенды о нем, и это показывает, какое глубокое впечатление производила на современников его поэма. Но современники восторгались в ней совсем не тем, чем восторгаемся мы. Они ценили в ней две вещи. Для одних «Божественная Комедия» была действительно божественною книгою, и они находили в ней то живое личное отношение к божеству, которого искали в мистических учениях ересей и в францисканской религии любви. Для других, более образованных, Данте, как показывает заметка в хронике Дж. Виллани, был прежде всего ученый, вместивший в себе огромное количество всевозможных «моральных, естественнонаучных, астрологических, философских и богословских» знаний.

Когда в истории литературы приходится наблюдать такое могучее влияние писателя на общество, то это всегда имеет один смысл: писатель сумел уловить и выразить настроение и мировоззрение общества с такою полнотою, что каждый — от поденщика до ученого — найдет у него волнующую его думу, осаждающую его сознание мысль. Относительно Данте это более верно, чем относительно кого бы то ни было другого. И вот почему. До Данте у итальянского общества не было ни одного поэта, который в своих творениях давал бы ему нечто целостное, формулировал бы ему целую систему миропонимания. «Божественная Комедия» была первым синтезом средневекового мировоззрения; в ней, как прекрасно сказано, заговорили в первый раз десять немых столетий. И все, что было создано положительного и прочного в сфере идей за эти столетия, все это есть у Данте, выраженное в величественных образах и — что гораздо важнее — переведенное на народный язык. Его религия — католичество, его философия —

богословие, его наука — схоластика, орудие его поэзии — аллегория. Все — средневековая мудрость.

Но, чтобы иметь такой успех у итальянцев начала Треченто, одних средневековых элементов было мало. Нужны были и другие элементы. Не средневековые, а новые. И в творениях Данте появляются эти новые элементы. Чтобы понять их, нужно припомнить главное из того немногого, что мы знаем о жизни Данте.

Фигура Данте даже современного человека волнует бесконечно, хотя для нас она не более, как скорбный силуэт, сурово глядящий на нас из глуши средневековья: Мы знаем, что у него были человеческие слабости и человеческие падения. Мы знаем, что он был женат, имел детей, имел любовниц, ненавидел своих врагов, был высокомерен, ворчлив, неуживчив. Но это все представляется таким несущественным, когда его великая душа начинает раскрываться в терциях «Комедии», в прозе и стихах «Новой Жизни», в тяжелой средневековой латыни «Монархии».

Великий поэт был флорентинец родом. Его семья принадлежала к городской знати и всегда играла выдающуюся роль в жизни богатой всяческими тревожениями Флоренции. Время, когда родился Данте (1265), было особенно тревожное: то был разгар борьбы между гибеллинами и гвельфами. Семья Данте принадлежала к гвельфам и не отставала от других: его предки боролись, побеждали, терпели поражение, и как раз в то время, когда родился Данте, отец его или только что вернулся из изгнания, или еще скитался на чужбине. Данте вырос под впечатлениями политической борьбы и до конца жизни не мог отделаться от того представления, что две такие силы, как империя и папство, должны так или иначе разграничить сферу влияния. Сначала он считал правильной точку зрения гвельфов и думал, что папству должна принадлежать и светская власть, но он изменил свой взгляд, когда эту точку зрения стал проводить папа Бонифаций VIII, не жалевший ничего, чтобы утолить жажду власти, цинично отрекавшийся от своих духовных задач, чтобы увеличить церковную территорию. Не один Данте стал разочаровываться в папстве. Среди гвельфов возникли две группы, умеренные стали называться Белыми, крайние сторонники папы — Черными. Основую разногласия были экономические мотивы. И Белые,

и Черные принадлежали к богатой буржуазии, которая как раз в это время закладывала основы своего крупно-капиталистического благополучия. Те и другие наживали большие деньги на делах с папской курией. Именно этого источника наживы они и не поделили. А прилепить политические ярлыки ко всем этим вещам ничего не стоило. Семья Данте в это время, по крайней мере, была не богата и дел с курией не делала. Для него лично вопрос был вполне принципиальный. В это время (1300 г.) Данте занимал уже видную должность в городе и был в первых рядах борцов. Белые победили. Черные были изгнаны, бежали к Бонифацию, и тот отправил в наказание возмущившемуся против него городу французского принца Карла Валуа «для умиротворения». Вслед за принцем пришли Черные, и началась месть. Данте, бывший в это время в отлучке, вместе с другими был присужден к изгнанию с угрозой быть сожженным живым, если вернется (начало 1302 г.). Он уже больше не возвращался в «прекрасную овчарню, где спал ягненок» и куда всю жизнь стремился, изнывая от тоски.

Началась скитальческая жизнь, полная лишений. Гордый дух человека, не всегда «снисходившего до разговора с мирянами», познал, как «горек бывает чужой хлеб и как тяжело подниматься и спускаться по чужим лестницам». Но в великом изгнаннике таились неисчерпаемые силы духа. Он страствовал по свету, учился и творил. Кроме «Новой жизни» и части «Пиры», все его произведения написаны в изгнании. Напряженная работа наполняла его существование, в нее он вкладывая все — и воспоминания прошлого, и впечатления настоящего, и чаяния будущего. По мере того, как складывалось его мировоззрение, шла вперед и его поэма. Когда она была закончена, у него уже не оставалось ни надежд, ни иллюзий. Уныло бродил он под величественными византийскими базиликами своего последнего убежища, Равенны, прислушиваясь к реву сирокко в соснах соседней Пянеты, куда он любил уединяться. Поэт ждал, пока смерть даст ему то, чего он тщетно искал при жизни, — мира.

Как всякий гениальный человек, Данте весь соткан из страстей. Но он первый из средневековых людей не испугался своих страстей, не стал их подавлять в себе, скрывать от других, а сделал их в поучение миру, «живущему в скверне».

всеобщим достоинством. Его первая страсть — любовь. Но особенная.

Однажды, когда Данте было всего девять лет, его отец был приглашен к своему соседу и приятелю Фолько Портинари; он пошел, взяв с собою сына. Тут в толпе детей мальчик увидел восьмилетнюю девочку, дочь Портинари — Беатриче или Биче. Она была одета в дуршур, «благороднейший цвет»; оживленная и нарядная, она показалась Данте ангелом, хотя не сказала с ним ни слова. Девять лет он не встречался с нею более, потом случайно увидел ее на улице, когда она, вся в белом, шла с двумя дамами. Беатриче узнала Данте и «в своей неизреченной милости» поклонилась ему так ласково, что юноша почувствовал себя на верху блаженства. С этого дня любовь, зародившаяся в детстве, крепнет, и Данте становится поэтом. На другой день после встречи он написал свой первый сонет *A ciascun'alma presa...*

Всем, чья душа в плену, чье сердце благородно,
Кто эту песнь прочтет и даст мне свой ответ,
Всем, чье суждение ко мне придет свободно,
Во имя их царя, Апоге, шлю привет ¹⁾.

Потом Беатриче вышла замуж и спустя некоторое время умерла на двадцать-четвертом году жизни. Данте так и не пришлось перемолвиться с нею ни единым словом. Он, впрочем, этого и не добивался. Его любовь — целомудренная страсть, которая ищет взгляда, улыбки, приветствия; в ней совершенно нет чувственного влечения. В пересыпанной стихами книжке «Новая жизнь» (*Vita nuova*), где Данте описал свою любовь, он следует заветам новой флорентийской лирики Гвидо Гвиничелли и Гвидо Кавальканти, у которых провансальские традиции осложнялись философским элементом и которые смотрели на чувство сквозь призму мистики. Любовь — чувство платоническое, не земное; она вызывает трепет таинственной радости, не чувственное влечение; природа ее всего лучше выражается в аллегорических образах. Последовательным развитием этой точки зрения у Данте, которого смерть Беатриче поразила в самое сердце, была эволюция образа его возлюбленной в «Божественной Комедии», где

¹⁾ Перев. Бальмонта.

в ее лице воплощается богословие. Ведь для самого Данте его поэма была памятником Беатриче.

Совершенно иного рода другая страсть Данте — политическая. Флорентинцы в эпоху Данте — уже политики все поголовно, а Данте стоял в первых рядах. Пока он был в родном городе, он был умеренным гвельфом; когда его изгнали он уже был гибеллином и с каждым годом делался все более и более решительным приверженцем императора. Он любил Флоренцию со всем пылом патриота; лишенный возможности вернуться туда, он возненавидел виновников своих мук. Разочаровавшись в папстве и в его способности править Италией он перенес все свои надежды на императора, защищал притязания императорской власти в латинском трактате «О Монархии», звал Генриха VII в Италию, приветствовал его, когда он пришел туда, ободрял его, когда он боролся, оплакивал его смерть, которая была непоправимым ударом, его мечтаниями, когда все было потеряно, разразился знаменитой филиппикой против Италии, отказавшейся от императора: настоящей осанной гибеллинизма:

Италия! Раба! Приют скорбой,
Корабль без кормщика средь бури дикой,
Разврата дом, не мать областей!
С каким радушием тот муж великий
При сладком имени родной страны
Сородичу воздал почет толийский!
А у тебя — кто ныне без войны?
Не гложут ли друг друга в каждом стане,
За каждым рвом, в черте одной стены?
Вдруг осмотри, злосчастная, все грани
Морей твоих; потом взгляни в среду
Самой себя: где край в тебе без брани?
Что пользы в том, что дал тебе узду
Юстиниан, наездника же не дал?
Зачем, народ, коня во власть не предал
Ты Цезарю, чтоб правил им всегда,
Коль понял то, что Бог вам заповедал? ¹⁾

Когда человек постоянно живет в таком напряженном состоянии, страсть в нем распадается все больше и больше, он перестает понимать тех, кто не волнуется с ним вместе, он

¹⁾ Чистилище, VI, перев. Д. Мина. «Муж великий... сородичу». — См. Лелло и Вергилий, оба мавтуанцы, встретившиеся в чистилище.

кипит ненавистью ко всем, кто так или иначе согрешил против политической чести. Опортунистов он не пропускает даже в ад: его ад их отгинул. «Взгляни и пройди», — говорит ему Вергилий, когда они идут через ряды людей, знамя которых вертится во все стороны. Никогда с тех пор язык человеческого не придумал ничего более сильного, чем этот приговор презрения в трех простых словах: «malta e passa». В самой глубине ада казнятся предатели. Данте схватывает одного из них за волосы, не зная еще, кто это. Не все ли равно это предатель, к нему у него нет сочувствия. Другого он обещанием заставляет говорить и уходит, не сдержав слова. Ведь это предатель, а с ним и вероломство — подлив. На дне адской воронки, в тройной пасти Люцифера, свирепо равнодушного и к своим и к чужим мукам, вместе с Иудой Искариотом мучаются Брут и Кассий за то, что они именованчески подняли руку на Цезаря, предали империю.

На папство Данте в ту пору, когда писал «Божественную Комедию», уже не может смотреть иначе, как сквозь призму своего гибельности, и, освещенное ярким факелом его политических страстей, оно обнаруживает все свои многочисленные язвы. Вымышленная дата странствований Данте по аду, чистилищу и раю — 1300 год, когда папский престол занимал Бонифаций VIII, — человек, которого Данте ненавидел так же пламенно, как любил Беатриче. И Данте пользуется всяким удобным случаем, чтобы отомстить своему врагу. Когда писалась поэма, Бонифация уже не было в живых: он умер, подавленный позором, который в глазах христианского мира был символизирован легендарной железной пощечной Колонны⁴⁾. Но Данте преследует его своею ненавистью и за гробом. В аду Бонифация ждет один из его предшественников, папа Николай III. В чистилище и в раю против него мечут проклятия все, кто так или иначе имеет связь с папским престо-

⁴⁾ Колонна был знатный римский вельможа семья которого Бонифаций лишил всех владений. Когда у папы произошло столкновение с французским королем Филиппом Красивым, Колонна присоединился к ряду французов, назывшему на папу в городке Анаagni, и, когда тот встретил врагов в водном облачении, князь Колонна нанес ему самую тяжелую оскорбление. Легенда прибавила, что он ударил папу по лицу рукою, закованною в латы, но ни один из современников не упоминает этот эпизод, ничего о пощечине не упоминает.

лом, и самыми сильными упреками раздражается уже на высших ступенях рая, где, казалось бы, гневаться совсем не полагается, не кто иной, как апостол Петр, и небо кругом покрывается багрянцем от силы его упреков.

Великого изгнанника постоянно жжет одно чувство, в котором еще раз сказывается его крепкая духовная связь со старинной. Все лучшее в нем возмущается, когда ему приходится быть свидетелем того, как портится и гниет то, что в доброе старое время было здорово. Портятся нравы духовенства, и теперь прелат, который едет верхом, — две скотины под одною шкурою, *due bestie sott' una pelle* (это блаженной душе кардинала Дамиани припоминается в раю народная флорентинская поговорка)¹⁾; портятся нравы добрых граждан. Как было хорошо — это сетует тоже в раю предок Данте, Каччагвида, — когда Флоренция

..Не тронута развратом
И целомудренна, чужда она была
Безумной роскоши и бурного веселья.
Там не виднелися на женах ожерелья
И драгоценные венцы и пояса...
Я был свидетелем, как в гости шел с женой,
Не знавшю румян, Беллиничioni Берти.
И пояс он носил с отделкой костяной,
А Нерди с Веккио и не слышали даже
О роскоши одежд, меж тем как жены их
Лишь о веретене ваботились и пряже
И были счастливы в занятиях своих.—
Не угрожало им вдовство на брачном ложе,
И знала каждая свою могилу тоже.
Одна баюкала ребенка в час ночной
Словами нежными, которые дороже
Всего для матерей; в кругу семьи родной
Другая женщина про древний Рим и Троию,
Про Физеоле речь за прялку вела.
В те дни такую же бы странною была
Известная своим распутством Чиангелла
Иль ненавистный всем законник Сальтерелло,

¹⁾ Юмор у Данте совсем особенный. Он поражает, как удар тяжелой двуручной мечом. Например, эпизод с Гвидо Монтефельтре и его Черным херувимом, который доказывает ему по всем правилам схоластической философии, что ему надлежит идти в ад, прибавляя: «tu non sarèvi ch'io loico fossi». (Ад, 27). Или эпизод с Алессо Ингерминей, которого Данте находит окунутым с головою в нечистоты и говорит ему: «я знал тебя, когда у тебя лицо было сухое». (Ад, 18).

Как были б Цинцинат с Корнелией у нас
В теперешние дни... ¹⁾

Данте совершенно не понимал смысла совершавшегося на его глазах переворота. К концу XIII века уже завершилась борьба знати с буржуазией во Флоренции, знать была уже побеждена, и те из дворян, которые хотели сохранить влияние на управление города, должны были записываться в городские цехи. В это время всем заправляла плутократия, у которой были уже иные интересы, чем противоположность империи и папства. Современные ему распри Белых и Черных покрывали уже совершенно иное соперничество, внутреннее, флорентинское. Пока оно тоже имело политический характер, но в городе готов был материал и для социальной борьбы, разразившейся несколько десятков лет спустя. А Данте, хотя он и не ценит больше кровной знатности, социального вопроса разглядеть все еще не в состоянии. Подобно Бонифацию, он упорно продолжает оценивать вещи с точки зрения принципов, в сущности уже безжизненных, с точки зрения противоположности гвельфизма и гибеллинизма. Оттого он и не видит в современном ему обществе ничего, кроме безпутной Чангеллы и прожигателя жизни Сальтерелло ²⁾. Оттого он жалуется на то, что купцы, едущие по торговым делам во Францию, покидают жен вдовами на долгие месяцы. Он не понимает, что это только признаки эволюции, гораздо более глубокой, чем это казалось ему. Вполне последовательно также было с его стороны, что он засадил в ад менял; он вполне разделял церковную точку зрения, что лихва греховна, и нимало не предчувствовал той огромной роли, которую несколько позднее будет играть кредит. В полном согласии с господствующим представлением было и то, что он осудил на муки вольнодумцев своего времени — Фаринату и Кавальканти-отца, обвиняемых в эпикурействе. А они во многом были родные ему по духу. Даже и папству, когда речь идет об организации духовной власти, Данте относится с величайшим почтением. Перед тенью Адриана V в Чистилище он преклоняет колена (Чист., 19), а в следующей песни разра-

¹⁾ «Рай», XV, перев. Чюмяной.

²⁾ Лано Сальтерелло был опытный, знающий и добросовестный юрист. Но любил пожить. Относительно Чангеллы дела Този мы не знаем ничего хорошего.

жается негодующей тирадою против Филиппа IV французского, оскорбившего в Ананьи носителя папского сана, хотя это был не кто иной, как его злейший враг, Бонифаций VIII.

Он зовет назад к идеалам, утратившим жизненность. То, что будет жить, он осуждает, не понимая. Негодует и страдает, когда действительность безжалостно разбивает его мечты.

Чем больше приближался он к концу жизни, чем больше выяснялась для него гибель всех надежд, тем больше его страсть сосредоточивается на потустороннем. Он проходит конец своего жизненного пути со взором, неотрывно устремленным к небу, с душой, где все спускаются мистические настроения. Рай — третью часть поэмы — называли музыкою миров за то чарующее величие, которым она проникнута. Тут в мировом пространстве, озаренном лучезарным сиянием блаженных душ и ангельских хоров, ехоятся все его привязанности. Беатриче, солнце его юношеской мечты, теперь, одетая в сверкающие зеленые ризы, олицетворяет богословие и приводит его к лицемерию божества. В самом центре мистической розы приготовлен светлый престол для его избранника, Генриха VII. На разных ступенях рая он встречает тех, кто ему дорог и кого во имя высшей справедливости не пришлось посадить в ад, как старого Брунетто Латини, сочинения которого были его первой школой, или в чистилище, как музыканта Казеллу и художника Одеризи. Тут страсть его постепенно утихает и лишь изредка вспыхивает, когда ему придется говорить о папстве и о других его врагах. Чем ближе к концу, тем отчетливее сквозит в каждой строке та мистическая «любовь, которая двигает солнце и другие светила», *l'amor che muove il sole e l'altre stelle...*

Когда в средние века монахи, одаренные фантазией и охваченные мистической экзальтацией, описывали свои видения, они пользовались Апокалипсисом и житиями святых; реального у них не было ничего. Данте тоже описывал свои видения, но его материал совершенно иной. Он переносит в ад и чистилище то, что видит вокруг себя. В его воображении раз навсегда запечатлевались малейшие подробности видения, и когда ему пришлось создавать свой ад и свое чистилище, к услугам фантазии оказались бесчисленные документы действительности. «Это все та же Италия, но Италия, при звуках трубы архангела, опрокинутая со своих гор к подножию пре-

стола Вечного Судии» (Э. Кинэ). Ему нужно описать муку лихоимцев, которых он помешает в кипящую смолу: немедленно припоминается ему морской арсенал в Венеции, в котором конопатят судна, и где поэтому всегда имеется растопленная смола. Он изображает казнь злых советников, каждый из которых ходит, заключенный в язык пламени, — издали эта картина приводит ему на память тихий вечер в Италии, когда все поле бывает усеяно светлячками. Он рисует муки гигантов, восставших на Зевса и посаженных за это в каменные колодцы по пояс, — и в его воображении немедленно встает образ замка Монтереджоне в окрестностях Сиены, опоясанного зубчатой стеной. По указаниям поэмы, комментаторы с точностью вычислили размеры всех кругов Дантова ада, иллюстраторы воспроизвели малейшие детали пейзажей. Поэт, несомненно, видел свой загробный мир так же отчетливо, как мы видим мир, окружающий нас. Ад, созданный его фантазией, эта страшная симфония черного и красного, тьмы и пламени, приводит его в ужас, рай — доводит до мистического экстаза. Читая поэму, читатель верит, что он мучился за Франческу, трепетал перед воротами Диса, железного города еретиков, холодел от ужаса, когда чуть было не попал к чертям на вилы или был заслонен Вергилием от превращающего в камень взгляда Медузы. Все это описано до такой степени реально и живо, что становится понятным отношение к поэме современников. Когда поэт верит сам и обладает таким чудесным пластическим даром, ему трудно не верить.

Это острое чувство действительности, которое снабжает палитру художника таким неисчерпаемым разнообразием красок — как различны, напр., два описания леса в первой песне «Ада» и в 28-й «Чистилища»: там мрачный и страшный, тут мягкий и полный тихой поэзии — это чувство действительности есть несомненная черта нового человека, который отделился уже от пренебрежительного отношения к природе и ее красотам. Эта черта дополняется другой — интересом к человеку, как такому, интересом к личности. У Данте впервые появляется такое множество фигур с резко очерченными индивидуальными особенностями. Беатриче, Франческа, Фарината, Кавальканти, Пьетро делла Винья, Брунетто Латини, Гвидо ди Монтефельтро со своим Черным Херувимом, Одиссей, граф Уголино, Сорделло, Казелла, Форезе Донати, Пиккарда,

Куница, Каччагвида и множество других, — все это образы, которые не изгладятся из памяти никогда. Из населения загробного мира Данте больше всего интересуется итальянцами, и итальянцы, особенно флорентинцы, изображаются им особенно охотно. Он их знает лично или по наслышке — ведь многие еще не умерли, когда неумолимый поэт изрек им приговор. Его фантазии нетрудно было представить ту перемену, которую в них произвели муки или очищение. Образы других легко и свободно рождаются в его воображении. Паоло Малатеста, который безмолвно плачет, пока Франческа рассказывает свою грустную эпопею; Фарината, гордо стоящий, выпрямившись во весь рост в своей раскаленной могиле, «как будто ад имел в большом презрении»; Брунетто с лицом, высушенным адским жаром, и не имеющий права остановиться под угрозой страшной казни; Капаней, который презирает божество и кричит, торжествующий, не сломленный мукой: «Мертвый я остался тем же, чем был живой!» Бертран де Борн с собственной головой в высоко поднятой руке; Уголино с детьми; Сорделло на своем камне, гордый и недвижимый, «словно лев, когда он отдыхает»; Форезе, превратившийся в скелет от голода, — это такие перлы, которые не много имеют себе равных в литературе.

Интерес к действительности, к природе и человеку, это — тот элемент, который всего больше отделяет Данте от средних веков и делает его предтечею нового миропонимания. Но не он один. У Данте, несмотря на то, что он вместе с Каччагвидой оплакивает безвозвратно ушедшую старину, — такие чувства, в которых трудно было бы сознаться во времена Каччагвиды.

Прежде всего любовь. Поэт знает не только платоническую любовь «Новой Жизни» и не только мистическую, которая движет солнце и другие светила. Он знает, что есть и другая. Он и сам испытал это и не скрывает от своих читателей имени Джентуки, своей приятельницы. Это — та любовь, о которой говорит Франческа да Римини: *Amor che a nullo amato amar perdona*, — любовь любимому любить велит. И, конечно, Франческа и Паола занимались не разговорами на мистическую тему в тот день, когда, охваченные страстью, они упали в объятия друг другу, забыв о книге. Данте, посадивший их в ад во имя верховного морального принципа,

относится к их участи с величайшим состраданием. Ему больно до слез, когда он слушает рассказ Франческа, он падает без чувств, когда она оканчивает его под безмолвные рыдания своего друга...

И не только любовь. Слава, *tabog togvus* Петрарки, в душе Данте уже не будит никаких аскетических мыслей. В аду он однажды утомился и присел отдохнуть на камень.

Но Вождь: «Покой прилпчен ли тебе?
 Кто в славе сил не обновит победной,
 Не вкусит плод, добытый им в борьбе!
 Кто прожил жизнь свою темно и бледно,—
 Как в небе дым или как пена вод,
 Тот для грядущего пройдет бесследно.
 Встань! Не постыдно ль, если верх возьмет
 Плоть над тобой и склонится пред нею
 Дух, победитель всех земных невзгод!»¹⁾

Правда, уступая живучим аскетическим настроениям, Данте признает (Рай, 6), что стремление к славе и почестям (опоге e fama) мешает «истинной любви», т.-е. совершенству в христианском духе, но такое стремление он не считает грехом. Честолюбивые люди с большими удобствами живут в раю, хотя и на планете нижнего ранга, Меркурии.

Более того, Данте понимает и другие голоса души, которые он признает более греховными, но все же легко очищаемыми. Это зависть («мало я запятнан зависти пороком», Чист., 13) и особенно высокомерие. От последнего ему пришлось даже очищаться.

И было у Данте еще одно свойство, которое средние века считали одним из самых тяжелых грехов: пытливый дух. В аду поэт встречает Одиссея, который казнится во рву злых советников. И Одиссей рассказывает ему историю своей гибели. Эпизод — целиком составляет вымысел Данте. Гомера он никогда не читал. Фигура «хитроумного» царя Итаки ни одной чертой не похожа на образ «Ада». Вот что рассказывает дантов Улисс. Пребывание дома было нестерпимо для него, отравленного радостями скитаний.

¹⁾ Ал., 24, пер. Н. Годованова. Эпизод в Чист. 11, где Одеризи искупает грех высокомерия и где есть слова: «моя же слава только дым», ни в какой мере не ослабляет значения приведенных стихов.

Ни юность сына с отчей нежной страстью,
 Ни скорбь отца, что слаб и одинок
 Дни коротал, ни с Пенелопой счастье,—
 Ничто, никто во мне сдержать не мог
 Дух странствия и страстную тревогу
 В людях изведать доблесть и порок ¹⁾.

Двинулись, проплыли Средиземное море, прошли Геркулесовы столпы, безбрежный океан раскинулся перед путешественниками, и, чтобы ободрить их на дальнейшее, герой обратился к ним со словами:

Друзья! Тьму бедствий дружные усилия
 Сломили наши,—молвил я своей
 Дружине старой.—Что ж мы? Сложим крылья?
 Иль жалко нам остатка дряхлых дней?
 Лишиться ль чести нам—за бездной влажной
 Открыть иной мир, новый, без людей?
 Припомните же сердцем род свой важный!
 Иль в тину впасть скотского естества
 Без жажды знания с доблестью отважной? ²⁾

Корабль понесся дальше. Люди увидели новые страны, но через пять месяцев погибли в бурю.

Двухвековая городская культура, смелые поездки итальянских купцов, десятки раз проходивших Геркулесовы столпы преломившиеся в поэтическом гении, создали этот бессмертный пророческий образ. Вся история открытий в этой маленькой речи Одиссея. Так будут говорить со своими спутниками Колумб, Васко де Гама, Магеллан. А стремление к «знанию и добродетели», двуединой сократовой формуле, — разве это не лозунг всего духовного развития нового времени?

Данте далеко вперед заглянул в тьму грядущих веков. Он не только новый поэт. Он—новый человек.

И все-таки на-ряду со всеми его гениальными прозрениями, его поэма во многом—средневековая поэма. С новыми мыслями в ней уживается такой архи-старинный прием, как аллегоризм. Он проходит насквозь, через все произведения Данте, и особенно большое место занимает в «Божественной Коме-

¹⁾ Ад, 26; пер. Н. Голованова.

²⁾ Там же. Буквально: «Вы рождены не для того, чтобы жить, как животные, а для того, чтобы стремиться к добродетели и к знанию»; per seguir virtute e conoscenza.

дии». На полпути земного бытия поэт заблудился в дремучем лесу, где на него нападают три зверя — пантера, лев и волчица. От них его спасает Вергилий, которого послала к Данте Беатриче. Вдвоем они выходят из лесу, Вергилий ведет Данте через ад в чистилище и на пороге рая сдает его Беатриче. С нею вместе поэт возносится все выше и выше и, наконец, удостоивается лицезрения божества. Дремучий лес, это — жизненные осложнения человека, звери — его страсти: пантера — чувственность, лев — властолюбие, волчица — жадность; Вергилий, спасающий от зверей, — разум, Беатриче — богословие. Смысл поэмы — нравственная жизнь человека, которого разум спасает от страстей и которому знание божественной науки доставляет вечное блаженство. На пути к нравственному перерождению человек проходит через сознание своей греховности (ад), очищение (чистилище) и вознесение к блаженству (рай).

Так, «небо и земля» поочередно «прикладывали руку» к великой поэме. Одиноким гигантом, подобно Горе Очищения в безбрежном океане, стоит Данте на рубеже двух эпох. Он объединяет в своем могучем синтезе культуру всей предшествующей эпохи. У своего времени, незримо чреватого буйными дерзновениями, он вырвал тайны грядущего. И бросил их, оплодотворенные гениальной мыслью, человечеству. Оттого и для позднейших поколений имя Данте светило, как раскаленная адским пламенем железная вершина Диса во мраке подземного болота, оттого оно было знаменем, обладание которым оспаривали друг у друга наиболее культурные силы XIV и отчасти XV веков.

9. Джотто.

Эволюция искусства представляет один из самых существенных моментов Возрождения. Она идет теми же путями, отмечена теми же особенностями, как и эволюция других сторон Возрождения. Она не представляет собою ничего такого, что противоречило бы общему направлению развития. В ней, так же, как и в эволюции литературы, преобладают черты, созданные общественным ростом, — горячий интерес к миру и к человеку, который заставляет искать наилучшей формы, ведет так же, как и в литературе, к погружению в античность. Подчиняясь господствующим в обществе принципам,

приспособляет их для собственных целей, но только именно эти принципы, а не что-либо иное, были первичною причиною, давшею толчок для создания нового искусства. Все остальное, в том числе подражание антикам, было второстепенным моментом. Архитектура, скульптура, живопись, каждая нашла себе новые пути, и недаром в эволюции искусства формам Возрождения придавали огромное значение даже и тогда, когда руководились только внешними эстетическими признаками и не подозревали тесной внутренней связи между различными сторонами интересующего нас процесса.

Возрождение искусства, словом, было таким же естественным результатом культурного роста итальянского общества, как и появление светской литературы. И первые памятники искусства, как нельзя лучше, обнаруживают непосредственную связь возрождения искусства с живыми общественными явлениями. Но на этот раз социальные и экономические мотивы действовали не непосредственно, а через религию. Общественная эволюция создавала новую религию, а новая религия—новое искусство, хотя иногда мы наблюдаем и непосредственное действие.

Архитектура, скульптура, живопись, возродились главным образом, под влиянием новых религиозных идей. Архитектурным стилем второй половины средних веков, т. е. времени расцвета городов, была, как известно, готика. Она возникла и расцвела в северной Франции и там дала свои лучшие образцы в городских соборах: Амьенском, Реймском, Парижском. Готика уже чисто городское искусство. В нем в полной мере сказались освобождение общества от церковной опеки и стремление верить по-своему. В противоположность старым, мрачным романским церквям, которые как бы символизировали суровый аскетизм, навязываемый обществу церковью, готические соборы дают выражение свободному религиозному чувству, тянущему человека к божеству, заставлявшему дух его стремиться в высь, к тому неопределенному источнику блаженства, которого он алкал. И готические церкви как будто оживают в руках благочестивых строителей, в них как будто проявляется живой, чувствующий дух, и они всем живым существом выражают в них восторженный порыв к богу. Это восторженный в камне вступленный крик о чуде, брошенном в небо. Стрельчатые своды, легкие колонны, высокие

башни, узкие длинные окна, стильные украшения в виде мелких колоннок и скульптур, причудливо изогнутых, тонких и ажурных, — все это тянется и поднимается, навевая светлое, молитвенное настроение на грешного горожанина, не жалевшего денег на украшения родного собора.

В светской архитектуре сказывается другая особенность души горожанина, его любовь к родному городу, его нервное тревожное отношение к славе и величию своего родного гнезда. Чем пышнее, чем массивнее, чем богаче будут городские общественные здания, тем больше славы городу. И когда приходилось строить городские ратуши, горожане так же, как и при постройке церквей, не жалели никаких издержек. Каждый из них чувствовал, что постройки его родного города должны быть лучше и богаче построек всех соседних городов. Светская архитектура средних веков заимствовала у церковной целый ряд технических особенностей, так что некоторые из самых существенных воспоминаний о том религиозном чувстве, которое двигало строителями церквей, сохранились и в светских постройках.

В скульптуре готический дух сказался в той идеализации человеческих фигур, которую артист, неопытный технически, старался выразить свой идеалистический порыв. Нежность, капризный излом, изогнутость находились, быть может, в противоречии с реальным, но они по своему чрезвычайно ярко выражали основной взгляд на человеческую природу, какой начал создаваться в городской обстановке, в обстановке городской культуры еще до того момента, когда идея возрождения стали разливаться по воздуху.

Но ни в чем влияние религиозных идей на искусство не сказалось так ярко, как на истории живописи.

Мы видели, как воспитавшийся в сознательной городской жизни человек потребовал новой религии, которая ставила бы его в непосредственное личное отношение к божеству, и как церковь, убедившаяся, что преследование ересей, в которых люди искали осуществления своих религиозных запросов, не приведет ни к чему, приняла в свое лоно одну из них, францисканство. Религия Франциска Ассизского была религией любви, она учила людей любить Бога, ближних, природу, животных, старалась действовать на чувство, так как была убеждена, что только тот верит, кто чувствует. Церковь, при-

знав францисканскую ересь истинной религией, узаконила чувство.

В XIII веке еще были люди, помнившие св. Франциска; в монастырях еще была свежа память о светлом, сотканном из одной любви, подвижнике. Монахи умели быть искренними и действительно только о том и заботились, чтобы разливать вокруг себя любовь к божеству и вербовать новых ратников в воинство мадонны. Когда вечером с кампанилы францисканского монастыря неся по городу чистый, манящий перезвон Ave Maria, сердца наполнялись восторгом, загоралось теплое чувство к мадонне и ее любимому святому. И грешный богач охотно залезал в свою подную кубышку, строил часовни и искал мастеров, чтобы они нарисовали ему на гладких, изредка прорезанных небольшими отверстиями стенах то, о чем он так часто и так охотно слушал в безыскусственной проповеди монахов. Он еще верил им в XIII веке, потому что они были действительно нищими, и подвижнический идеал не успел еще у них забрызгаться грязью мирских вожделений; монахи не лазили в печку за кушаньями, не опорожняли одним духом тяжелых ковшей, не довеласничали в отсутствие мужей и не вводили в грех простодушных жей. Все это пришло скоро. Испорченность и распущенность духовенства вытравили тот светлый мистический дух, который обильно разливали по Италии св. Франциск и его первые сподвижники.

Но этот мистицизм сделал свое дело: он дал первый толчок живописи. До середины XIII века вся живопись была подчинена целому ряду условных правил. Как схоластика и догматика сковывали религиозное чувство и не давали ему вылиться свободно, так и византийская манера сковывала руку художника ¹⁾. В полном согласии с аскетическим идеалом святые — кроме святых не писали никого — изображались необычайно худыми: ведь их истощила подвижническая жизнь. Округлость форм, чарующая взор в античном искусстве, ис-

¹⁾ Были, конечно, и исключения. От византийской манеры иногда отступали и в XI и в XII веках, но эти отступления были явлениями случайными и едва ли стояли в связи с последующим развитием искусства. Эволюция становится непрерывною только с XIII века, когда общественные условия сделали возможным появление главного признака ее — изучения природы.

чезла совершенно: фигуры высохли, тело стало каким-то коричневым. Святые живут не физической, а духовною жизнью, проводят дни и ночи в созерцании; поэтому на изможденных лицах лежит печать упорной думы; огромные черные глаза широко раскрыты; темные ресницы еще больше оттеняют их спокойный металлический блеск, а высокая дуга густых бровей сообщает им застывшее выражение. Всегда в одинаковых позах, безучастные друг к другу и к людям, они находятся на недостижимой высоте и никогда не спустятся на землю. Бог-отец — грозный и неумолимый повелитель; на лице Христа нет и тени любви: это гневный судия, карающий человечество за грехи: богородица с суровым равнодушием держит на коленях божественного младенца, который сидит точно не у матери, а на троне, и недетскими глазами хмуро глядит на людей. Это — не живые образы, а догматы. Подобно тому, как византийское богословие высушило евангельскую религию любви в ряд бездушных формул, так и византийская техника лишила жизни греческое искусство. Мертвые отвлеченные понятия в человеческом облике, резко выделявшиеся в золотом фоне мозаик, не трогали сердце, как не трогало сердце богослужение на латинском языке. Народ не понимал ни того, ни другого.

Когда в человеке, воспитанном в городской сутолоке, проснулась сознательная жизнь и он мало-по-малу стал ощущать свои религиозные потребности, когда затем его духовная жажда была утолена францисканскою реформою, он естественно стал желать завершения того, что дало ему францисканство, — личного отношения к божеству. Ему захотелось посмотреть на Христа и мадонну, о которых говорили ему монахи и которые, конечно, совсем не были похожи на тех торжественных, бесчувственных святых, которых он изредка видел на образах. Его Христос, его Мария были люди, люди, так же, как и сам Ассизский святой — исполненные любви к человечеству. Ему нужно было видеть их, и эту потребность удовлетворяла новая живопись.

Она, конечно, многое заимствует у византийцев, ибо художники, вносящие в нее новый дух, учатся технике на картинах греческих художников. Но у них является уже и новый учитель, который только что получил от исторической эволюции свой диплом, — природа. Изучая природу, новые ху-

дожники вносят жизнь в византийские картины-догматы. У мадонны, например, черты лица остаются прежние; длинный прямой нос, византийские глаза, желтая кожа. Но ее суровое выражение уже смягчено, тихая грусть сменила равнодушие, она повернулась к младенцу, смотрит на него ласково, ее голова несколько наклонена на бок, она прислушивается к молитвам людей. И младенец теряет старческие черты и больше начинает походить на ребенка. Изменилась трактовка и других фигур: все они стали проще и жизненнее.

Первый крупный толчок по направлению от византийской застылости к изучению живой природы дал живописи флорентинец Чимабуе (1240—1314). Это был настоящий артист, нервный и самолюбивый, бросающий любимую работу, если кто-нибудь находил в ней недостаток. Он страстно искал, изучал природу и в ней находил поправки к рецептам старых византийцев. «В его картинах,—говорит о нем первый историк итальянского искусства Вазари,—драпировки, одежды и другие вещи сделались несколько живее, естественнее, изящнее, чем у греков, любивших прямые линии и строгие профили — как на мозаиках». Современникам его мадонны казались целым откровением. Когда он работал над одной из них (Мадонна Ручелай), его мастерскую посетил Карл Анжуйский. Есть легенда, что когда она была окончена, флорентинцы в шумной торжественной процессии под звуки музыки понесли ее в церковь, и что квартал, по которому двигалось шествие, назван был Веселым кварталом, Borgo allegri. Этот рассказ относится, как теперь выяснено, не к мадонне Чимабуе, а к мадонне Дуччо и переносит на Флоренцию сиенскую историю. Но его ранняя рецепция во Флоренции сама служит показателем популярности Чимабуе.

— Слава Чимабуе доставила ему почетный и крупный заказ. Его пригласили в конце 1270-х годов расписывать церковь св. Франциска в Ассизи. Чимабуе отправился туда вместе со своими учениками. Среди последних уже и тогда выделялся юный Джотто.

За несколько лет перед этим Чимабуе шел из Флоренции по дороге в Болонью и, едва выйдя за город, в Веспиньяно, увидел десятилетнего мальчика, который, сидя на земле, рисовал на гладком камне овцу. Тут же паслось небольшое стадо. Артист пришел в великое изумление, увидев, как хорошо ре-

бенок справляется с рисунком, и понял, что природа дала ему этот дар. Он спросил у мальчика, кто он. Тот отвечал: «Меня зовут Джотто, а фамилия моего отца Бондоне. Он живет вон в том доме, недалеко отсюда». Чимабуе вместе с Джотто пошел к его отцу, и так как старик был очень беден, то ему ничего не стоило упросить его отдать сына ему в обучение. Так, по словам Вазари, Джотто стал учеником Чимабуе. По другой, более простой и правдоподобной версии, отец отдал мальчика в обучение к ткачу, но по дороге Джотто должен был проходить мимо мастерской Чимабуе. Он стал останавливаться и смотреть, как работает знаменитый художник, потом познакомился с ним, и тот убедил старого Бондоне, что грех делать ткачом мальчика, у которого такие огромные способности к живописи.

Джотто ¹⁾ родился в 1266 г., так что, когда Чимабуе приехал в Ассизи, чтобы расписывать церковь, он был еще совсем ребенком и годился только на то, чтобы растирать краски и выводить орнаменты, но тут он в течение нескольких лет окреп настолько, что юношей стал писать самостоятельные картины. Чимабуе, кажется, иллюстрировал евангельские эпизоды, так что ученики должны были выбирать другие сюжеты. Джотто попробовал свои силы на нескольких ветхозаветных сюжетах, пока талант его не окреп под влиянием нового учителя, римского мозаичиста Пьетро Каваллини. Чимабуе и Каваллини были мостом от византийцев к Джотто. В 1296 году молодой художник был так уверен в своих силах, что принял самостоятельный заказ: расписать верхнюю церковь в Ассизи. Он взял темою для своих фресок историю св. Франциска в том виде, как она передана в легендах и закреплена в биографии св. Бонавентуры.

Теперь эти фрески представляются на неопытный взгляд каким-то младенческим лепетом. Рисунок плох, краски произвольны, фигуры деревянные, движение их связано, перспектива самая первобытная, ракурсы невозможные, воздуха нет, пейзаж стилизованный — какие-то обточенные зубчатые камешки, изображающие скалы и горы, да прямые ветки с картонными листьями, долженствующие изображать деревья. Архитектурная часть не вяжется с людьми: дома такие, что

¹⁾ Джотто — уменьшительное от Амброджо.

люди в них не влезут; лица, в большинстве случаев, выдуманные, упорно повторяются; животные очень редко похожи на свои оригиналы; сияние у святых с толстыми лучами и толстым круглым ободом — точно поля соломенной шляпы, прилепленные к затылку или к уху — смотря по положению. Почему же Джотто считается великим художником, артистом, сделавшим эпоху в истории живописи?

Чтобы оценивать художника, нужно сравнивать его не с последующим, а с предыдущим. Мы уже отчасти знаем, чем было предыдущее. За рисунок и за всевозможные условности целиком отвечает византийская школа. У первых итальянцев: у Дуччо, у римских мозаичистов (Косматы, Каваллини и др.), у Чимабуе эти недостатки не исчезли. Да они и не особенно старались их устранять. В передаче легенды о св. Франциске Джотто выступил новатором.

Повидимому, не случайно выбрал юный художник свой сюжет. Выбор у него был, правду сказать, не велик: жизнь богородицы, жизнь Христа, образы мадонны и распятие да легенда о св. Франциске, — вот и все, что можно было иллюстрировать, при чем евангельские сюжеты только недавно стали вводиться в живопись, а до тех пор художники жили одними мадоннами да распятиями. В легенде о Франциске Ассизском художник был свободнее: его не связывали старые шаблоны; его фантазии был предоставлен полный простор. Взяв этот сюжет, Джотто принимал на себя задачу огромной трудности, и он поневоле должен был оставить часть ее своим преемникам, ограничившись разработкой лишь некоторых сторон. Меньше всего Джотто обращал внимание на рисунок, перспективу и воздух. Во всех этих отношениях он верный последователь византийцев и римских мозаичистов. Но сходство ограничивается только технической стороною, тою, которой Джотто почти не разрабатывал. Его занимало другое. Как передать на картине человека, мыслящего и чувствующего, радующегося и страдающего, как рассказать красками на стене эпизод, каким образом согласовать части с целым, чтобы получилось наилучшее впечатление? Вот вопросы, которыми Джотто занимался и которые он разрешил. С точки зрения истории культуры интереснее всего, почему Джотто работал именно над этими вопросами; с точки зрения истории искусства интереснее всего, как он их разрешил.

Как истый сын города, пробужденного торговлей к новой жизни, юный художник интересуется человеком и природою. А так как францисканская реформа, отвечая общему настроению, сняла заклятие и с человека, и с природы и узаконила земные побуждения, то и живопись могла попытаться изобразить человека и мир таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким он представлялся сквозь призму застывших католических догматов. Джотто первый стал копировать природу в таких размерах, что это отражалось на всем характере картин, первый стал интересоваться живым человеком и жизнью людей. Вот то, чем отмечено имя Джотто в истории искусства, — и это было результатом всего общественного развития XIII века. В XII веке Джотто был бы немислим.

Каким же образом он осуществил все это на практике? Какие технические приемы он ввел для того, чтобы поднять живопись до уровня новых задач? Современная история искусства (Беренсон) определяет основное достижение Джотто как первое завоевание секрета осязаемости, т.-е. того, что составляет основу действия живописи, как искусства, на человеческую душу. Рисунок у него, правда, плох, но он уже несравненно лучше, чем у его предшественников. Краски еще не отвечают природе, но у него уже нет того условного мрачного колорита, который так неприятно действует на картинах его предшественников. Наоборот, он предпочитает светлые тона. Пейзаж у него стилизованный, но он впервые появляется на его фресках, чтобы сменить торжественный золотой фон прежней живописи. Архитектура несоразмерна, но здания выведены уже с большею реальностью. Животные написаны плохо, но до Джотто никто не пробовал вводить их в живопись. Движения у людей связаны, лица однотипны, но в лицах исчезла византийская условность. Они ожили, сделались способны выражать и действие (святые и ангелы, поющие, в «Короновании богородицы» в Santa Croce) и ощущение (лица у Анны и Кайяфы в Агена). С помощью движений характеризованы чувства и настроения, группировка фигур уже дает цельное эпическое впечатление. Это вообще наиболее совершенная часть работы Джотто. Он человеком интересовался более всего и сумел вырвать у природы секрет его изображения. Некоторые из ассизских фресок в этом отношении поистине великолепны. Такие сцены, как чудо с источ-

ником, где в движении проводника, припавшего к струе, читаются долгие страдания от жажды и наслаждение живой влагой, или сцена проповеди перед папой Гонорием, где в лицах и движениях служителей написано столько внимания, или сцена смерти дворянина из Челано, где так хорошо передано всеобщее смятение, или сцена оплакивания св. Франциска монахинями, где движение так живо передает горе, вызванное смертью святого, — все эти картины показывают, что глаз художника подметил внешние проявления наиболее простых чувств и ощущений. Лица у Джотто еще неспособны передать сложных настроений, но ведь эта задача будет ждать еще Кастаньо и окончательно будет решена только творцом «Джоконды».

И если Джотто игнорирует некоторые из художественных задач, перечисленных выше, то это потому, что он стремился создать законы монументального стиля, т.-е. установить правильные условия декорирования плоскостей. Делая человека центром искусства, увлекаясь передачей эпического момента, он должен был для усиления декоративного эффекта порою сознательно сохранить некоторые условности старой школы. Другими способами он не умел достигнуть желанных эффектов.

Цикл картин, иллюстрирующих легенду о св. Франциске в верхней Ассизской церкви, это — первый крупный опыт Джотто, но здесь уже сказались все главные характерные особенности его манеры. В дальнейшем он будет совершенствовать технику, но рисунок у него до конца будет слаб, и ни один из перечисленных недостатков не изгладится. Только движения станут легче, складки одежды натуральнее, лица выразительнее, толпа живее, пейзаж реальнее, декоративный эффект сильнее. Джотто повторил некоторые сюжеты из цикла о св. Франциске в флорентинской церкви Santa Croce.

Насколько второе издание вышло лучше первого ¹⁾! Но ведь между ними лежит промежуток в двадцать пять лет, если не больше, и в этот промежуток созрел чудесный талант художника. Переходом от первого цикла легенды о св. Франциске ко второму является евангельский цикл, иллюстрации фактов жизни св. девы и Христа в падуанской Capella dell'Arca.

¹⁾ Хотя реставрация очень затрудняет теперь оценку флорентинских фресок.

В этих трех больших сериях фресок, как и в прочих своих фресках и станковых картинах, Джотто остается прежде всего художником человека, его ощущений, его страстей. Он одинаково интересуется как индивидуумом, так и коллективным человеком, собранием, толпою, и лучшие его вещи: «Оплакивание Христа» в Падуе, «Оплакивание св. Франциска» в Santa Croce передают общие чувства). Портретов Джотто написал мало: папа Бонифаций VIII в Латеране, Данте с Брунето Латини и Корсо Донати в группе других флорентинцев в капелле Bargello во Флоренции, двое Орсини в Ассизской церкви св. Франциска, еще три-четыре заказчика в Риме и Падуе, но эти портреты написаны великолепно, особенно портрет великого друга Джотто, певца «Божественной Комедии»: по выразительности и рельефности он достойно открывает собою эру портретной живописи.

Джотто пробовал свои силы не только в живописи. Выстроенная им колокольня Флорентинского собора, которой так восторгался Рескин, — действительно шедевр, хотя до сих пор нельзя установить, в какой мере принадлежит Джотто идея и выполнение. Барельефы на колокольне из библейской истории и истории культуры, приписываемые Джотто, просты и выразительны. Но и в архитектуре и скульптуре Джотто шел по следам других и не был так оригинален, как в живописи.

Вот в общих чертах то, что сделал Джотто. Огромный толчок, данный им живописи, произошел без помощи античного искусства. Джотто, конечно, бывал в Риме и изучал остатки греческого и римского искусства, сколько в его время можно было их найти, и кое-что принял в свои картины, но он взял исключительно архитектурные мотивы, если не считать скульптурного типа лошади на одной из ассизских фресок. Учителем Джотто была природа. Ей он обязан всем тем, что он сделал. И в дальнейшем своем развитии итальянская живопись свято соблюдала завет своего отца — учиться у природы. Классики сыграли, конечно, свою роль в этой эволюции, но они стали играть эту роль уже тогда, когда итальянская живопись научилась вполне копировать природу. Мы увидим позднее, что то же было со скульптурой. А к природе художники обратились вслед за другими людьми, когда городская жизнь сделала общество более культурным и развила в нем вкус к красоте.

Джотто первый научился передавать на картине настоящую природу. Он ограничил свою задачу, интересовался преимущественно одною частью природы, человеком, но то, что он сделал, было огромно. Это чувствовали даже современники. Еще задолго до смерти великого художника Данте говорил:

Мнил Чимабуе в живописи быть
Из первых первым, а теперь уж Джотто
Явился славу первого затмить ¹⁾.

Когда он умер (1337), Флоренция похоронила его с большою торжественностью и на общественный счет в флорентинском соборе (Santa Maria del Fiore).

Над его могилой поставлен позднее его бюст, работы Бенедетто да Майано, а под бюстом выгравированы латинские стихи Анджело Поллициано. Они начинаются так:

Тот, пред тобою, гляди, кто от смерти живопись долгой
Днесь пробудил, чья рука кистью водила* легко.
Людам искусство мое, что в природе есть, все показало.
Больше никто не писал. Лучше никто не умел.

Его искусство, говоря без риторики, показало не все, что есть в природе. Но оно показало дорогу к тому, как дойти до полного и совершенного воспроизведения природы. Он сделал только первый шаг: он нашел секрет осязательности. Но этот шаг был самый важный. Джотто наложил свою печать не только на развитие живописи. Он сделал и большую культурную работу тем, что показал в красках все богатство человеческой души. Данте не даром читил в нем брата. Те новые черты, какие есть в нем, имеются и у Джотто. Они оба, хотя разными дорогами, шли к одной цели. А цель была та, чтобы закрепить в искусстве приобретения общественной жизни. В этом и заключаются величие их обоих и их значение в истории итальянской культуры.

10. Петрарка.

Между смертью Данте и расцветом славы Петрарки прошло всего двадцать—двадцать пять лет, а если судить по сочинениям того и другого, может казаться, что поэты жили

¹⁾ Чист. 11, Фер. Мина.

совсем в разные культурные эпохи. Это происходит, главным образом, потому, что Данте продолжал видеть в современных ему отношениях то, чего в них уже не было, и не видел того, что в них уже появилось. Петрарка был истым сыном своего времени, прекрасно его понимал, прекрасно был понят и оценен своими современниками и видел у ног своих тех, кто закидал камнями несравненно более достойного «божественного» певца.

Общественно-политическая атмосфера Италии успела сильно перемениться в этот небольшой промежуток времени, что, конечно, не оставалось без влияния на склад мировоззрения передовых людей. Папство, истощенное героическим усилием Бонифация VIII, безропотно подчинилось французской опеке и переселилось в Авиньон. В свою очередь, и империя после попытки Генриха VII уже не пыталась серьезно вмешиваться в итальянские дела. В Италии стало свободнее, и это прежде всего отозвалось на положении отдельных городов-государств. Они стали чувствовать себя самостоятельнее, беспрепятственно продолжали внутренние реформы; политическим экспериментам теперь уже не мешал никто, и никогда в истории не наблюдалось большего разнообразия форм республики и тирании, как в это время. В связи с экономическими условиями политические перемены создавали необыкновенно благоприятную почву для роста личности, и он совершался, разумеется, на счет средневекового церковного мировоззрения.

Данте уже был свидетелем этих перемен, но они ничего ему не говорили. Его убеждения сложились под другими влияниями, и меняться ему «на полпути земного бытия» было поздно. Петрарка иначе воспринял перемены, которые происходили в Италии во время его молодости, и вырос он совсем другим человеком, чем Данте. Это очень сложная, исполненная глубоких противоречий натура, характерная для своего времени именно тем, что противоречивые черты, из которых она состояла, складывались в нечто целое, очень интересное вообще и очень типичное для Возрождения.

Петрарку называют обыкновенно первым гуманистом, и это справедливо, потому что до него не наблюдается такого, страстного интереса к античной культуре и к античной литературе. Но самый интерес к античному — явление производное. Он мог возникнуть только на почве известных запросов,

выяснившихся раньше. Главная задача в характеристике исторического значения Петрарки и заключается в том, чтобы показать, почему у него явился такой страстный интерес к древности.

Для этого нужно припомнить то, что говорилось по поводу культурного развития личности. Мы знаем, что сущность этого процесса заключается в том, что человек мало-помалу начинает считать законными и естественными такие чувства, мысли и действия, которые он раньше, сознательно или бессознательно, подчиняясь церковно-феодалному мирозерцанию, считал совершенно недозволенными. Петрарка стоит уже на сравнительно очень высокой ступени в этом процессе. Стоит сравнить этого утонченного, нервного человека с первыми пионерами процесса, чтобы сейчас же сделалась ясна огромная разница между ними. Какой-нибудь горожанин XII века, уже сбросивший с себя скорлупу средневекового культурного рабства, решивший уже для себя, что погоня за наживою — не грех, что жизнь, вопреки проповедям монахов, имеет очень много приятных сторон, тоже человек новый, но в нем все новое еще в зародыше, его ощущения бессознательны и до конца остаются в области инстинкта. Петрарка — мы уже сказали — натура сложная и противоречивая, с такими запросами, которых не понял бы его примитивный по своей психике духовный предок XII века. Однако хотя сходство между ними почти совершенно сгладилось, но родственная связь несомненна. И весь духовный облик Петрарки, как и вообще деятелей Возрождения, показывает, что он по прямой линии происходит именно от горожанина, от человека, занимавшегося торговлею и в торговле выработавшего свои несложные, но коренным образом несогласные с духом средневековья, потребности. У Петрарки все это более тонко, более культурно, но ведь два века прошли даром.

Самое главное различие, несомненно, то, что Петрарка понимает свои потребности, отдает себе отчет в том, чего он хочет и к чему стремится. Он — теоретик. Ему знакома мучительная сладость самоанализа; он уже знает то острое наслаждение, которое ощущает человек, найдя оправдание своим мыслям и поступкам. В Петрарке — и это второе, очень существенное отличие его от первых людей нового типа — происходит непрерывная борьба: у него, как и у тех, не

только одни новые элементы, а живут еще и крепко держатся средневековые, но у тех они мирно уживаются рядом, а у Петрарки уже пришли в столкновение. От средних веков в нем осталась совесть, инстинктивное вкоренившееся представление о том, что хорошо и что дурно. А ново в нем чувство, которое влечет его к тому, что красит существование человека. Чувство ищет опоры в борьбе с совестью — и находит ее. Эта опора — античное мирское мировоззрение, столь противоположное средневековому церковному. Таков капитальный факт, который объясняет, почему Петрарка так горячо подлюбил древность.

Таковы три фактора, направлявшие рост миросозерцания Петрарки: культурная и социальная эволюция последних двух столетий, остатки средневековья и древность.

В какой мере каждый из этих трех факторов содействовал образованию характера Петрарки?

Средневековые черты в нем уже сильно колеблются, они еще не уступают окончательно, но по тому, как поэт отстаивает средневековые традиции, видно, что им не продержаться долго. Петрарку, впрочем, они переживают.

Древность выступает на сцену, главным образом, за тем, чтобы доставить аргументы против средневековых остатков. Она предносится в ореоле сладких прельщений и великих соблазнов настоящего. Ее значение формальное; она только подкрепляет то, что уже созрело и без нее, хотя и не нашло настоящей формулы. Затем древность сообщает чувствам и настроениям тсикость, изящество, внешнюю отделку. Облеченные в античные формы, эти чувства и эти настроения уже лишены своей первоначальной грубости и не так шокируют. Пользуясь античными образцами, можно говорить красиво о некоторых вещах, о которых говорить по-другому было рискованно и с моральной и с эстетической точки зрения. Но и средневековое и античное в Петрарке играет второстепенную роль по сравнению с тем, что есть в нем нового, созданного общественным ростом последнего времени.

Для Петрарки вся жизнь разрешается в вопросы личности. Индивидуализм господствует в нем надо всем. Классическая литература подсказывает ему очень эффектные формулы культа личности, целую философию индивидуализма, еще не свободную от противоречий и еще не вполне отрешившуюся

от средневековых оговорок, но очень характерную для своего времени. С помощью античной литературы Петрарка дал красивую теорию индивидуализма, но на практике проявления того же индивидуализма сводились часто к самой вульгарной погоне за удовольствиями и к чисто-мещанскому культу жизненных удобств. В гуманисте сказывался духовный потомок горожан.

Петрарка поселился в Авиньоне, как только умер его отец, заставлявший его зубрить в Болонье Дигесты, и, конечно, было далеко не случайно, что он избрал папскую резиденцию. В старости он рисовал самыми мрачными красками этот город, в котором «не было ни правды, ни страха перед богом, ничего здорового и святого». В молодости он находил в нем очень много привлекательного. Там был, во-первых, папский двор, от щедрот которого кормилось столько народу, от щедрот которого стал кормиться и Петрарка. Там была жизнь, свободная от опасных междоусобиц и партийных раздоров, привлекательных только для сильной натуры. Там было дамское общество, легкомысленное, но очень интересное. Молодой Петрарка искал обеспеченного досуга для своих занятий и искал развлечений, чтобы эти занятия не очень опротивели. В Авиньоне он нашел и то и другое. Он там много работал, но еще более отдавался светским удовольствиям. Авиньонские дамы света и полусвета сейчас же оценили красивого и галантного поэта, и поэт очень дорожил своим успехом у них. Чтобы нравиться дамам, он разорядся на костюмы и целые часы проводил за туалетом. Он сам рассказал нам об этом, и из его позднейших писем мы знаем, как трудно было в XIV веке наводить искусственную красоту. На ночь Петрарка завивал волосы при помощи двойного зеркала особенными металлическими инструментами, от которых при малейшей неловкости появлялись красные борозды на лбу, а в случае удачи приходилось еще следить, чтобы не выбился волосок из прически и чтобы ветер не спутал искусственных локонов. Одет он был всегда по последней моде: в узкий камзол, сверх которого накинут белый плащ, обтянутые штаны, длинные тесные башмаки, находившиеся в постоянной войне с ногами. В таком костюме, густо надушенному, ему приходится ходить и ездить по грязным

улицам, сторониться в паническом страхе каждого всадника, чтобы грязь из под копыт не забрызгала сверкающего наряда.

Чтобы заботы о наружности и туалете сделались понятны, мы должны сказать, что Петрарка полюбил на второй год после своего прибытия в Авиньон. Его возлюбленная звалась — это знает всякий — Лаурой, звучное имя и очень благодарное для поэта, который может играть словами *Lauga* и *laugo* (лавр). Но, кроме красивого имени, Лаура обладала очаровательною наружностью. То была молоденькая стройная блондинка, которой было приятно видеть у ног своих поэта и всеобщего любимца. Повидимому, чтобы удержать Петрарку около себя, она с ним кокетничала, манила его и тем разжигала его все больше и больше. А он любил ее со всем пылом своей страстной природы, совершенно не довольствовался знаками платонического внимания и добивался взаимности. Но Лаура никогда не принадлежала Петрарке. Она любила мужа и была очень привязана к своему многочисленному потомству. Она умерла в 1348 г., унесенная чумою.

Памятником любви к Лауре остались итальянские стихи Петрарки. Лаура не понимала по-латыни, да и не было в обычае воспевать даму сердца на языке Цицерона. Подчиняясь тому же обычаю, Петрарка скрыл истинный характер своей любви, скрыл, что то была чувственная страсть, и вслед за провансальцами и флорентинскими лириками представил себя платоническим вздыхателем, который, как Данте у своей Беатриче, ищет только приветствия и ласкового взгляда. С точки зрения ученого, итальянские стихи были чем-то очень несерьезным; Петрарка называл их безделками (*jugellae*) и считал их чем-то незаконченным и незрелым (*rerum vulgarium fragmenta*). Но эти безделки ему дороги: он их тщательно собирает и рукопись, переписанную начисто, хранит почти так же заботливо, как и свои латинские произведения. И чутье его не обмануло. Латинские произведения Петрарки уже стали забываться, когда — это было в конце XV в. — начали усиленно подражать его сонетам и канцонам. Латинские произведения его теперь давно забыты, а сонеты и канцоны заучивают наизусть.

Любовь к Лауре, которая играет такую большую роль в произведениях Петрарки как в итальянских, где она прикрашена по старому рецепту трубадуров, так и латинских,

где обнаруживается ее настоящий характер, — не наполняла его целиком. Неудачи у Лауры Петрарка вознаграждал на стороне. Жениться он не мог, так как был клириком, т. е. принадлежал к духовному званию, но у него были незаконные дети: сын, оказавшийся впоследствии негодяем и проклятый отцом, и дочь, которую поэт обожал и около которой он прожил свои последние годы.

Когда рассеянная жизнь в Авиньоне с ее острыми, но однообразными развлечениями надоедала поэту, он покидал папскую столицу и удалялся в свое загородное имение Воклюз. Здесь он усиленно занимался, много писал, но и здесь его не покидали помыслы о мирском. У Петрарки была еще одна забота. Поэт был необыкновенно честолюбив. Любовь к славе он сам называл самую сильную свою болезнь (*major morbus*). Ему страстно хочется, чтобы имя Петрарки гремело от океана до океана; он просит одного знакомого в Константинополе постараться о том, чтобы это имя стало популярным при дворе греческого императора. Не меньше, чем обладания Лаурой, он жаждет поэтического венчания. И тут он оказался счастливее, чем у Лауры. Сидя у себя в Воклюзе, он для верности хлопотал о поэтической короне зараз в трех местах: в Неаполе, в Риме и в Париже — и, как оказалось, переусердствовал: приглашения получились из всех трех городов сразу. Он выбрал Рим и, увенчанный на Капитолии, действительно сразу стал знаменитостью. И он радуется этому безгранично, как радуется вообще всякому факту, свидетельствующему о его популярности. С каким восторгом, например, рассказывает он в письмах о том, как по-царски принимал его один богатый ювелир в Бергамо, как слепой учитель из Понтремоли, на одном из Аппенинских перевалов, спустился с гор, опираясь на плечо сына, к Парме, чтобы прикоснуться к платью поэта. Слава его была действительно велика. Современные писатели говорят о нем с восторгом, и он является для них настоящим духовным вождем. В образованных городских кругах имя его произносится с величайшим уважением. Залучить его к себе наперерыв стараются все крупные центры. Но ему и этого мало. В своей автобиографии, составленной в виде письма к потомству (*Epistola ad posteror*), он изображал факты своей жизни в густом тумане самовосхваления и красноречивой апологии. Ему хочется, чтобы фигура

его навсегда осталась в памяти последующих поколений образцом, которому нужно подражать и перед которым необходимо преклоняться. Стремление к славе вырождается в обыкновенное тщеславие: пример, как заветы древности преломляются в душе потомка горожан, богато одаренного, но лишенного великой души.

Лаура и лавр! Любовь и слава! Личность, провозглашающая законным рост своих потребностей и запросов прежде всего завоевывает право любить и право быть славным, самое острое физическое наслаждение и самое тонкое духовное наслаждение. Не Петрарка первый додумался до этого, но у него впервые оба эти стремления приобретают определенность. В зародыше оба чувства знакомы и горожанину времен Каччагвиды, но, чтобы сделаться чувствами Петрарки, им потребовалась отделка. Ее могла доставить только древность.

Петрарка любит путешествовать; он умеет находить в природе красоту; ему нужна дружба. Все это—ощущения, тоже мало знакомые и доступные среднековому человеку, и мы можем прямо установить их источник. Они родились из союза древности с духом нового времени. Любовь Петрарки к путешествиям унаследована им от горожан XII века, для которых путешествие было хозяйственной необходимостью. У него оно стало культурным развлечением и средством для саморазвития, и он принужден был в письмах объяснять, что тянет его в чужие края. Что древность играла роль в этой перемене, легко видеть из того, как Петрарка оправдывает свое восхождение на гору Мон-Ванту близ Воклюза. Он прочел у Тита Ливия, что один македонский царь даже в старые годы любил лавить по горам, и решил, что ему, молодому человеку, это простительно. А тонкое понимание красоты пейзажа и умение передать картину природы могло быть результатом только продолжительного опыта, накопленного предками поэта и ограниченное в его сознании духом древности. Здесь древность облагораживает грубое практическое мировоззрение горожанина. В культе дружбы, наоборот, заветы древности стынут и черствеют в душе потомка горожан. Дружба для Петрарки—пустое слово, необходимая формальная принадлежность культурного человека. Без нее он не мог явиться в общество современников, как не мог явиться

в общество авиньонских дам в одежде не снежной белизны и с незавятыми волосами. Древние ценили дружбу, Цицерон написал о ней трактат; следовательно, и Петрарке нельзя обойтись без дружбы. Притом друзья нужны были ему как адресаты для писем; нельзя же было все послания пускать «без адреса» (*sine titulo*). Но те, кого он называл своими друзьями, имели много оснований быть им недовольными. Ни один из них не получил от него настоящего, искреннего, почувствованного доказательства дружбы, хотя на словах он давал такие доказательства в избытке. В случае нужды, когда друзья обращались к нему за сочувствием в горе или несчастье, он посылал им письма, полные реторики, с тщательно закругленными периодами, но без единого слова, от которого не веяло бы холодом. И вдобавок не всегда торопился. Но горе друзьям, если они, хотя бы не по своей вине, оказывались невнимательны к Петрарке. Он осыпал их жестокими и очень искренними упреками. Еще бы! Как можно быть невнимательным к Петрарке, расположения которого ищут короли и герцоги, папы и кардиналы!

Вот главные черты человека Возрождения, как они сказались в Петрарке. Над созданием их работали древность и новые условия общественной жизни. Их пришлось тяжелою внутреннею работою вырывать у средних веков. Посмотрим на эту работу.

Восхождение на Мон-Ванту имело для Петрарки значение не одной только интересной экскурсии. Когда он очутился на вершине и перед его глазами открылась величественная панорама морского берега, он долго стоял, как очарованный, и потом рука его машинально, как он уверяет в письме к приятелю, потянулась за томиком «Исповеди» блаж. Августина, и книга случайно открылась на том месте, которое говорит, что люди дивятся величию и красоте природы, а на себя не обращают внимания, себе не дивятся. Тирада Августина, истолкованная в духе заветов древности, сделалась для Петрарки исходной формулой индивидуализма. Беспokoйные инстинкты, бродившие в его душе, получили теперь теоретическое подкрепление и сделались способны выдержать борьбу с враждебными личному началу остатками средневековья. Эта борьба — самое интересное в Петрарке. Временами аскетизм и другие черты средневекового мировоззрения сказывались в нем

очень сильно. В «Исповеди» есть страница, что Петрарка устами Августина старается приковать внимание к смерти, — черта чисто средневековая. Мысль о смерти — один из канонів аскетизма. «Среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти, до такой степени, что самый звук слова «смерть» искони кажется человеку жестоким и отталкивающим. Однако недостаточно воспринимать этот звук внешним слухом или мимоуслышав вспомянуть о самой вещи. Лучше изредка, но дольше помнить о ней и пристальным размышлением представлять себе отдельные члены умирающего: как уже холодеют конечности, а середина тела еще страдает и обливается предсмертным потом, как судорожно поднимается и опускается живот, как жизненная сила слабеет от близости смерти, — и эти глубоко запавшие гаснущие глаза, взор, полный слез, наморщенный свинцово-серый лоб, впалые щеки, бледные губы, твердый, заостренный нос, губы, на которых выступает пена, цепенеющий и покрытый кровью язык, сухое небо, усталую голову, задышающуюся грудь, хриплое бормотание и тяжкие вздохи, смраднй запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица». В двух трактатах: «Объединенной жизни» и «Объ отдыхе монахов» он иногда чуть не буквально повторяет теоретиков аскетизма и, сопоставляя мировоззрение древних с христианским, зовет античных мыслителей к средним векам, на выучку к католицизму. Но даже в этих трактатах сказывается в Петрарке новый человек, дорожающий принципом личного развития. Даже там, где его идеал формально совпадает с аскетическим, его содержание совершенно иное. Петрарка, например, ценит уединенную жизнь, но то, что он под нею понимает, глубоко отличается от отшельничества. Его уединение — сельское одиночество в Воклюзе или в другом таком же поэтическом уголке, где вдали от городской суеты человек может заниматься плодотворною работою и самосовершенствованием.

Это — стремление высшего порядка. Но самосовершенствование, развитие лучших сторон человеческого я не всегда бывало главным доводом против средневековых аргументов у Петрарки. *Regum temporalium appetitus*, любовь к мирскому, три дантовских аллегорических зверя — чувственность, честолюбие и жадность — мучают и Петрарку. В обыкновенное время он не находит в этом ничего дурного, но в момент обострен-

ной душевной борьбы, когда в нем разгораются тлеющие искры средневековья, он бичует себя не менее сильно, чем Данте, а главное, не менее искренно. Но, когда покаянный пароксизм проходит, он продолжает отдавать дань земному, как ни в чем не бывало: до нового приступа самобичевания.

В исповеди Петрарки «De contemptu mundi» или «Secretum meum», которая по силе внутреннего анализа, по умению разбираться в движениях своей души, по глубокой искренности и не сдерживаемой ничем откровенности, представляет, особенно для XIV века, нечто совершенно исключительное, мы присутствуем при его внутренней борьбе. Петрарка предоставляет в ней блаженному Августину защиту средневековой точки зрения, делает отца церковного мировоззрения адвокатом своей совести. Сам он в диалоге отстаивает законность мирского. И Августин вовсе не декоративная фигура. Его упреки всегда попадают в самое слабое место; он с необыкновенною пронизательностью перебирает все мирские побуждения Петрарки: жажду знания, упоение собственным красноречием и красотой, погоню за богатством и славой, любовь к Лауре, и по-средневековому очень убедительно доказывает тщету всего этого. Защищается Петрарка сл. бо; он инстинктивно понимает, что главные аргументы индивидуализма не скажут Августину ничего, а на средневековой почве Августин неуязвим. Совесть и чувство говорят на разных языках, а воля бездействует. Вот почему в «Исповеди» борьба не приводит ни к какому результату, а в жизни Петрарка, только-что выслушавший отповедь Августина, продолжает любить Лауру, запрашивает у папы новые доходные пребенды, упивается собственной славой, заботится о наружности.

Однако к чести Петрарки следует сказать, что жизнь, вопреки идеалу, обходилась ему порою довольно дорого. Он платил за это глубоким внутренним разладом, которого не в силах изжить, потому что он «видит свою грязь и не счищает ее, сознает свои заблуждения и не оставляет их». Это — то, что он называл латинским словом *acidia*, тоска, муки человека, почувшавшего в себе свое я, трудная и болезненная работа личности на пути к самосознанию и самосовершенствованию. «Ты одержим, — говорит Петрарке в «Secretum» Августин, —какой-то убийственной душевной чумой, которую в новое время зовут тоскою (*acidia*), а в древности называли печалью

(aegritudo). «И Петрарка отвечает: «Каюсь, что так. К тому же почти во всем, что меня мучает, есть примесь какой-то сладости, хотя и обманчивой. Но в этой скорби все так сурово, и горестно, и страшно, и путь к отчаянию открыт ежеминутно, и каждая мелочь толкает к гибели несчастную душу... И, что можно назвать верхом злополучия, — я так упиваюсь своей душевной борьбою и мукой, с каким-то стесненным сладострастием, что лишь неохотно отрываюсь от них»¹⁾.

Петрарка первый заглянул в свою душу и первый сумел изобразить царящую в ней смуту. Культурное развитие личности, начавшееся в горожанине, завершает, таким образом, свой первый цикл. Человек еще не вполне одолел средневековые пережитки, но он уже провозгласил право своего я на бесконечное совершенствование и принес ему в жертву многое: такое, что впоследствии будут ценить, как лучшие стороны человеческой природы.

Эгоизм Петрарки — самая выдающаяся черта его характера. Он любит только себя. Любовь к Лауре, которую он хочет представить идеальной, — эгоистична, как и всякая любовь. А все прочие его чувства сосредоточиваются как вокруг центра на его собственной персоне. Чтобы уберечь ее от волнений житейского океана, он не останавливается ни перед чем. Нужно льстить — он льстит; нужно унижаться — он унижается; нужно кривить душою, чтобы оправдать какой-нибудь некрасивый поступок, — он не останавливается и перед этим. Когда человек, действующий на окружающих уже одним обаянием своего гения, пользуется еще и низменными средствами, он легко добивается цели. И Петрарка добивался и почестей, и влияния, и богатства. Дружбы он не знал, но он в ней, повидимому, мало нуждался. Популярностью у народа он совсем не дорожил. «Одобрение толпы у ученых людей считается позором», говорил он, еще раз выдавая свое буржуазное происхождение. Для высших чувств он также был мало доступен. Родину свою он, правда, любил, но больше любовью гуманиста и эстета, чем страстною привязанностью патриота. В политике Петрарка был совершенным оппортунистом, который ради красивого жеста мог аплодировать трибуну Риенцо, но, вообще говоря, был готов оправ-

¹⁾ Пер. Гершензона, как и в предыдущей выдержке из „Secretum“.

дывать какой угодно образ правления, до кровавой тирании Галеаццо Висконти включительно, лишь бы ему хорошо платили да оказывали почет.

Петрарка был самолюбив до мелочности. Стоило прославиться кому-нибудь, — и он уже начинал считать такого соперником, чуть не врагом. К доброму, простодушному Боккаччо, который любил его совершенно бескорыстно и поклонялся ему вполне искренно, он относился свысока и никогда не прочел, как следует, Декамерона. Данте он не любил, потому что его кругом хвалили больше, чем самого Петрарку, и потому еще, что в могучей и гордой фигуре флорентинского изгнанника он видел немой упрек своему покладистому я, которое он столь неумеренно превозносил. Критики он не выносил совершенно. Избалованный поклонением и занятый собою, он всегда чувствует себя как на подмостках и требует восторженного отношения к себе. Если ему приходится слышать неодобрение, он выходит из себя и осыпает своих противников ругательствами, которые, казалось бы, совсем не к лицу нежному певцу Лауры и философу, проповедующему этические идеалы.

Древность не закрасила этой стороны характера Петрарки, и, быть-может, в этом всего больше сказалось то, что она имела лишь формальное влияние на его мировоззрение. Формою же ограничивалось влияние древности и на ученую деятельность Петрарки. Петрарка много занимался наукою, или тем, что тогда называлось наукою, т.-е. штудированием классиков и сочинением латинских трактатов, писем и стихов. Он открыл много неизвестных раньше рукописей; он любил классиков, как никто до него. Изучая их, он проникался восторженным поклонением Риму и воспевал его в своей «Африке». Свои думы и мысли он изложил в нескольких философских трактатах, написанных в манере древних. Он оставил целый ряд исторических, географических и антикварных сочинений, освещающих различные вопросы древности. Он положил начало исторической критике, доказавши подложность некоторых документов, в подлинности которых никто не сомневался. Он положил начало гуманистической философии, впервые указав на Платона, как на философа, более достойного изучения, чем кумир средних веков, Аристотель, и на этику, как на дисциплину, более интересную.

чем метафизика и диалектика. Он первый указал слабые стороны в средневековой науке. Наконец, он был первым журналистом. Письма, которые появляются часто, которые освещают с определенной точки зрения все сколько-нибудь важные события, — это в сущности уже та же печать, которой, только недостает типографского станка.

Словом, во всех областях ученой литературы Петрарка был настоящим пионером. Он действительно отец гуманизма. По его сочинениям учились целые поколения ученых. Он был основателем современной образованности, которая так долго держалась на изучении античного. Но, ценя и изучая эту сторону его деятельности, не следует упускать из виду другую и забывать того человека с маленькою душою, который столь типичен для своего времени.

Петрарка вырос таким, потому что передовой человек Треченто должен был быть именно таким. Индивидуализм Возрождения создан городской жизнью, эволюциею буржуазии, и как раз характерно то, что вождь нового движения — в моральном отношении такая не крупная фигура. Гигант Данте на эту роль совершенно не годился. В нем нет ни юркости, ни умения приспособляться, ни искусства устраивать своей особе благодушное существование. А это — особенности всего итальянского Возрождения, за малыми исключениями. Освободив свой дух от средневековых пут, люди прежде всего устремлялись на приятное; серьезное являлось потом. Но главная задача была ими все-таки достигнута, и Петрарке в этом отношении принадлежит большая заслуга.

11. Боккаччо.

В страстную субботу 11 апреля 1338 года в Неаполе в церкви Сан-Лоренцо стоял, прислонившись к мраморной колонне, двадцатипятилетний юноша; несколько полный для своего возраста, с оригинальным, выразительным лицом, он был одет изящно и просто и необыкновенно внимательно вглядывался в даму, стоявшую поодаль от него. Дама была вся в черном; под вуалью можно было разглядеть прекрасные черты лица, сквозь шелковую сетку выбивались золотистые кудри.

Юноша был Боккаччо. Дама — знатная неополитанка Мария Аквино, про которую всякий знал, что она побочная дочь старого короля Роберта. Она пленила Боккаччо уже в первую встречу в церкви Сан-Лоренцо. А когда она пришла туда на другой день — это была Пасха, — одетая в роскошное зеленое платье, блиставшее золотой отделкою и изукрашенное камнями, Боккаччо потерял голову окончательно.

Молодой флорентинец попал в Неаполь по воле отца. Старик употреблял все усилия, чтобы приучить сына к практической деятельности, заставить его заинтересоваться торговлею или прикладною юриспруденциею, но юный Джованни засыпал над счетами и образцами актов и потихоньку читал Данте да латинских поэтов. Отец бился-бился с ним, но, в конце концов, решил освободить его от торговли и посадить исключительно за занятия правом. Тут как раз ему пришлось ехать по делам в Неаполь. Он взял сына с собою, а потом оставил его там одного, надеясь, что в компании ученых он остепенится скорее. Компания ученых действительно увлекла юношу. Король Роберт сам питал интерес к наукам и был не прочь посочинительствовать, хотя и его увлечения, и его писания носили еще старомодный оттенок. Он был педант в литературе и скряга в жизни. Но поощрял и науки, и поэзию, был дружен с Петраркою, приближал к себе талантливых людей. Боккаччо нашел в Неаполе обильную пищу своей любознательности и стал наверстывать пробелы своего образования. Правом и тут он почти не занимался, зато с головой ушел в другое. Могила Вергилия была тут. Стоя около нее, Боккаччо дал клятву посвятить себя поэзии и стал изучать латинских классиков. В столице короля Роберта гуманизм уже начинал приобретать почву. Увлечение им продолжалось там недолго и скоро приостановилось, но Боккаччо попал в хороший момент. До Неаполя дошла уже слава Петрарки, и король собирался предложить знаменитому поэту короновать его здесь поэтическим венцом. Классиков уже штудировали там добросовестно и могли во многом помочь любознательному юноше. Как и Петрарка, как и большинство других его современников, Боккаччо уже по-другому читает Вергилия и Овидия, по-другому воспринимает Цицерона. В нем уже установилось известное отношение к жизни, которое делает понятными и

близкими древних писателей с их девизом: «ничто человеческое мне не чуждо».

Боккаччо в Неаполе! Купеческий сын при единственном феодальном дворе Италии! Сталкиваются две культуры: молодая, победоносная, городская и дряхлеющая, делающая тысячи уступок другой—феодальная. Любопытный, живой, умный, наблюдательный—юноша приглядывался ко всему, все примечал, учился и делал свои выводы. Разные. В семи итальянских произведениях, предшествовавших Декамерону, все эти выводы он изложил в поэтических образах.

Первый вывод таков: городская культура победила по-настоящему. Рыцарь должен уступать дорогу горожанину, вчерашнему плебею, которому искусство и любовь даруют благородство и знатность ¹⁾.

Эта мысль проводится в «Filocolo», где облагороженный искусством плебей Калеоне—сам Боккаччо, и в «Ameto». В «Teseide» побежденный, Палемон—тоже сам Боккаччо: несмотря на поражение, он похищает у рыцаря любовь красавицы.

Другой вывод: закрылись Дантовы небеса. Все возмездия и все апофеозы—на земле. В загробном мире «Amorosa Visione» действуют поэты, герои, нимфы. Существуют три мира: науки, славы и любви. Загробное видение кончается на земле. Христианские добродетели объявляются непосильными для человека, и законнейшим чувством провозглашается любовь: «Filostrato» рассказывает об эволюции любви, а «Fiametta» повествует о женской любви.

Третий вывод: аскетические идеалы не только непосильны, но и общественно вредны. В «Ninfale Fiesolano» Диана, аскетическая богиня, зря, во имя отживших идеалов, губит двух влюбленных. Приходит Атлант, носитель культурной миссии, и все переделывает. Он выдает нимф замуж, основывает города, зачинает культуру.

Боккаччо крепко почувствовал все свои выводы. Недаром все названные сочинения пересыпаны прямыми и замаскированными автобиографическими намеками.

Боккаччо, по его собственному признанию, которое не трудно вычитать в затаенных легким флером аллегории по-

¹⁾ Все семь вещей тесно связаны с Неаполем, если даже закончены во Флоренции. Задуманы они все в Неаполе.

эмах, всецело посвятил себя Палладе и сторонился Амура, но коварный стрелок все-таки поразил его. Боккаччо увлекался, его любили. Сначала то были мимолетные интриги, столь обычные под ярким синим небом Неаполя, под огнем южного солнца, но он встретил Марию, и его охватила настоящая страсть. В жизни Боккаччо-поэта эта страсть имела огромное значение. Для Марии, или под влиянием любви к Марии, написаны все ранние итальянские произведения Боккаччо, и даже в «Декамероне» мы легко найдем отголоски этой любви, уже утихшей, но продолжающей оставаться сладостным воспоминанием. Под именем Фьяметты-Огонька Боккаччо воспел свою возлюбленную. Повинуясь желанию Фьяметты, он начал свою первую вещь—роман «Филоколо»; ей он посвятил свою первую законченную в Неаполе поэму «Филострато». Любовь Марии была наградою счастливому поэту, любовь, тайная от всех, скрытая так тщательно, что и теперь кое-кто отказывается ее признавать. Но она существовала, и Боккаччо наслаждался нечеловеческим счастьем. На груди Марии поэт подслушал тайны женского сердца и первый поведал их миру. Немного длился рай Боккаччо. Его подруга не отличалась постоянством. Наступивший очень скоро разрыв не дал оплошиться чувству и навсегда сохранил за ним ореол поэзии. Долго-долго еще Боккаччо будет вспоминать свое счастье, будет перебирать свои ощущения. Страдания очистили его любовь; Данте и древние помогли выделить из личного общечеловеческое. Любовь у Боккаччо сделалась орудием самосознания и средством борьбы за индивидуальность.

У Данте и в сонетах Петрарки фигурирует любовь не настоящая, а подчищенная и подстриженная согласно литературной моде. В латинских посланиях Петрарки мы уже видим человеческое чувство, которое сознается очень хорошо, но еще причиняет нравственные мучения, потому что расходится со старыми идеалами. Боккаччо окончательно провозгласил законность любви. Наиболее полно выражена его точка зрения в «Декамероне», который порывает и с аскетизмом, и с мажорничанием трубадуров, и с платонизмом флорентинского *dolce stil nuovo*.

Полная противоположность аскетизму—введение к четвертому дню в «Декамероне». Юноша, воспитанный в лесу и до

восемнадцатилетнего возраста не выдавший женщины, в первый раз пришел с отцом во Флоренцию и встретил там веселую, разнаряженную гурьбу девушек. Он моментально охвачен новым чувством.—Что это?—пристает он к отцу.—Опусти глаза и не гляди: это гадость,—поспешно отвечает недовольный старик.—А как эти штуки называются?—не унимался юноша.—Гусята!—Отец, а не прихватить ли нам с собою одного гусеночка; я его кормить буду. Это красноречивое констатирование могущества плоти, ее реабилитация. Но на этом Боккаччо не останавливается. Новелла о Настадзьо делл'Онести (V, 8) формулирует дальнейшую ступень оправдания любви. Она берет сюжет одной чистилищной легенды, в которой описывалась загробная казнь женщины, изменившей мужу и потом убившей его. Боккаччо оставил все, но изменил мотив наказания. В легенде женщина казнится за то, что, одержимая страстью к любовнику, убила мужа, у Боккаччо за то, что своею непреклонностью довела влюбленного в нее рыцаря до самоубийства. При жизни дама не догадалась покаяться, ибо считала, что не только не погрешила, но и поступила как следует. За это она и осуждена на вечные муки. Жестокосердые равеннские красавицы, которым их догадливые поклонники показали это грозное видение, так напугались, что стали снисходить к желаниям мужчин гораздо охотнее. Это уже не просто реабилитация плоти: это панегирик ее, призыв к любви, перевертывающий вверх дном все прежние взгляды на грех.

Новелла о прекрасной Алатиель (II, 7) дает завершение боккаччевской философии любви. Некая принцесса ехала на корабле к жениху, но прежде чем попасть к нему, она, благодаря капризу судьбы, побывала в объятиях восьми других мужчин, которым принадлежала, — Боккаччо высчитывает это точно, как заправский статистик—до десяти тысяч раз в общей сложности. Жениху она этого не сообщила, и он навсегда остался в уверенности, что взял в жены невинную девушку. Новелла заканчивается назидательной поговоркой, вероятно, бывшей в ходу среди флорентинцев: *Bossa basciata non perde ventura; anzi rinnova come fa la luna*, т. е. уста от поцелуя не умяются, а как месяц обновляются ¹⁾. Культурно-историче-

¹⁾ Перевод акад. А. Н. Веселовского.

ский смысл новеллы тот, что платоническая точка зрения и клятвы в верности возлюбленных объявляются совершенно несостоятельными, а шустрая Личиска ручается нам за то, что это так не только в рассуждениях, но и в жизни. Она говорит, указывая на Тиндаро: «Он такой дурачина, что вполне уверен, будто девушки настолько глупы, что теряют попусту время, выжидая дозволения отца и братьев, из семи раз шесть затягивающих их свадьбу на три или четыре года долее, чем бы следовало. Хороши бы они были, братец, если бы так долго медлили. Клянусь богом..., у меня нет соседки, которая бы вышла замуж девушкой, да и о замужних знаю, сколько и какого рода шуток они проделывают с мужьями»¹⁾.

Словом, полная эмансипация чувства — один вывод «Декамерона».

Но там же мы встречаем и другую точку зрения на любовь. Она из полудикого, неотесанного Чимоне делает человека (VI, 1). Она опрокидывает все социальные перегородки и вкладывает в уста Гисмонды, готовой к своему трагическому подвигу, замечательные слова о том, где истинное благородство (IV, 1). Она пробуждает в людях их лучшие свойства и заставляет забыть о физической похоти (X, 4 и 5). Она заставляет Федерико дель Альбериги принести в жертву своей возлюбленной любимого сокола (V, 9). Она дает силу Гризельде выдержать тяжелые лишения (X, 10). Она нередко ведет к смерти, потому что тот, кто любит и лишился любимого человека, не может жить (IV, 5, 7, 8, 9). Таковы поправки к тем новеллам, в которых говорится о наслаждении, как о конечной цели. Сопоставляя обе эти категории новелл, мы можем прийти только к одному выводу: любовь—великая сила, она побеждает все, ничто перед нею не может устоять. Вот все, повидимому, что хотел сказать Боккаччо, что он хотел внушить своим читателям. Призыва к наслаждению он не имел в виду. Возрождение дождется и такой философии, но не Боккаччо выскажет ее. «Декамерон» не строит теорий на эту тему. Он только запечатлевает в образах то, что носилось в то время в воздухе и давно уже ощущалось современниками. У него только собирается материал для теоретических построений. А когда Боккаччо сам начнет теоретизиро-

¹⁾ Вступление к VI дню. Пер. акад. А. Н. Веселовского.

вать, его теория будет совершенно иная. Это будет философия «Корбаччо» и латинских сочинений.

Странную роль играет «Корбаччо» в истории Боккаччо. Поэт, которому было уже за сорок, влюбился в какую-то вдову, а та не только не отвечала на его ухаживания, но вместе с его счастливым соперником насмеялась над ним. «Корбаччо» был мезальянием Боккаччо. Вдова не названа, но во Флоренции не осталось человека, который не понял бы, о ком идет речь. Женщину книжка беспощадно смешала с грязью. Это было едва ли очень по-рыцарски, но для Боккаччо необыкновенно характерно. Стремительность и страстность, с которыми он обрушился на злополучную вдову, показывают, что тут дело не только в задетом самолюбии. Такому человеку, как Боккаччо, вероятно, не раз приходилось и раньше бывать в подобном же положении. Дело, вероятно, в том, что на этот раз внешний факт совпал с внутренним процессом, с пересмотром прежних увлечений; вот почему, быть может, в пасквиле на определенную женщину так много выходов против женщины вообще.

Уже в новеллах десятого дня «Декамерона» наблюдается некоторое несоответствие с господствующим тоном книги. Автора словно берет раздумье: стоило ли так много разговаривать о любви. Сопеты этого периода тоже что-то очень много толкуют о бесцельной жизни. Есть и другие факты того же порядка. Боккаччо, очевидно, пресытился, стал хворать и, как всегда бывает с людьми, утратившими равновесие физическое, начал рыться у себя в душе. Тут, как и у Петрарки, обнаружилось, что человек не окреп еще в отрицании средневековых элементов: в нем заговорила самая консервативная часть человеческого я — совесть. А совесть у большинства людей XIV века была еще совершенно средневековая. Средневековой характер и носит филиппику против женщины и любовных утех, которая зовется «Корбаччо».

Боккаччо поставил крест над прежними увлечениями, опрокинул алтарь Венеры и отдался серьезному — науке.

Классиками Боккаччо занимался с большой любовью с тех пор, как в ученом кружке короля Роберта он пополнил свои знания. Он не написал еще ни одной строки по-латыни, а влияние латинских писателей с необыкновенною яркостью сказывалось уже на его итальянских вещах. Дух Овидия,

стиль Цицерона видны у него повсюду. В «Декамероне» горничная, которую дама подсылает к пригланувшемуся ей молодому человеку, передает амурные предложения языком римского трибуна, убеждающего граждан на форуме (VII, 9), и сам Цицерон позавидовал бы красноречию, с каким Тедалдо дельи Элизеи громит монахов (III, 7). Любопытно, что и перелом в Боккаччо сказался тем, что его симпатии от дамского угодника Овидия перешли к женонепавистнику Ювеналу. Когда миновал первый острый внутренний кризис, бесповоротно унесший культ Фьяметты и любви, Боккаччо стал собирать бродившие в его голове мысли о других жизненных вопросах, которыми прежде не находил времени заниматься как следует,—любовь мешала. Соответственно важности вопросов он выбрал и язык. Так возникли латинские стихи и латинская проза. Вдохновителем Боккаччо стал теперь Петрарка.

Дружба между холодным и влюбленным в себя Петраркою и простодушным, увлекающимся Боккаччо представляет большой интерес. На бескорыстную привязанность певец Лауры не был способен. Он только позволял любить себя, а сам холодно отвечал на искреннюю и глубокую дружбу словами, взятыми на-прокат в цicerоновом «Лелии». Но Боккаччо не замечал ни покровительственного отношения упоенного славою поэта, ни фальшивости его чувств. Он был совершенно увлечен Петраркою, который импонировал ему своею олимпийскою ясностью, своим невозмутимым спокойствием, своею величественною фигурою; он прощал ему пренебрежение к «Декамерону» за латинский перевод «Гризельды», который был подачкою. Петрарка был для него учителем и руководителем и несомненно оказывал на его латинские писания большое влияние.

Как и Петрарка, Боккаччо придавал чрезмерно большое значение своим латинским трудам; они были ему дороги потому, что в них он ставил и разрешал все те вопросы, которые интересовали его поколение: о любви и добродетели, о славе и доблести, о судьбе человека и назначении поэта. Ответы Боккаччо по существу те же, что и ответы Петрарки. Им обшито диктовала общественная жизнь с ее усложнившимися запросами; сознательно или бессознательно они решали вопрос, чем должен быть человек, чтобы выйти победителем

в жизненных осложнениях и столкновениях, которых было так много в современной действительности. Формы своих решений они брали у древних; оба должны были отстаивать свои новые чувства от цепких средневековых переживаний. Вывод их один и тот же: культ личности.

Словом, как моралист, Боккаччо говорит то же, что и Петрарка, что и Нелли, что и Заноби да Страда, что и вся братия гуманистов. Но ему, как гуманисту, принадлежит большая заслуга в том отношении, что он первый стал учиться греческому языку. Петрарка тоже пробовал поучиться у случайно подвернувшегося греческого монаха Варлаама, но неудачно: Гомер навсегда остался нем для него, а он—глух для Гомера. Но Петрарка помог Боккаччо раздобыть одного калабрийского грека Леонтия Пилата, который оказал итальянскому гуманизму две крупных услуги: перевел «Илиаду» и выучил Боккаччо, с грехом пополам, понимать по-гречески. Боккаччо сделался, таким образом, первым эллинистом в Европе, хотя это ему стоило большого труда и хотя его познания в греческом языке были не бог весть как велики. Учиться с Пилатом было настоящей мукою. Калабриец был до такой степени нечистоплотен и ворчлив, что терпеть его рядом с собою можно было только во имя любви к Гомеру и Платону. Петрарка говорил про него: «Этот Лев (Леонтий)—большая скотина». Но, когда он бывал трезв, Гомер не терпел больших неприятностей, и хотя латинский язык, на который он переводил «Илиаду», оставлял желать многого, но гуманисты прощали ему все его неприятные особенности, а когда он погиб, убитый молнией, горько жалели о нем.

Для гуманистов, а в частности для Боккаччо, греческий язык не был просто роскошью.

Для обоснования своих морально-философских идей он нуждался в примерах и фактах, а латинская литература одна не могла ему их доставить. Поэтому в его латинских произведениях так заметно стремление раздобыть ссылку на греческого писателя, хотя бы из вторых и третьих рук. И он, ничто же сумняшеся, ссылается на Варлаама и Леонтия Пилата, как на лиц, свидетельствующих о факте. Поэтому арсенал данных, которыми Боккаччо подкрепляет свою индивидуалистическую доктрину, пожалуй, богаче, чем у Петрарки.

Индивидуалистическая тенденция у Боккаччо еще в одном пункте существенно отличается от той же тенденции у Петрарки. Петрарка умеет понимать человеческие стремления, умеет читать в душе, но он понимает только свои стремления и читает только в своей душе. У Боккаччо горизонты несравненно шире благодаря тому, что он беллетрист, — качество, которым Петрарка не обладал совсем. Чужая душа для певца Лауры в буквальном смысле — потемки. Боккаччо нашел ключ к чужой душе. Правда, его наблюдения еще не приобрели той тонкости, которая привлекает в современных романистах-психологах, но то, что он дал нам, по существу уже наметило пути психологического романа. Боккаччо изучает преимущественно женскую душу; он оставил потомству драгоценный перл, «Фьяметту», роман женщины любимой, а потом покинутой возлюбленным. И, как мелкими алмазами, этот перл осыпан кругом миниатюрными психологическими этюдами «Декамерона».

Наблюдательный художник помог Боккаччо расширить сферу изучения человека. Особенно «Декамерон» останется в этом отношении книгой, с которою по историческому значению сравнится немного других вещей в мировой литературе.

Элемент реалистического наблюдения жизни определяет и другую особенность «Декамерона». Всякий читавший его не как собрание веселых и скромных анекдотов, а с тем вниманием, которого заслуживает это замечательное произведение, знает, что с особенною любовью Боккаччо рассказывает нам про монахов и попов, про их распутство, шарлатанство и другие непохвальные качества. Этих рассказов так много в «Декамероне», что легко можно прийти к заключению, что Боккаччо отрицает самый институт монашества. Но такой вывод совершенно не вязался бы со всем мировоззрением нашего поэта. Не забудем, что у него, как и у Петрарки, совесть еще средневековая, и для нее церковь и религия сохраняют свой авторитет почти во всей первоначальной неприкосновенности. Не только религии, не только церкви, но и института монашества Боккаччо не решился бы отрицать, хотя он и видит, что от идеалов св. Бенедикта и св. Франциска остались одни воспоминания. Боккаччо — художник-бытописатель. Он рассказывает то, что видит, или психологически

разрабатывает сюжеты, полученные в источниках. Другой вопрос, почему он так охотно занимается понами и монахами и заставляет Тедальдо дельи Элизеи обрушиться на них злою филиппикой. Просто потому, что он горожанин и отмечает несомненный факт, совершившийся уже в его время, — прекращение гармонического союза между монахами и буржуазией, созданного св. Франциском и закрепленного основанием общины терциариев, мирян-монахов. Так же добросовестно он отмечает и всякий другой факт социального порядка, напр., то огромное значение, которое получила в его время торговля. По некоторым его новеллам (напр., VIII, 1, VIII, 10) можно составить себе очень ясное представление о торговых обычаях того времени. Все это, конечно, не значит, что Боккаччо простой фотограф. У него есть положительные идеалы, которые направляют его наблюдения. Он интересуется человеком, требует ему свободы чувства, поощряет в нем героизм долга, но религии и церкви эта индивидуалистическая доктрина не касается.

Чем дальше приближалась старость, тем больше усиливались в нем тревоги совести. На этой почве в нем произошел однажды сильный кризис. Какой-то картезианский монах угрозил ему вечным проклятием и муками ада, если он не бросит занятия поэзией, т.-е., — как истолковал этот оракул сам Боккаччо, — греческих и римских классиков. Петрарке, который был рассудительнее своего друга, стоило не малого труда успокоить его.

Однако, хотя острый страх миновал, но в Боккаччо до конца дней остались обостренная кризисом религиозность и какая-то почти болезненная нравственная щепетильность. Он водился с монахами так усердно, что флорентинцы подозревали у него намерение удалиться от мира. Когда он поехал в Венецию, желая повидаться с Петраркою, и не застал там ни его, ни его зятя, он не решился остановиться в доме его дочери: хотя он сед и обессилен тяжестью своего жира, но мало ли что скажет молва. Ему не хочется, чтобы даже тень подозрения коснулась дочери его друга.

Болезни, разумеется, играли некоторую роль в перемене его настроения и, вообще, много мешали ему. На склоне дней он удостоился великой чести: флорентинцы пригласили его занять кафедру, учрежденную для толкования «Божественной

Комедии». Но он мог читать свои лекции в церкви Сан-Стефано всего только несколько месяцев и не дошел даже до конца «Ада». Недуг разыгрался, и он должен был окончательно уехать в свое имение в Чертальядо. Там он и умер в 1375 г.

Боккаччо разрабатывал те же вопросы, что и Петрарка, но их положение в обществе было различно. Петрарка был всеми признанный вождь, Боккаччо — только популярный писатель и ученый.

Скромный и простодушный, он не кричал о себе, не рекламировал, не умел заискивать у сильных мира, не мог приобрести вполне обеспеченного досуга, словом, был обыкновенный человек. Петрарка блистал, но мы знаем, что то был за блеск и как он создавался. В этом отношении Боккаччо — несравненно более привлекательная фигура. Его историческая наследственность, его буржуазное происхождение сказались и в нем с необыкновенною яркостью, но не в такой неприятной форме, как у Петрарки.

Значение их в истории культуры одинаковое. Петрарка начал, но Боккаччо начинал независимо от него; их обоих создала волна общественной жизни, и они разрабатывали вопросы, на которые общество хотело иметь гостовые ответы. Вопросы им пришлось разрабатывать разные. Индивидуализм Петрарки субъективен, индивидуализм Боккаччо — объективен. Они оба — крупные начинатели, и оба подвинули вперед самую настоящую культурную проблему — освобождение личности. Но они далеко не решили ее окончательно. Эта миссия осталась дальнейшим поколениям.

12. Тиранны и кондотьеры в XIV и начале XV вв.

Отношение корифеев интеллигенции к новым политическим формам постепенно начинает приобретать определенность. Данте не удосужился по-настоящему выяснить свое отношение к тирании, как к чисто-итальянскому явлению, как к факту современной ему жизни. Правда, он засадил тиранов в ад. Там они захлебываются в кровавом потоке, и на самом глубоком его месте, погруженный до самых век, казнится Эццелино. Но мотив казни у Данте не политический, а моральный. Осуждения тирании, как формы правления у

него нет. Политическая оценка его отдана двум фактам: противоположности между гвельфами и гибеллинами и борьбе партий в городах, главным образом первому.

Петрарка, как мы знаем, был в делах политики импрессионистом чистой воды. Смотри по настроению, он восторженно воспевал Колу ди Риенци, курил фимиам своему миланскому патрону Галеаццо Висконти, просвещенному, но свирепому тиранну, или грезил об единой Италии.

Боккаччо первый дал тон интеллигентскому отношению к тирании. В его латинских сочинениях можно найти смутные намеки на то, что он находит практические оправдания для монархии: «Подобно тому, как от трудов народных (ex sudore populorum) создается сияние царского достоинства, так благодаря бдительности царей добывается благоденствие и мир народов». Но для тирании у него особая мерка. Тирания—это такая форма монархии, которая является ее извращением. Тирани не может быть приемлем. С ним нужно бороться. В латинском сочинении «О несчастьях знаменитых людей» (De casibus virorum illustrium), откуда взята и предыдущая цитата, Боккаччо говорит, перечисляя всевозможные бесчинства тираннов: «Что же? Такого человека я буду называть царем, почитать, как монарха, быть ему верным, как господину! Ничего подобного. Он враг. Составлять против него заговоры, браться против него за оружие, устраивать ему ловушки, противопоставлять ему силу—есть дело высокого духа, святое и самое необходимое. Ибо нет жертвы более приятной богу, чем кровь тиранна» ¹⁾.

Это и понятно. Данте в изгнании потерял свою социальную почву. Петрарка никогда не мог ее найти в своих космополитических гастролях тут и там. Боккаччо был настоящий горожанин, с крепкой психикой горожанина, научившийся сравнивать городской строй с феодальным, видевший чудеснейшую коллекцию тираннов при неаполитанском дворе после смерти старого Роберта. Королева Джованна, ее многочисленные мужья и любовники, столь же многочисленные удачливые и неудачливые претенденты на неаполитанский пре-

¹⁾ Юристы, которые ищут зачатков учения о тиранноборстве и монархиахии, почему-то никогда не идут назад дальше реформации. Ни приведенные слова Боккаччо, ни подобные же тирады Коллуччо Салутати никогда не фигурируют в сочинениях на эту тему.

стол—вся галерея героев его «Эклог»—давали ему достаточно материалов для размышления. А то, что он наблюдал сам или о чем слышал от других из области практики городских тираннов, только обогащало его материал и подтверждало его выводы.

Тирания в Италии сделалась главным фактом внутренней политической формы правления и требовала именно такого определенного отношения к себе, какое формулировал Боккаччо. Но оно удержалось, как известно, недолго. Гуманисты скоро помирились с тиранией. Внешним поводом для этого было смягчение режима. Беглый обзор истории тирании, начиная с XIV века, покажет, как шла эволюция.

Италия к этому времени покрылась пестрой сетью маленьких монархий, и вся ее история в XIV и XV в.в. носит на себе печать этого мелкодержавного дробления. Пять более крупных государств: Милан, Венеция, Флоренция, Рим и королевство обеих Сицилий, а между ними и кругом них десятки столь же законченных в политическом отношении государств, но очень малых размеров,—таков был внешний политический облик Италии. Взаимоотношение частей этого конгломерата деликом наполняло историю этих двух веков. Императоры не вмешивались в итальянские дела. Людовик Баварский, Карл IV, Сигизмунд, Фридрих III приходили, правда, в Италию, но были бессильны что-либо предпринять, чтобы восстановить свое влияние. Они подтверждали права того или иного тиранна, жаловали титулы маркиза и герцога более сильным, получали за это много золота и уходили во свояси. Салические императоры и Гогенштауфены тоже пользовались орудием привилегий, но, раздавая их городам, они имели в виду интересы Германии. Их эпигоны преследовали только узкофискальные цели.

К началу XIV века тираннов появилось в Италии великое множество, почти столько, сколько в начале XIII в. было свободных городов. Италия решительно обнаруживала устремление в сторону монархии. Только одна Венеция, могучая, гордая, богатая, не поддалась этой новой болезни и не пожелала сменить свое старое республиканское знамя с крылатым львом св. Марка на новенький герб какого-нибудь удачливого кондотьера.

В XIV веке произошло резкое изменение не столько в характере тирании, сколько в общем распределении городов между тираннами. Бесперывные войны приводили к тому, что крупные тиранны, постоянно увеличивая свои территории, стали систематически поглощать мелких. Висконти миланские, Малатеста риминийские, Гонзага мантуанские и проч., округляя свои территории, лишали владений множество мелких тираннов, зато на округлившись таким образом территориях стало организовываться государство более совершенного типа, та монархия, которая скоро в глазах заальпийских творцов абсолютизма, Людовика XI, Генриха VIII, делается почти недостижимым идеалом. Конечно, при таких неустойчивых условиях существования, города часто меняли своих тираннов. Одной из причин этой частой смены владельцев было появление в Италии новой и очень заметной силы, начальников наемных армий, *кондотьеров* (*condottieri*, от *condotta*, договор на поставку наемного отряда).

С появлением тирании прежняя система городских ополчений умерла. Горожане — купцы и ремесленники, — которые в XIII веке с таким воодушевлением бились под знаменами родного города, вокруг его саггосіо, священной колесницы, служившей символом его независимости, теперь потеряли всякий интерес сражаться за господина. Они уплачивали ему огромные подати для того, чтобы ничто не мешало им отдаваться мирному труду. Делом тиранна было находить способ защищать их. Такова была почва, на которой необходимость вырастила систему наемных отрядов. Сначала начальниками их были безвестные люди, иностранцы чаще, чем итальянцы, а главным контингентом солдат — иностранные мародеры, бродившие по Италии. Из более ранних самыми знаменитыми были Фра-Мореале, казненный Колой ди Риенцо в Риме (1354), и немец Вэрнер. Одно время пользовался большой славой англичанин, Джон Гакуд, которого итальянцы перекрестили в Джованни Акуто и которому Флоренция поставила памятник в своем соборе (ум. в 1393 г.). Первым настоящим итальянским кондотьером, начальником чисто итальянского по составу отряда, был Альберико да Барбиано. В его школе сформировались два знаменитых кондотьера: Браччо ди Монтоне и Муцио Атендола Сфорца. Оба они были учителями целой плеяды даровитых итальянских кондотьеров, которые вырабо-

тали особую военную тактику, сделали из войны искусство, тонкое и деликатное. Главной задачей кондотьера было выиграть сражение так, чтобы потерять как можно меньше солдат: солдаты стоили ему дорого. Центр тяжести военных операций переходит к маневрам и эволюциям. Это, в свою очередь, вызывает необходимость заменить тяжело вооруженную конницу легкой и подвижной. Во главе такого отряда кондотьер отправляется в поход, встречает противника, такого же кондотьера, как и он, начинаются разъезды и разведки, бесконечное маневрирование, наконец, дело доходит до лихой стычки, поднимающей много пыли и производящей большой шум. Это называется генеральным сражением, хотя убитых— всего какой-нибудь десяток, да и те по собственной неловкости свалились с лошадей и были растоптаны в свалке. Кто-нибудь, однако, все-таки победил, и кондотьер, следовательно, честно заработал свое жалованье. Потому что теперь война— не только искусство; она—торговая операция. Кондотьер служит тем, кто лучше платит, и завтра может покинуть на произвол судьбы того, кто не в состоянии платить¹⁾. С ними поэтому очень осторожны. Им не доверяют. От них требуется много выдержки, самообладания, дипломатической изворотливости, чтобы не попасться в ловушку. В XV в. такой смертью погибло несколько крупных кондотьеров. Венеция казнила Карманьолу (1432); Якопо Пиччинино был задушен в Неаполе по приказу короля Ферранте (1465); Роберто Малатеста тайно и внезапно умер в Риме (1482) после победы, одержанной им для Сикста IV. Позднее, Цезарь Борджиа завлечет в ловушку в Синигалии и прикажет удушить в два приема четверых кондотьеров: Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо Паоло, Орсини и Гравину. Но у них не было недостатка и в почестях. Падуя почтила Гаттамелату памятником работы Донателло, Венеция воздвигла Коллеони статую работы Вероккио. Кондотьеры захватили и целый ряд городов в качестве тираннов.

Папа Григорий XI уже в XIV в. дал Джону Гакуду Котиньолу и Баньякавалло. Но гораздо чаще они обходились

¹⁾ Когда кондотьера второй половины XIV века Ридольфо ди Каме-рино, спросили, почему он так часто меняет свое знамя, он отвечал: «потому что не могу долго лежать на одном боку».

без пожалований. Угуччоне делла Фаджуола, тиранн Лукки (нач. XIV в.), был кондотьером; его преемник, Каструччо Кастракане, которого обессмертил Маккиавелли,—тоже. Браччо Монтоне владел одно время Перуджией. Франческо Сфорца основал династию в Милане. Из казенных Цезарем Борджиа двое были тираннами: Виттеллоццо и Оливеротто. С другой стороны, более мелкие тиранны старых династий часто становятся кондотьерами, чтобы обеспечить свои владения против посягательств более сильных. Несколько кондотьеров вышло из Малатеста, из Гонзага, Монтефельтре, делла Ровере.

Но и кондотьеры не были последней категорией людей, из которых выходили тиранны. Когда в XV в. вместе с Сикстом IV водворился в Риме откровенный nepотизм, папы стали без стеснения сажать своих сыновей и племянников в вакантные, а иногда и не в вакантные города. Риарио появились в Форли, Цезарь Борджиа мечом завоевал Романию, делла Ровере в Урбино наследовали Монтефельтре, позднее Фарнезе воцарились в Парме. Некоторые из этих династий оказались прочными.

Наконец, был еще один тип тираннов: выдающиеся горожане не дворянского происхождения. Таковы были Бентивольо в Болонье, Гамбокортти в Пизе, Петруччи в Сиене, Бальони в Перуджии и, самые знаменитые, Медичи во Флоренции. Тиранны из горожан появляются позднее, в XV в., когда наступают времена более спокойные, когда можно, благодаря существованию кондотьеров, не заботиться о том, чтобы человек, которому вручается власть над городом, непременно обладал военной опытностью. И деспотизм тираннов из буржуазии обыкновенно мягче, чем деспотизм военных тираннов. Да и вообще деспотизм становится мягче в XV веке. Полуторавское порабощение городов привело к видимому примирению классов: всех уравнил деспотизм, смирил дворян, дал возможность купцам и ремесленникам заниматься своим делом. Тип нового тиранна—тоже иной, чем был раньше. Теперь он уже настоящий государь, более спокойно пользующийся своим положением, не вынужденный сидеть в цитадели, свирепо и нелюбимо, под охраной верных солдат. Он не производит более наездов на горожан и не умыкает их жен и дочерей. Он по-прежнему оставляет систему террора. У него сложился двор, и Возрождение уже рассыпает перед ним все сокровища своей

культуры. Он воспитывался под руководством гуманистов, получил великолепное образование. Он воин и дипломат, меценат и ученый. Но в нем еще сидит дикий нрав его предков, тех, кто укреплял свое положение в городе ежедневными стычками, казнями горожан, убийствами родных, ожесточенной обороною против сильных неприятелей из соседних тираннов. Едва ли не самый типичный среди великолепной коллекции типичных людей, стоявших в XV веке во главе городов,—Сиджисмондо Малатеста, тиранн Римини. Он превосходный полководец. Как кондотьер, он один из самых счастливых. Пятнадцати лет он одержал свою первую победу. Он воюет и в Италии и вне ее. Венеция посылает его в Морею, и там он покрывает свое имя славою. Солдаты его богстворят и готовы идти за ним в огонь и воду. Но успехи даются ему не только искусством и умением воодушевлять войска, но и вероломством, клятвопреступлением, изменами. В нем живут все пороки, у него бешеный характер. В юности он совращал своих товарищей. В зрелые годы бесчестил мальчиков и девочек, и если они бежали от его нечистых ласк, он предавал их мучительной смерти. Собственные дочери и зять сделались жертвою его разнузданности. Монахини и еврейки, как сокрушенно повествует богобоязненный современник, одинаково подвергались у него осквернению. Ему доставляло особенное удовольствие делать своими любовницами женщин, детей которых он крестил; мужей их он убивал. Он был женат три раза. От первой невесты он отказался до свадьбы, но удержал у себя ее приданое; следующую жену заколол кинжалом, третью отравил. Отравлял он вообще много и сам любил пытать осужденных. Духовных лиц ненавидел, не верил в бессмертие души и считал, что душа умирает вместе с телом. И этот звериной души человек всю почти жизнь любил самой нежной, самой трогательной любовью одну женщину, свою Изотту, на которой и женился, развязавшись с третьей женой. В честь ее он выстроил жемчужину Ренессанса, знаменитый Tempio Malatestiano в Римини, проект которого создал Леон Баттиста Альберти и который скорее похож на языческий храм, хотя и посвящен св. Франциску. Там погребена Изотта, и уже совершенно языческая надпись над ее мавзолеем гласит: *Divae Isottae Sacrum*. В честь ее Сиджисмондо пишет звучные, нежные сонеты, выдающие большой поэтический та-

лант. Он любил окружать себя поэтами и художниками и много сделал для гуманистов. Когда Малатеста воевал с турками в Пелопоннесе, он велел вырыть из земли прах Гемиста Плетона, знаменитого философа, там погребенного, и похоронил его в наружной нише своего храма в Римини, рядом с несколькими поэтами и учеными. Нетерпеливый и стремительный во всем, он часами просиживал над рукописями классиков. Органически неспособный выносить противоречие в чем-либо, он позволял последнему гуманисту оспаривать свои ученые мнения и без конца вел с учеными споры о литературе. Потому что литература — его страсть, так же, как его страсть — Изотта.

Эти противоречия, это соединение тончайшей культурности и способности к чистым увлечениям с самыми грубыми страстями, с самыми низменными пороками — типично для человека Кватроченто вообще, для тирана в особенности. В Сиджисмондо Малатеста тени слишком темны и свет слишком ярок. В других жизнь наложила краски не так резко. Но в груди каждого из них живут две души, у всех десница не знает, что творит шуйца. Это — результат всего общественного и культурного развития. Как должно было сложиться будущее страны, которая вся поделена между четырьмя десятками таких людей, как Сиджисмондо Малатеста? Династический эгоизм в них не меньше, чем в крупных тиранах, и положение дел требует, чтобы была найдена такая равнодействующая всех династических эгоизмов, больших и малых, которая дала бы Италии спокойствие. Вторая половина XV века прошла в поисках этой равнодействующей. Теперь задача до некоторой степени упрощалась, потому что поглощение мелких тиранний крупными государствами, особенно на севере, продолжалось беспрестанно. Венеция после прекращения династий Скалиджери в Вероне и Каррара в Падуе присоединила оба города к себе вместе с Виченцой и Тревизо, а Франческо Фоскари продвинул границы венецианской *terra firma* до Бергамо и Брешии. Генуя после поражения при Кьоджии (1388) скоро подчинилась Милану, а Пиза в 1406 г. — Флоренции; Рим, куда папы вернулись уже в 1378 г., начиная с Николая V, постепенно расширяет свои владения в Романье и Марках, которые были в 1364 г. завоеваны кардиналом Альборнозом, но утрачены потом. Пьемонт, Феррара, Мантуя, Урбино, Римини, Пе-

руджа, Болонья, Сиена, Лукка и несколько более мелких сохраняют независимость, но держатся под крылом пяти крупных государств, кто к кому ближе.

В 1453 г. папа Николай V обратился к Милану, Венеции, Флоренции и Неаполю с призывом забыть вражду и объединиться для борьбы против турок. Из призыва ничего не вышло, но в политическое сознание еще раз после Данте, после Петрарки, после Риенцо была пущена мысль об объединении. В середине XV века она была неосуществима. Самое большое, чего было возможно достичь, — это некоторого равновесия. Такова внешняя история тирании за это время. Внутренние, экономические и социальные процессы в городах и их направляющее влияние на культурную эволюцию складываются очень различно. Лучше всего изучать эти вопросы на определенном примере. Флоренция дает картину, наиболее типичную, наиболее полную и наиболее яркую.

13. Флоренция под властью цехов.

Когда умер Боккаччо (1375), были уже налицо признаки, показывавшие, что на ближайшее время центром литературы и искусства будет Флоренция. Это было ясно даже некоторым из современников, но и теперь не легко сказать, почему культурное развитие Флоренции обогнало рост других итальянских городов-государств. Больше того, мы теперь склонны удивляться тому, как возможен был вообще культурный рост города, находившегося в таких условиях, какие в то время выпали на долю Флоренции. Бряцание оружия и военный клич — плохой аккомпанемент мирным занятиям, а прекрасный город на Арно весь XIV век и добрую половину XV был театром внутренних усобиц и редко отдыхал от внешних войн. Мы не стали бы, быть-может, удивляться, если бы нам так же хорошо были известны положительные элементы этого развития, как хорошо мы знаем отрицательные. К сожалению, именно о положительных элементах этого культурного процесса мы знаем меньше всего. Мы имеем здесь дело с проблемой происхождения коллективной гениальности и, чтобы удовлетворительно разрешить ее, должны были бы располагать гораздо более обильным запасом данных, чем те, которые предоставляют в наше распоряжение скудные средневековые

источники. Можно только пытаться в общих чертах указать главные причины.

Если мы бросим взгляд на положение других городов Италии, то мы увидим, что ни один из них не находился в условиях, более благоприятствующих культурному развитию.

Неаполь при короле Роберте (1309—1343) некоторое время был центром умственной культуры Италии и притягивал отовсюду таланты и знания. Но после смерти Роберта начались кровавые междоусобия, у королевы Джованны тайнственным образом умирали один за другим мужья, потом придушили ее самое, город не раз брали приступом, его постоянно грабили наемные отряды, ни один из видных людей не чувствовал себя в безопасности. В таких условиях науки и искусства не процветают. В Риме было не лучше: папа оставался в Авиньоне, в городе грызлись нобили, и наемные отряды так же, как и в Неаполе, грабили жителей. Быстро промелькнула и ничего не изменила эпопея Кола ди Риенцо, начавшего трибуном, кончившего тиранном ¹⁾. Всё с бóльшим нетерпением Рим ждал возвращения пап из Авиньона. В Милане железная десница Висконти давила все, и нужна была покладистость Петрарки, чтобы уживаться при этом дворе, где преступление стало добродетелью и раболепство перед тиранном сходило за любовь к отечеству. Венеция никогда, ни раньше, ни позже, не играла руководящей роли в культурном развитии страны; там слишком были заняты двумя задачами, с наукой ничего общего не имеющими: расширением торговых оборотов республики и обеспечиванием местной торговле прочного международного положения. Приблизительно тем же была озабочена и Генуя. Пиза уже пережила время своего расцвета и едва-едва отстаивала свою независимость. Время более мелких центров—Мантуи, Феррары, Урбино—еще не пришло.

Однако, все сказанное больше объясняет, почему другие города не могли играть роли, которую сыграла Флоренция; чтобы понять происхождение культурной гегемонии Флоренции, этих указаний мало. Нужны были, очевидно, какие-нибудь социально-психические причины, чтобы создался, во-первых, талант к литературе и искусству, а во-вторых, интерес

¹⁾ В последнее время много говорят (Бурдах) о чисто идейном вкладе Риенцо в культуру Возрождения.

к тому и другому. Первое едва ли объяснимо при современных научных средствах, второе находит удовлетворительное объяснение в общественных условиях. Досуг, создаваемый обеспеченностью, свобода, доставляемая республиканским строем, энергия, воспитанная в политической борьбе и не насыщаемая вполне политическими требованиями,— вот, по видимому, те факты, которые объясняют главное в этом трудном вопросе.

Около 1375 года Флоренция была большим городом с населением от 70000 до 80000 человек, с цветущею шерстяною и все крепившею шелковою промышленностью, с обширною торговлею и с самым крупным в Европе банковым делом. Общественный и политический строй города складывался в тяжелой борьбе со знатью, изобиловавшей яркими драматическими эпизодами, актами львиного мужества, беззаветной любви к родине и утонченными свирепствами.

Как и в других городах Италии и Европы, во Флоренции внутренний строй укрепился на основе хозяйственного подъема.

Уже в начале XII века торговля Флоренции была довольно значительная. Город сумел использовать благоприятный момент в связи с крестовыми походами. Главным предметом торговли было французское и фландрское сукно. Этот грубо обработанный полу-фабрикат привозился во Флоренцию, и отсюда в своем естественном виде, как в первое время, или в переработанном, как позднее, распространялся по Италии и шел за границу. Купцы, которые вели дело, образовали свою корпорацию, существование которой под названием «*Mercatores de Calimala*»¹⁾ документально устанавливается с 1182 года. Упоминание о корпорации мы встречаем уже в середине XII века. Очень скоро, по видимому в 1202 г., из Калималы, объединившей все тогдашнее купечество, выделилась корпорация мянял (*Sambio*), а вслед за нею, не позднее 1218 года, еще две корпорации: «*Por. S. Maria*», сначала розничные торговцы нефлоrentинским итальянским сукном и «*Meratores Communes*» (*merciai*), мелочные торговцы²⁾. Промышленность в течение XII века

¹⁾ Calimala, название улицы.

²⁾ Por. S. Maria мало-по-малу вобрал в себя множество самых разнообразных профессий. В него вошли ювелиры, медники, оружейники, трикотажники, галантерейные торговцы и т. д. Когда в 1315 г. во Флоренцию явились из Лукки шелковые мастера, они вступили в этот же цех

была совсем слаба, Она начала становиться на ноги только к концу его и к началу следующего столетия. Впервые в 1193 году мы встречаем документальное упоминание об организации ремесленных цехов. Тут речь идет о семи цехах (*artes*): каких, мы не знаем. Несомненно, что шерстяной цех (*arte di Lana*) находится в их числе. Цеховые старшины носят название *rectores*, которое они потом меняют на свое позднейшее славное имя *priores*, приоров. Это отличает их от купеческих корпораций, старшины которых называются *consules*, консулами.

Конец XII века открывает борьбу между купечеством и ремесленниками. Добиться прочных успехов ремесленники еще не могут. Но бывают моменты, когда их вынуждены допустить если не в правящие коллегии, то в почетные собрания, в делегации и пр.

Очень существенная перемена произошла во второе или в третье десятилетие XIII века, когда *Lana* перешел из ремесленных цехов в число купеческих корпораций. Переход этот был обусловлен чисто экономическими мотивами. Факт — не исключительно флорентинский, а, по крайней мере, общетосканский (в Пизе он повторился в точности). Суконное производство невозможно было, как по условиям техники, так, особенно, по условиям рынка вести в темпе и рамках мелкого ремесленного производства. Оно переходит к системе капиталистической промышленности. Во главе каждого предприятия, входящего в цех, становится купец-капиталист. Он знает рынок, свой и заграничный. Он руководит производством, приспособляя его к требованиям рынка. Он организует экспорт. Флорентинскому капиталу становится тесно на родине. Он идет за Альпы¹⁾.

Естественно, что когда суконное производство получает торгово-капиталистический характер, цех должен войти в категорию купеческих корпораций²⁾.

и очень быстро приобрели там руководящее значение. В конце XIV века *Por. S. Maria* уже называется просто цехом шелководов (*Arte di Seta*). Что касается до мелочных торговцев, то они позднее были присоединены к цеху врачей и аптекарей.

¹⁾ Как раз к началу XIII века относится и эмиграция кредитного капитала.

²⁾ Он сохраняет старое ремесленное название *arte*, которое постепенно распространяется и на все «старшие», купеческие, цехи.

Во главе каждого предприятия — купец. Управляет делами цеха совет из купцов. Все остальные работники цеха подчинены мастерам-капиталистам и, как увидим ниже, очень ограничены в правах.

Несколько позднее, чем Лапа, устраивают собственные корпорации еще три группы: в 1229 г. судьи и нотариусы (*giudici e notai*), потом врачи и аптекари (*medice speziali*) и меховщики (*vajai e pelliciai*). Мелочные торговцы были, как сказано, присоединены к аптекарям и врачам. Таким образом сложился состав купеческих корпораций из семи будущих «старших цехов» (*arti maggiori*): *Giudici e notai*; *Calimala*; *Por. S. Maria*; *Cambio*; *Laipa*; *medici e speziali*; *vajai e pelliciai*.

Участие цехов в общественных делах города все увеличивается. Но в конституции *primo popolo*, первой народной конституции Флоренции (1250), цехи, как таковые, не участвуют: ни купеческие, ни ремесленные. Городское население, его низы, организованы по городским кварталам (6 кварталов — 12 компаний, с чисто военным устройством), с капитаном народа и с советом anziani во главе, выступающими параллельно существующему строю подестата. Капитанат, как власть народная, противопоставляется подестату, власти дворянско-крупно-буржуазной ¹⁾.

Primo popolo направлено против гибеллинской эвати. Тут купеческие корпорации не боятся низов; наоборот, они их утилизируют. Флорентинские дворяне (*i grandi*) были покорены уже в начале XIII века: последние из них покинули свои крепкие замки и переселились в город в 1209 году, но эта победа была только началом. В городе, освоившись и осмотревшись, они образовали сильную партию, хорошо организованную, воинственную, своим боевым опытом очень полезную городу. Естественно было с их стороны пожелать захватить власть в свои руки. Несколько раз это им удавалось. Реформа 1250 г. как раз пыталась закрепить положение, создавшееся после очередного изгнания гибеллинов. Бесконечные военные предприятия гибеллинов, не приносявшие городу никакой пользы, но стоившие много денег и крови народу, вывели низы флорентинские из себя. Гибеллины должны были уйти. Проводившая новую конституцию буржуазия отлично знала, что ремеслен-

¹⁾ См. выше, стр. 49 и след.

ники сами кровно заинтересованы в новом устройстве и не потребуют себе никаких специальных уступок. Так и было. Но primo populo оказалось недолговечным. В 1260 г., после сражения при Монтаперти, когда «Арбия вся окрасилась красным», гибеллины вернулись, и конституция была изменена. У власти стали дворяне, послушные приказам короля Манфреда, а гвельфы отправились в изгнание.

В течение шестилетнего господства гибеллинов, изгнанники, большей частью представители купечества и банкирских домов, делали на чужбине отличные дела с курией и еще больше втянулись в орбиту папского влияния. А ремесло во Флоренции пришло в упадок. Этот двойной факт сказался на конституции secundo populo, когда гвельфы вернулись к власти в 1266 году. Это сделалось возможно благодаря победе Карла Анжуйского над Манфредом при Беневенте, а призвание Карла было делом гвельфских банкиров, которые финансировали его экспедицию и очень хорошо на этом заработали. По конституции 1266 года семь перечисленных выше цехов — их с 80-х годов будут называть «старшими» — получили военно-политическую организацию и свои цеховые знамена. Вернувшаяся гвельфская купеческая буржуазия утверждала на будущее время хребет своего господства. О ремесленных цехах не вспомнили, а сами они были в слишком большом развале, чтобы о себе напомнить.

Гвельфское управление довольно быстро поправило дела во Флоренции. Ремесленники стали на ноги, и когда в 1280 г. было собрано по какому-то случаю торжественное представительство флорентийской коммуны, — наряду с семью купеческими цехами уже фигурируют три ремесленных: кузнецы, мясники и сапожники. Два года спустя (1282) была проведена чрезвычайно важная конституционная реформа: создана правящая коллегия, которая и названием своим и существом впервые формально утвердила связь флорентинского государственного устройства с цеховой организацией. Новая коллегия приняла название при о р а т а, прямо заимствованное у цехов. Сущность реформы заключалась в том, что представители трех из семи старших цехов стали во главе управления городом. По этому случаю получают свою военную организацию и свои знамена еще два ремесленных цеха: плотники

и каменщики; торговцы старыми вещами¹⁾. Эти пять ремесленных цехов называют иногда средними (*arti mezzani, mezzi, artes mediae*); иногда двенадцать первых цехов называют старшими. Но, в конце концов, установилось общеизвестное деление: семь купеческих цехов — старшие, а четырнадцать ремесленных — младшие (*arti minori*). Девять остальных ремесленных цехов получили свою организацию и свои знамена в 1288 или в 1289 г. Это были: виноторговцы; трактирщики; торговцы солью, маслом и сыром; скорняки; оружейники; слесари; шорники; столяры; пекаря. Из перечисления четырнадцати ремесленных цехов видно, что в тогдашнее понятие «ремесла» входила также и мелкая торговля.

Вся эта эволюция направлена к одному: организовать горожан и с помощью этой организованной силы сломить власть дворянства и той части крупной буржуазии, которая его поддерживает. Это первое. Второе — создать такой порядок, который утверждал бы с величайшей возможной прочностью власть пополанов (*popolani*). Под этим названием подразумевалось все то, что не было дворянством, своего рода средневековое третье сословие. Оно делилось на три группы: цеховое купечество, крупные торговцы, крупные промышленники, банкиры, т.-е. старшие цехи. Из звали *popolani grassi*. За ними шла масса ремесленников, которая, в свою очередь, делилась на две группы: зажиточную часть мелкой буржуазии (*arti mezzani*); мелкие торговцы и мелкие ремесленники победнее (девять последних цехов). К этой же группе нужно присоединить ремесленников, которые не были организованы в цехи, но по своему экономическому положению были приблизительно равны девяти последним цехам. Третью группу составляет народ (*popolo minuto*). Это были квалифицированные и неквалифицированные рабочие, не входившие в состав цеха и в противоположность нецеховым ремесленникам не имеющие самостоятельного экономического положения. *Popolani grassi* и цеховые ремесленники были двумя группами политически

¹⁾ Торговцы старыми вещами (*rigattieri*) в XIII веке и еще много позднее совсем не похожи на теперешних старьевщиков. У них большие лавки и порою великолепные товары. Они скупают военную добычу у солдат, награбленное у разбойников, краденое у воров. А так как и сражений, и грабежей, и краж тогда было больше, чем теперь, то *rigattieri* делали отличные дела.

полноправной буржуазии. Нецеховые ремесленники и рабочие были лишены политических прав.

Пока речь шла о том, чтобы сломить господство «грандов», т. е. дворян, пополаны представляли единый блок, единую боевую силу. Цеховая часть и часть нецеховая шли рука об руку. Лицом к лицу перед общим врагом все были едины. Полноправная часть издает законы. Неполноправная эти законы приветствует. Когда нужно биться, бьются все вместе сплошной массой, плечо к плечу. Во всех законах, изданных начиная с primo popolo 1250 г. до Ordinaementa Iustitiae 1293 года—мотив один: сокрушить грандов. Мы знаем, что это факт общий для всей Италии в это время. Как проходила во Флоренции борьба пополанов с дворянством?

Уже конституция 1250 г. уничтожила дворянство, как организованную группу. Влияние дворянства, конечно, не умерло сразу, но в том устройстве, которое получила Флоренция, организованному дворянству места не было. Согласно этой конституции всякому, кто покушается на право народа, грозила смерть на виселице и конфискация имущества. А специально дворянства касалась особая статья. Если покушающимся на права народа будет граф, барон или дворянин, то его крепостные будут объявлены свободными, а все, кто держит от него землю на условиях службы, аренды или иных повинностей, получают свои участки в полную собственность. В конституции 1266 года это все было подтверждено. В 1280 г. капитан получил два своих совета в параллель к советам подесты) В 1281 г. была создана гражданская милиция в 1000 человек для поддержания порядка в городе, ясно направленная опять против дворян.

Появление приората в 1282 г. повело к уничтожению «Совета четырнадцати», созданного двумя годами раньше и включавшего в себя также представителей знати, а число приоров уже при вторых выборах было удвоено с трех до шести, (один—от каждого sestiere). Выбор их, активное избирательное право, принадлежал семи старшим и пяти средним цехам. Несколько месяцев спустя была создана новая должность защитника цехов (defensor artium), но из-за конфликта с капитаном (им был тогда Паоло Малатеста, возлюбленный Франческо да Римини) обе должности вновь были слиты (май 1283), а в июне было постановлено вооружить двенадцать цехов.

Это был уже второй отряд, созданный для защиты буржуазного государственного порядка против дворян. В августе 1286 года новый ряд законов обрушился на тех из дворян, которые отказывались дать обещание подчиняться складывающемуся мало-по-малу строю. А приора¹⁾ было предписано: «всемерно заботиться, чтобы ремесленникам, пополанам и слабым не было учинено какого-нибудь насилия или беззакония со стороны магнатов в городе и в округе». Законодательство постепенно приобретало настоящий классовый характер в пользу пополанов и против дворян. Суд сейчас же почувствовал это. Производство, направленное против дворян, сделалось чрезвычайно суммарным, и много несправедливостей, отличающихся за тираннию прежних лет, сознательно или бессознательно было причинено дворянам.

Но флорентинские горожане были слишком хорошими купцами, чтобы забыть о финансовом и вообще экономическом прессе. В середине 80-х годов был издан закон, уничтожавший старую императорскую привилегию дворян. Согласно этой привилегии феодальные бароны не подлежали обложению со стороны города. Теперь дворян обложили, притом согласно духу всего нового законодательства, гораздо тяжелей, чем горожан, владевших землею. Этот закон был и юридическим умалением и большой денежной тяжестью. Другая мера такого же характера была издана в августе 1289 года. Она запрещала дворянам продажу крепостных или других зависимых крестьян кому бы то ни было, за исключением коммуны. А если крестьянин узнавал, что его хотят продать, то закон предоставлял ему право выкупиться самому за ту же сумму. Этот закон стеснял дворян в распоряжении имуществом, но принципиально важным шагом в процессе эмансипации крестьян, вопреки прежнему мнению, не был, несмотря на торжественное вступление, многократно цитировавшееся¹⁾.

Дворяне в достаточной мере были утеснены этим законодательством, которое отнимало у них все влияние. Но горо-

¹⁾ Вот эти строки, автором которых ныне готовы считать Брунетто Латини: «Так как свобода, благодаря которой воля каждого зависит от собственного, а не чужого усмотрения, в силу естественного права многообразного украшается; так как свобода защищает государство и народы от утеснений, оберегает и умножает права, то мы решили ее и все виды ее не только сохранить, но и увеличить».

жанам этого казалось мало. Им казалось, что дворяне могут патворить много бед, пока их не поставят совсем — или приблизительно — вне закона. В 1293 году это и было сделано, в так называемых «Установлениях Справедливости», *Ordinamenti di Giustizia*.

В числе приоров срока 15 декабря 1292 г. — 15 февр. 1293 г. был Джано делла Белла, дворянин, умный, вдумчивый политик, энергичный человек с сильной демагогической жилкой. Он вместе со своими сторонниками и был инициатором «*Ordinamenti*» 18 января 1293 года, закона, который справедливо считают великой хартией вольности флорентинской республики. В нем две половины. Маленькая говорит об обще-конституционных вопросах, большая нагромождает с чрезвычайной обстоятельностью меры против дворян.

Основная конституционная мысль закона заключается в том, что цехи: старшие, средние и младшие, числом 21, являются основой политического устройства города. Полноправные члены цехов составляют то, что позднее во Франции назовут *peup légal*, — население, приобщенное к государственной власти. Цехи — все, числом 21 — дают клятву всегда защищать конституцию, законных властей, друг друга. Способ избрания приоров — совет приоров скоро будут называть синьорией — не был точно обозначен. Устанавливать его каждый раз приходилось *ad hoc* в совете капитана, в котором участвовали уходящие приоры, 12 старейшин старших и средних цехов и специально приглашенные «мудрые люди» (*sapientes*). Каждому из шести кварталов предоставлялось право поставить одного приора; седьмым должен был быть Гонфалоньер справедливости, о котором сейчас будет идти речь. Читатель помнит, что по конституции 1282 года было сначала три, потом шесть приоров, при чем каждый из шести старших цехов давал по одному, от разных кварталов. Судьи и нотариусы сначала были исключены, как цех не купеческий и пригом как более близкий из старших цехов, по своему положению к дворянам. О праве средних цехов не поднималось даже разговора. Потом судьи и нотариусы были допущены, и приорат стал делегацией старших цехов, как единой политической корпорации. Средние цехи не были исключены, но на практике их члены проходили в приоры крайне редко. Теперь, по *Ordinamenti*, право пассивного избирательного права в приорат принадле-

жало всем тем гражданам, которые постоянно (*centinuo*) занимаются торговлей, промышленностью, ремеслом и проч. и не имеют рыцарского звания, т.-е. не принадлежат к числу дворян. Это постановление допускало к приорату членов любого из 21 цеха и исключало дворян. Принцип ясен. В управлении буржуазной республики участвуют только те, кто занимается буржуазной профессией, занимается фактически изо дня в день. Править должен человек от прилавка или из мастерской, в засаленном фартуке, а не белоручка, политик-профессионал. Чтобы этих профессионалов разводилось поменьше, при двухмесячной продолжительности приората был принят чрезвычайно продолжительный, двухгодичный, *divieto*, т.-е. срок, до истечения которого нельзя было вновь занять должность.

Что касается дворян, то они вообще были лишены прав. Быть дворянином значило быть лишенным прав. Позднее из этого сделали дальнейший вывод. Если быть дворянином значит быть лишенным прав, то, очевидно, чтобы лишить прав кого бы то ни было, нужно сделать его дворянином. Это и стало одним из наказаний для пополанов. Смотри по вине делали дворянином и сверх-дворянином (*sopragrande*), что было равносильно различным степеням лишения прав. Буржуазное правосознание опрокинуло вверх дном все феодальные представления. Что в феодальную пору было величайшей честью — стало наказанием, т.-е. умалением чести.

Чтобы придать прочность новой конституции, в коллегии приоров был введен седьмой член, Знаменосец, или Гонфалоньер Справедливости (*Il Gonfaloniere di Giustizia*). В его распоряжение поступила созданная в 1281 году милиция, вскоре удвоенная, а потом учетверенная. Стоя во главе вооруженной силы, он должен был охранять конституцию и содействовать подесте и капитану. А для того, чтобы дворянам не пришлось в голову устроить какого-либо покушения на *Ordinamenti*, целый ряд статей грозил им чрезвычайно жестокими карательными мерами. В этой своей части *Ordinamenti* — самый настоящий исключительный закон, направленный против дворянства.

За малейшие покушения против личности и собственности пополанов (нападение, побои, нанесение ран, присвоение имущества), за который пополану полагалась по закону незначительная денежная пеня, дворянам грозили очень тяжелые наказания, вплоть до смертной казни. Нечего говорить, что за

убийство пополана, вооруженное нападение на его дом и другие более серьезные преступления кара увеличивалась чрезвычайно щедро. Замена смертной казни денежной пеней, процессуальная норма, хорошо знакомая флорентийскому законодательству, впервые была запрещена. Процедура суда над дворянами была очень упрощена, доказательства преступления облегчены до последних пределов. Исполнение совершалось с быстротой молниеносной. Члены дворянских семейств связаны круговой порукой, личной и имущественной. Гонфалоньер должен был находиться на страже, немедленно вступаться в дело. Ему же было поручено исполнение приговоров. Впоследствии эта последняя функция была передана специальному должностному лицу, не входящему в приорат: Экзекутору Справедливости (*Esecutore di Giustizia*). Гонфалоньер, примерно, до восстания чомпи был носителем представительных функций Синьории. После восстания чомпи он сделался фактическим главою правящей коллегии.

Ближайшие после издания *Ordinamenti* два года были чрезвычайно бурными. Вначале очень усилилось влияние младших цехов, которые провели ряд мер, подчеркивающих боевой, направленный против дворянства смысл нового закона. Дворянам было запрещено исполнять не только должность приоров, но и ряд других. Был составлен новый расширенный список членов дворянских семейств, усилена власть гонфалоньера, на сельских баронов распространены наряду с государственными коммунальные налоги и т. д. Душой этого движения был Джано делла Белла, ставший после оставления должности прибора лидером младших цехов. Магнаты, присмирившие непосредственно после издания *Ordinamenti*, теперь набрались смелости и заключили соглашение с *popolo grasso*, который испугался, что младшие цехи отнимут у них плоды их победы. Особенно энергичную поддержку дворянам оказывали судьи и нотариусы. Контр-атака дворян и крупной буржуазии была подготовлена. Ее первой жертвой стал Джано, которого отправили в изгнание без срока. Младшие цехи, лишённые своего смелого и энергичного руководителя, притихли, а старшие воспользовались этим и пересмотрели *Ordinamenti*. Главной переменной была та, которая допускала теперь дворян к приорату. Новая статья гласила, что приорами могут быть не только фактические торговцы и ремесленники, а и люди имматрику-

лированные в цехах. Получить матрикул ничего, конечно, не стоило, в то время как обйти иррежне правило, твердое и определенное, было невозможно: всем было ясно, работает или не работает — *continue* — в своем деле человек. Были кое-какие облегчения и в параграфах уголовно-правового характера. Дворяне могли вздохнуть несколько свободнее: девятый вал миновал. Но и старшие цехи были в выгоде. К ним — и только к ним — имматрикулировалась масса дворян, а поддержкой этих испытанных воинов пренебрегать было нельзя.

На этой коалиции воздвиглось господство гвельфской партии, *la parte guelfa*, которое длилось почти весь следующий век. После 1295 года в списках приоров мы встречаем только *popolo grasso*. Редко-редко мелькает имя какого-нибудь представителя средних цехов. *La parte guelfa*, или просто, *la parte*, партия, направляет политику, руководствуясь своими собственными интересами, т.-е. интересами крупного капитала. Основные моменты политики «партии» тоже стали складываться в это время. Это — расширение территории при помощи войн, ибо новая территория — новый рынок; перенесение в обложении главной тяжести на косвенные налоги; рабочая политика, стремящаяся к уменьшению заработной платы и к удешевлению себестоимости продукта.

Основное политическое устремление руководящих кругов буржуазии, направлявшее их деятельность в XIII веке, изменилось. Дворянство перестало быть опасным. Противник выдвигался: в среде самих цехов, где младшие ревниво глядели на растущее политическое влияние старших, а из-за спины младших уже глядели горевшие ненавистью глаза «приписанных», городского пролетариата. Но ощущать сколько-нибудь серьезно давление снизу крупная буржуазия начала не раньше второй четверти века, после того, как при выборах должностных лиц стал практиковаться жребий (1328). Да и то нужно было совершенно исключительное стечение неблагоприятных для *parte* фактов, чтобы власть ее пошатнулась. То были банкротства больших банкирских домов Скали и Моцци в 1327 году, неудача попытки олигархического переворота в 30-х годах, военные неудачи, особенно в борьбе с Луккой, чума 1340 года, предвестница Черной Смерти опустошившей Европу и Италию восемь лет спустя. Все это подточило власть *parte*, и городу пришлось прибегнуть

к старому средству, к призыванию синьора-чужака. Но синьор, призванный в 1342 году на определенных условиях, оказался очень энергичным и смелым авантюристом. То был Готье де Бриен, француз, называвший себя герцогом Афинским. Он принял власть, принял условия, но, утвердившись, сделал попытку при помощи коалиции из дворян и пролетариата превратить свою власть в тиранию. Его выгнало восстание всех классов населения, потому что его жестокость, его вымогательства, бесчинства вывели из терпения всех. Господство его длилось год с небольшим. Дворяне руководили восстанием и после его успешного окончания потребовали в виде награды отмены *Ordinamenti*.

Разумеется, им было отказано. Тогда дворяне решительно попробовали вооруженною силою стряхнуть с себя иго «кожевников и разносчиков». Они укрепились в своих дворцах, вооружили челядь и отчаянно сопротивлялись атаке горожан. Борьба 1343 г. описана почти гомерическими чертами у современных историков. Бились сначала по эту сторону Арно, род на род: первый натиск повели Медичи и Рондинелли против Кавичулли, и когда эти были сокрушены, соединившиеся родовые знамена последовательно принудили к сдаче Донати, Пацци и Кавальканти. Но самое трудное было овладеть мостами через Арно, ибо по ту сторону жили самые сильные вельможи, хорошо укрепившие все мосты. Долго дворяне отбивали приступы горожан. Мосты *Ponte Vecchio*, *Rubaconte*, *Trinitá* оказались неприступны. Все атаки на них были отбиты. Наконец, Нерли, защищавшие лишенный башен мост *Саггаја*, не выдержали, и городские хоругви устремились на ту сторону. Соединившись с горожанами Ольтрарно, защитники городской свободы без труда справились с Фрескобальди и Росси, но лишь после жестокого штурма, да и то путем диверсии, овладели почти неприступными позициями Барди, самого богатого и самого могущественного дворянского рода. Горсжане победили. С интригами знати этим не было покончено навсегда, но отныне она не делала таких попыток и стала постепенно растворяться в составе буржуазного населения.

Буржуазия старших цехов почувствовала, что победа дворян может вырвать господство из ее рук, и, подобно тому, как это было в 1293 году, поняла, что без поддержки средних

и мелких цехов ей не удастся отстоять свою власть против покушений со стороны магнатов. Чтобы обеспечить себе эту поддержку, *popolo grasso*, сейчас же после одоления дворян, провело реформу приората в таком духе, что средние и низшие должны были остаться довольны. Количество приоров было увеличено до 8 ¹⁾. Трех выбирали средние цехи из своей среды, трех—младшие и лишь двоих—старшие. Гонфалоньер поочередно ставился каждой из трех групп. В такой же пропорции были распределены места в других советах.

По наружности правление стало более демократичным, но на деле *la parte* сохраняла свою руководящую роль. Эти дельцы отлично понимали свои интересы и умели вести управление таким образом, что мелкой буржуазии, ремесленникам, оставались крохи, а пролетариат был совершенно лишен прав и отдан в жертву предпринимателям. Конечно и мелкая буржуазия, и пролетариат были недовольны и ждали только случая, чтобы посчитаться с *parte*. Та между тем становилась все наглее в сознании своей силы. Было изобретено очень остроумное средство, с помощью которого легко устранялись с политической арены противники. Это—так называемая *аммоничия*, *ammonizione*. Она заключалась в том, что людям, которые казались неудобными или опасными, запрещалось вступление в общественные должности под предлогом, что они принадлежат к числу знати или к партии гибеллинов. Если те, несмотря на предупреждение, принимали должность, им грозила разорительная пеня, изгнание, даже смертная казнь. Этим путем крупной буржуазии довольно долго удавалось сохранять за собою власть, но время тирании еще не пришло. Оппозиция поднялась сначала внутри самой *parte*. Руководящая роль в ней была в руках семьи Альбицци, сторонников дальнейшего союза, несмотря ни на что, с дворянами. Альбицци и их единомышленники думали, что после поражения 1343 года дворянство не может быть угрозой для гегемонии *popolo grasso*, и не хотели терять поддержки опытного в военном деле рыцарства в своей внешней политике. Это была точка зрения не 1293, а 1295 года. Против нее восстала другая группа

¹⁾ Незадолго перед этим Флоренция была вновь поделена на кварталы, при чем вместо прежних шести их стало четыре. Так что на кварталах теперь приходилось по два приора.

е семью Риччи во главе. Эти считали необходимым опираться на младшие цехи и боялись дворян, совсем как в 1293 г. Шла борьба. Перевес был на стороне Альбицци.

14. Социальная борьба во Флоренции в XIV веке.

Социальная борьба во Флоренции XIV века — не только флорентийское явление и даже не только итальянское. Она принадлежит истории культуры вообще. И в этом отношении Флоренция была лабораторией, в которой ставились в большом стиле социальные опыты. Мы находим там первую в Европе капиталистическую организацию производства, первую настоящую борьбу классов, первую социальную революцию, первую диктатуру пролетариата. И мы увидим, что идеология совсем не была чужда всем этим фактам.

Для нас не вполне ясны те процессы, которые к концу XIII века разбили однородную более или менее массу горожан на три больших группы: капиталистов, ремесленников и рабочий пролетариат.

Капиталисты делятся на три группы: банкиров, купцов и промышленников. Но это только теоретически. Торговый капитал един. Наиболее крупные представители кредитного дела в XIII веке — члены цеха *Calimala*, а не *Cambio*, напр. все Барди. Почти нет банковской фирмы, которая не занималась бы торговлей. Почти нет промышленников, которые не были бы купцами. Почти нет купцов, которые не вкладывали бы своих денег в промышленность или в кредитное дело. Крупная промышленность — суконная, а потом шелковая — организована на торговый лад. Во главе каждого предприятия — купец. Крупный капитал дает тон всему. Он называется *arti maggiori* и правит государством. Он называется *la parte guelfa* и направляет политику. Он называется *Calimala*, *Lana*, *Seta* и держит в руках мировой рынок. Он называется *Cambio* и берет проценты по государственным займам.

Торговый капитал концентрируется все больше. К концу XIII века было около 300 суконных фирм. В 1338 их осталось 200, но все стали гораздо крупнее. Всё производство, как сукна, так потом и шелковых материй, было рассчитано на внешний рынок. Флоренция, ее область (*contado*) и Италия потрещали мало. Но на внешнем рынке флорентийское сукно

господствует безраздельно около двух столетий. Даже завоевание Константинополя турками не прервало торговых связей Флоренции с Востоком. И это при чрезвычайно неблагоприятных именно для внешней, особенно заморской торговли обстоятельствах. У Флоренции не было ни своего порта ни своего флота. Она пользовалась портом Пизы, но с Пизой гораздо больше у нее была война, чем мир. Тогда превосходный пизанский порт приходилось заменять плохеньким сиенским, Теламоном. Только в 1406 году, после завоевания Пизы, все это изменилось к лучшему.

Флоренция держала заграничный рынок благодаря двум особенностям своего фабриката: его прекрасным качествам и его дешевизне. То и другое нужно было поддерживать: иначе грозила потеря рынка. Качество поддерживать было нетрудно. Традиция была прочно выработана. Окраска и анпретировка тонких флорентийских сукон не знали конкурентов. Но, чтобы поддерживать дешевизну, необходимо было выжимать соки из рабочих. Так и делали. Традиция и тут выработала приемы, прекрасно отвечавшие целям и выгодам предпринимателей.

Рабочие в цехе ¹⁾ не пользовались никакими правами. Они, разумеется, не только не были *veri artifices*, т.-е. полноправными мастерами, но и в числе подчиненных, *suppositi*, занимали низшее место. Выше них стояли факторы, ученики, подмастерья, т.-е. те, кто мог тешить себя надеждою стать когда-нибудь мастером. Эти последние платили матрикулярные деньги. Рабочие их не платили. Работа их была сосредоточена в помещениях около *bottega*, лавки, где сидел хозяин и продавал продукт. Только отдельные процессы сдавались на дом. Прядение шерсти было сдано почти целиком в деревню в избы кустарей. Ткачи были и в деревне, и в городе. Из дальнейших стадий только наиболее важная, окраска, была выделена: она требовала сложных приспособлений. Всё остальное: валяние, чесание, разглаживание, анпреттура, приемка и проч. — производилось в больших помещениях при лавке. Работа шла под строжайшим надзором. Рабочие целиком были во власти хозяина.

¹⁾ Практику, выработанную в Лала, потом воспринял почти целиком Seta с теми отклонениями, которые вызывались различием техники шерстяного и шелкового дела.

То представление, которое мы привычно соединяем с названием цеха и которое сложилось, главным образом, на фактах немецкой экономической истории, к Италии вообще, к Флоренции в частности и особенно к Флоренции XIV—XV веков совершенно не подходит, поскольку речь идет о старших, купеческих цехах. Той патриархальной атмосферы, которая царила в немецкой мастерской и которая так чудесно изображена в новелле Э. Т. А. Гофмана «Мартын-Бочар и его подмастерья» — в предпринимательских цехах Флоренции этого времени нет и в помине. Верность хозяину, преданность его интересам, — все это вещи очень естественные там, где подмастерье совершенно уверен, что станет сам мастером и, быть может, унаследует мастерскую своего хозяина, — не произрастают в боттегах на берегу Арно. Там — не верность, а контракт, суровый, беспощадный, который своими железными параграфами, как ошейником, душит рабочего. Рабочий живет не в патриархальной мастерской, а на фабрике. Он работает под строжайшим надзором факторов. Его контролируют не раз и не два, и всякое упущение заставляют оплачивать не его грошевого заработка. Красильщик приносит выкрашенное сукно. Оно пересматривается все, промеряется: не украд ли, и если маленькое пятно попало на него, красильщик платит штраф. Жаловаться некуда. Ни цеховый суд, ни суд государственный не вступятся за рабочего.

Его сковывают тройные оковы: хозяйственные, корпоративные, государственные. Прежде всего чистая экономика: голод гнал рабочего в боттегу предпринимателя, и тот диктовал ему свои условия. Когда он становился на работу, его сейчас же оцупывала сложная, детальная сеть цеховых постановлений, перечислявших, чего он не имеет права делать. Цех имел свой суд и свою полицию. Уставы писались предпринимателями. Ясно, что говорилось в них о правах и обязанностях рабочего. Наконец, если цеховых уставов было недостаточно, предпринимателям ничего не стоило провести соответствующий закон через государство. Мы знаем, что власть находилась целиком в руках старших цехов. Современным капиталистам и во сне не снится, в какой мере государственная власть во Флоренции XIV века была подчинена интересам предпринимателей.

Рабочий в управлении цехом участия не принимал. Из числа полноправных граждан он был исключен. Чтобы лишить его возможности броситься на революционный путь, цеховые статуты запрещали ему самым строжайшим образом устройство собраний и союзов, отнимали у него малейший намек на право коалиций. При этих условиях эксплуатация была легка. Заработная плата назначалась мастером, менялась тогда, когда ему было угодно, платилась так, как ему было угодно. Мы знаем случаи, когда за предпринимателем оставались какие-то деньги, которых от него не могли получить в течение нескольких лет. Предприниматель мог рассчитать рабочего во всякое время, без объяснения причин, но в моменты, когда предложение труда сокращалось, специальные постановления цехов и синьории старались прикрепить рабочих к ремеслу, запрещали им возвращение авансов деньгами, а требовали отработки: чтобы не переманил конкурент¹⁾.

В благополучные времена рабочие только-только существовали. А как только начинались кризисы, они немедленно оказывались на пороге голодной смерти. И средние десятилетия XIV века как раз были полны такими событиями, которые то и дело порождали кризисы. К чему это должно было привести? Рабочие все-таки были флорентийцами, жителями города, в котором политическая жизнь была ключом, как ни в одном другом в Европе, где политика насыщала все, где все были политиками до самого последнего scardassiere или stamaniolo. Сколько раз цеху приходилось вооружать рабочих и вести их на улицу! Сколько раз их дюжие руки помогали одерживать победы! Естественно им в голову должна была прийти мысль: если они могут биться за цех, который их притесняет, еще лучше они могут биться за себя. Если они могут побеждать для старших цехов или для parte, почему им не попробовать победить для себя. Побеждая для других, они возвращаются на свою фабрику израненные, окровавленные, с поредевшими рядами и продолжают вести прежнее

¹⁾ Были и другие способы наживаться на счет рабочего. Во Флоренции в 1252 г., когда появился золотой флорин, установились две денежные системы: одна хорошая, устойчивая, для расчетов с заграницей; ее основой был флорин. Другая — колеблющаяся, основой которой была мелкая серебряная монета, которая при размене на флорин, всегда требовала лажа. Ею расплачивались с рабочими и кустарями.

полуголодное существование. Если им удастся победить для себя, может быть, будет житься хоть немного сытее.

Прийти к пониманию этих вещей рабочим помогала коммунистическая проповедь. Ее приносили в рабочую среду все те же агитаторы-коммунисты, которые несли ее в среду бедняков и в XII и в XIII веках: монахи. Теперь это были представители радикального крыла миноритов, т. наз. *fraticelli*, братчики, изгой монашеских орденов, страстные, экзальтированные, упорные, умеющие и зажечь большую толпу, и вести пропаганду от человека к человеку. То в форме пророческих видений, то в форме прямых проповедей несли они к голодным рабочим идеи коммунизма. И, конечно, встречали горячее сочувствие. Несмотря на то, что эти идеи обволакивала религиозная оболочка, сущность доходила куда нужно и прочищала мозги.

Другими словами, классовое сознание пролетариата в Европе родилось не в XVIII веке, а в XIV. И флорентийские рабочие шерстяной промышленности были первой пролетарской группой, которая начала организованную борьбу против капитала.

Положение рабочих становилось особенно тяжелым при промышленных кризисах. Сотнями и тысячами их выбрасывали на улицу. Безработица обострила боевое настроение, и оно выходило наружу при мало-мальски удачном случае. Когда в 1342 году герцог Афинский стал тиранном и захотел упрочить свою власть классическим способом, опираясь на низы, — флорентийские рабочие выступили впервые, как класс. И притом двумя отдельными группами. Все рабочие центральных мастерских при боттегах пошли вместе и вместе били челом. Мы не знаем того, чего они просили у герцога. Они получили организацию, но не цеховую, а боевую. Каждый из рабочих этой группы получил панцирь, а все вместе — свое знамя, с изображенным на нем архангелом Гавриилом. Герцогу лично было гораздо важнее, чтобы у рабочих была военная организация, чем чтобы у них был цех. А так как, очевидно, эта группа не просила определенно цехового устройства, она его и не получила. Иначе действовала группа более квалифицированных рабочих — красильщики. Они подали герцогу петицию (23 ноября 1342 г.), в которой очень обстоятельно и очень толково изложили и свои жалобы и свои пожелания. Эта петиция показывает, что красильщики отлично

понимали, что им нужно, чтобы выйти из того жалкого положения, в котором они находятся. Они требуют своего цеха, т.е. свободы коалиций и политического равноправия. В петиции говорится, что красильщики совершенно порабощены цехом Лапа и доведены до величайшей бедности, что предприниматели часто четыре-пять лет не выплачивают полностью денег, заработанных красильщиками, а когда, наконец, платят, то платят по собственному усмотрению. Если рабочие вздумают жаловаться, то в качестве судей они находят консулов цеха, т.е. представителей предпринимательского класса, которые оценивают труд рабочих с точки зрения своих интересов. Словом, произвол так велик, что, если не хотят, чтобы красильщики пришли окончательно в упадок, им должны помочь, и немедленно. Вывод: красильщики просят разрешения организовать свой цех с правами и обязанностями остальных цехов. Герцог дал им это разрешение, цех был основан. Но он был ликвидирован вскоре после изгнания герцога, не существовавши и года. Правда, очевидно, взамен вновь утраченных цеховых прав, красильщики получили место в совете консулов цеха: число последних по этому случаю было увеличено с 8 до 9, и голос красильщиков стал все-таки раздаваться в заседаниях цехового совета.

Неквалифицированные рабочие после изгнания герцога Афинского, которому они очень способствовали, тоже лишились своей организации. Знамя с архангелом припрятали до лучших времен, и всем пришлось вернуться к прежнему голодному и забытому существованию. Но теперь они уже попробовали другого и не хотели подчиняться, не попытав борьбы. Начались стачки. Вот какой факт записан в хрониках. Некий Чинто, чесальщик, с двумя сыновьями хотел собрать собрание около церкви Санта Кроче и устроить «заговор» с другими рабочими флорентийскими: чесальщиками и ворсильщиками. Чинто арестовали. Когда рабочие узнали об этом, сейчас же все бросили работу. Они объявили, что не будут работать, если не будет выпущен Чинто. Пошли к приорам просить, чтобы те распорядились выпустить Чинто целым и невредимым (*zapo e lieto*). Они все поставили вверх дном, чтобы вернуть Чинто «здоровым и веселым». «А также хотели, чтобы им была увеличена заработная плата». Над рассказом стоит дата «1345 год», а от картины идет типичный аромат XIX

или XX века. Тут Чинто освободили, но из стачки ничего не вышло. Момент был выбран неудачный. Уже ходили зловещие слухи об отказе английского короля платить по обязательствам и о банкротстве банкирских фирм Барди и Перуцци. Волнение в городе было большое, потому что прекращение платежей этими двумя фирмами должно было повести за собою разорение всех вкладчиков. А их было подгорода. Все производства готовы были сокращать работу, пока не выяснятся все обстоятельства с Барди и Перуцци. Стачка не могла иметь успеха.

Красильщики и в деле стачечной борьбы поступили осмотрительнее, чем низшие рабочие. Они дождались такого момента, когда промышленность испытывала большой подъем. Это было в 1370 году. Но между 1345 и 1370 Флоренция пережила многое. Черная Смерть 1348 года, опустошившая город и contado, особенно свирепствовала именно среди неквалифицированных низших рабочих всех производств. Условия питания, жилищные условия—все делало их легкой жертвою страшной азиатской гостыи, и когда эпидемия утихла, оказалось, что работать некому. Разумеется, оставшиеся в живых подняли требования. Промышленники не могли сразу решиться платить больше: нужно было или отказаться от части прибыли или рисковать потерять рынки. Они пытались в законодательном порядке прикрепить рабочих к ремеслу, выписывали рабочих из других частей Италии и из-за границы. Но кризис был так велик, а обезлюдела Италия так сильно, что вначале никакие меры помочь не могли. Приходилось соглашаться на пред'являемые условия. В первое время ~~время~~ рабочие хорошо заработали, но через три-четыре года промышленники справились с кризисом на рынке труда¹⁾.

К концу 60-х годов начался другой промышленный кризис, вызванный войною с Пизой и бесчинствами наемных отрядов, перерезавших все дороги. Он кончился в 1370 году. Промышленность расцвела — и тут-то красильщики пред'явили

¹⁾ Этот кризис больше всего грозил мелким предприятиям, которым трудно было выдержать долгое время высокую заработную плату. Крупные платили сколько нужно, лишь бы иметь рабочих. Тогда цех решил тряхнуть старинною и заступился за мелких. Было запрещено кому бы то ни было держать больше четырех рабочих каждой отрасли. Это было в марте 1351 г.

свои требования. Им отказали. Началась стачка, длившаяся два года. Государство пришло на помощь цеху. Зачинщики и виновники были присуждены к тяжким наказаниям. Но рабочие были нужны. Поэтому сейчас же была объявлена амнистия, а некоторые суровые правила, регулирующие приемку и контролирование крапешных материй, были даже смягчены. Заработная плата осталась та же. Стачка, следовательно, не привела к цели, несмотря на все жертвы рабочих.

Пролетариат хорошо был начинен взрывчатыми настроениями, когда в 1378 году его вновь повели на улицу. Тут впервые его враги дали им презрительную кличку «оборванцев» (*ciompi*), которая сделалась столь славной в истории социальных движений.

Флорентинские летописцы аккуратно отмечают роль чомпи в городских смутах; у них рабочие фигурируют обыкновенно в малопривлекательной роли громил, которые после победы предаются грабежу. Это было очень удобно для буржуазии, из среды которой обыкновенно выходили летописцы: честь приписывается цехам, а все бесчестное—нецеховой «сволочи», но на деле распределение благородного и позорного бывало гораздо сложнее. Цехи никогда не выкидывали знамени, не собрав под него столько рабочих, сколько можно было найти, и этот факт свидетельствует, что «оборванцы» умели подчиниться дисциплине. Так было и теперь. Они помогали цехам сокрушить Альбицци, и, когда буржуазия не дала им за это ничего, они решили предъявить свои собственные требования.

15. Восстание чомпи.

В 1378 году Флоренция вела скучную войну с римской курией. Война, хотя и мелкая, поглощала много денег, и приходилось изыскивать средства для покрытия расходов на содержание войск. La parte пользовалась этим обстоятельством в своих личных целях, облагая враждебных себе представителей средней буржуазии. Одно обстоятельство мешало вождям parte чувствовать себя вполне хозяевами положения. Ведение войны было вверено чрезвычайному военному совету восьми, который получил название «Восьми Святых». В этом совете не было ни одного представителя parte. А вокруг «Святых» группировались вожди средней буржуазии. Но уже в 1377 г.

la parte сумела пробить брешь в неприятельской твердыне. Умер один из восьми, и ей удалось на его место поставить своего человека. Путем постепенной замены, гвельфы надеялись без большого и шумного насилия завладеть этой последней позицией своих врагов. Она была им чрезвычайно важна, ибо в руках «Святых» находилась военная сила. А пока что, они не забывали своего излюбленного оружия. Коса аммонии работала во-всю. С 15 октября 1377 года по 14 июня 1378 современники насчитывали от 64 до 90 аммоний. Средняя буржуазия теряла терпение.

Во главе гвельфов стояли и теперь представители фамилии Альбицци. Главою их был Пьеро дельи Альбицци. Но настоящим вождем и руководителем parte был юрист Лапо да Кастильонкио, ловкий, образованный, умный делец, диктовавший parte все ее мероприятия и умевший находить для них необходимое законное обоснование. Главою средней буржуазии, как и раньше, считалась фамилия Риччи. Но оба представителя ее, Угуччоне и Россо деи Риччи были стары, утомлены борьбою и фактически выбыли из строя. Их заменили молодые и полные энергии Сальвестро Медичи, Бенедетто Альберти, Джорджо Скали, Томмазо Строчци. Из этой компании Сальвестро Медичи не был ни самым даровитым, ни самым преданным партии. Но он пользовался огромным влиянием в народе. Поэтому parte очень его боялась. И когда 1 мая 1378 года при новых выборах он попал в гонфалоньеры, parte почувствовала, что ей предстоит тяжелая борьба.

Сальвестро и его товарищи, новые приоры, решили целым рядом мер укрепить свою популярность в народе. Они в широких размерах покупали и раздавали народу хлеб, делали запасы муки, запретили вывоз мяса и неустанно напоминали «капитанам», т.-е. выборным вождям гвельфской parte, о том, что они не имеют права чинить несправедливостей гражданам. La parte сначала притаилась и стала выжидать, но очень скоро не выдержала. Аммония снова обрушилась на двух граждан. Один из них был Джорджо Скали, а другой—Джованни Дини, член «Восьми Святых». Parte поставила крупную ставку—и проиграла. Лучшего предлога для открытия военных действий Медичи не мог пожелать. Он подговорил друзей подать Синьории петицию, требующую обуздания parte и восстановления законов доброго старого времени, не дававших воли

тиранническим поползновениям, откуда бы они ни исходили. Среди приоров были сторонники *parte*, и Сальвестро с друзьями знали, что петиция не пройдет без борьбы. Поэтому они с утра (это было 18 июня) разослали своих людей звать народ ко Дворцу Приоров, и к моменту заседания Площадь Синьории была полна. Когда в Синьории стали раздаваться возражения, Сальвестро отправился в соседний Дворец Капитана и стал отказываться от должности, говоря, что он не может вправиться с тиранией *parte*. Пока Народный Совет под председательством Капитана уговаривал его остаться у власти, Бенедетто дельи Альберти распахнул окно Дворца Синьории и стал кричать: «Да здравствует народ!» В ответ загудела площадь. Тысячеголосый гул «Да здравствует народ! Да здравствует свобода!» понесся по городу.

Флоренция хорошо знала значение этих криков. Они всегда были предвестниками свалок и кровопролития. Поэтому, в то время, как приоры, перепуганные, торопились принять петицию, по всему городу захлопывались двери лавок и ставни в домах, опускались железные решетки, а люди торопились надеть панцири и схватить оружие. Цеховые знамена появились на улице, и каждый спешил стать поскорее под свое. Однако целых три дня никаких серьезных столкновений не было. Вожди *parte*, решившиеся было поднять оружие и силою принудить синьорию к подчинению, увидев угрожающее положение ремесленников и рабочих, передумали и стали выжидать. Народ лихорадочно отдался организации сил, а Сальвестро с друзьями пользовались передышкой, чтобы вести пропаганду в рабочей среде. Во вторник 22 июня чомпи — в этот день они будут обречены этим именем — вышли на улицу, взвинченные агитацией и всей напряженной атмосферой. Едва ли более спокойны были ремесленники. Они три дня были под оружием, и их возбуждение тоже требовало выхода. Синьория приняла решение, отменявшее последние аммонции. Это уже никого не могло удовлетворить. Ремесленники и чомпи были собраны на площади, повидимому, по приказанию Сальвестро. Люди Бенедетто дельи Альберти, Джованни Дини и других толклись между рабочими из Лапа, — и толпа вдруг нашла свое решение. Она бросилась к мосту Рубаконте, где стояли дома Лапо да Кастильонкио, его сыновей и родственников, со знаменем цеха меховщиков впереди. Все, что имело

хотя бы отдаленное отношение к ненавистному вождю *parte*, было разгромлено и сожжено. Сам Лапо едва спасся от ярости толпы в монашеской рясе. Та же участь постигла дома Альбицци, Буондельмонти, Кавичудли, Гуаданьи и других видных вождей *parte*. По дороге разбили тюрьмы и выпустили заключенных, а потом толпа бросилась к монастырям Santa Croce, Santa Maria Novella, S. Spirito, Degli Angioli, куда гвельфские богачи свезли самое ценное из имущества. Монастыри были разграблены, при чем было перебито несколько монахов, оказавших сопротивление. Но попытка разбушевавшихся рабочих разграбить казначейство (*la Camera del Comune*) была остановлена ремесленниками. Толпу пытались успокоить двумя способами. Один из приоров приказал сопровождавшей его милиции повесить нескольких грабителей, захваченных с церковными ценностями в руках, а Синьория назначила специальную комиссию (*balia*) для восстановления справедливости. Целый ряд ammonированных получил частично вновь свои права, а вожди *parte* приговорены к разного рода наказаниям. Лапо и другие главные виновники были изгнаны, иные просто сделаны дворянами, что теперь если не лишало политических прав, то во всяком случае означало существенное их умаление. Потом был создан специальный орган, Сообщество Свободы, *Consorteria Libertatis* для поддержания свободы и наказания ее врагов.

Эта фаза движения носила характер чисто политический. Все усилия были направлены против *parte* и возглавлялись политическими противниками *parte*. Главными действующими лицами были младшие цехи, к которым рабочие примыкали пока пассивно. И результат был чисто политический: сокращение *parte*, восстановление тех политических прав младших цехов, которые были ими завоеваны в 1343 г. и потом узурпированы усилившейся *parte*, возвращение силы закона Уставлениям Справедливости. В течение июня все соответствующие законы были выработаны.

Синьория кончила свой срок 1 июля. Сальвестро Медичи был торжественно отведен домой. Новые приоры вступают в должность, наоборот, очень скромно: без колокольного звона, без всенародной присяги на площади. Гонфалоньером — Луиджи Гвиччардини, серенький, бесцветный человек. И вся Синьория серенькая, бесцветная.

Аммонированные вели энергичную агитацию за полное восстановление в правах. Младшие цехи требовали себе больше политических прав. Первая петиция младших цехов была подана 9 июля и была немедленно принята приорами. Она ставила тесные рамки практике аммонии, усиливала влияние синьории, вводя ее членов в состав Консортерии Свободы, утверждала за действительными ремесленниками и отнимала у фиктивных некоторые привилегии по занятию должностей, исправляла избирательную процедуру, которая в руках *parte* была явным и тенденциозным мошенничеством. Вокруг петиции поднялся шум. Младшие цехи и рабочие продолжали волноваться и не хотели класть оружие. Погромы были 11 июля. Шесть дней спустя пришла весть о заключении мирных предварительных с курией, и власти, отделившись от тяжелой работы, как будто стали менее снисходительны к бесчинствам в городе. Чомпи стали опасаться репрессий за июньские погромы. 18 июля они собрались в потаенном месте, в одном тупике (*nel Ronco*) около церкви *S. Pier Gattolino*. Здесь было вновь развернуто народное знамя с архангелом Гавриилом. Мы не знаем толком, о чем там говорили ¹⁾. Но совещание кончилось очень целесообразным организационным актом. «Клятвой и целованием» все рабочие обязались друг перед другом стоять крепко за общие интересы, основали пролетарский «Союз Защиты» и выбрали 32 синдиков в качестве своих представителей. Были и другие собрания.

Синьория узнала о том, что рабочие волнуются. Полиции удалось захватить нескольких заговорщиков, и те о многом рассказали: их подвергли пытке. Были названы имена вождей, в том числе Сальвестро Медичи. Сальвестро был вызван на допрос, но отрекся от какого-либо участия в замыслах рабочих. В то время, как во Дворце Синьории пытали рабочих и допрашивали Сальвестро, там же чинил башенные часы часовщик. Он все видел и побегал рассказать главарям чомпи. Это было вечером 19 июля. К утру толпа рабочих, к которым примкнула и часть младших цехов, собралась на площади, чтобы требовать освобождения арестованных. Синьория знала о готовящемся нападении и заранее вызвала для своей

¹⁾ Маккиавелли в «*Ist. Fior.*» вкладывает в уста одного из их вождей замечательную речь, но она характеризует его собственные взгляды, а не взгляды пролетариата XIV в.

защиты войска и милицию. Войска не явились, а из 16 отрядов милиции пришло два, да и те немедленно вернулись, оценив положение. Приоры оказались окруженными негодующей толпою в несколько тысяч человек. Все-таки они нашли в себе мужество отказать в выдаче арестованных. Толпа сначала хотела поджечь Дворец, но передумала и устроила легкую диверсию: пошла, сожгла дом гонфалоньера и вернулась, чтобы повторить требование. На этот раз арестованных вернули, но не всех. Часть находилась в доме Экзекутора Справедливости. Рабочие пошли туда, получили своих товарищей и кстати захватили Знамя Справедливости, государственную хоругвь Флоренции, там хранившуюся. Остаток дня прошел в том, что жгли и разрушали дома ненавистных рабочим людей, при чем было строжайше запрещено утаивать что-либо, и произвели в «рыцари народа» наиболее популярных своих сограждан. Ночь прошла в приготовлениях к дальнейшей борьбе.

Следующий день начался проливным дождем. Приоры укрепились во Дворце и снабдили его продовольствием, готовясь к осаде. Народное войско состояло теперь из всех цехов, за исключением Лапа, и из всех рабочих. С ними были некоторые из Восьми Святых. Было решено, что местопребыванием их правительства будет Дворец Подесты¹⁾. Они двинулись к нему и взяли его штурмом после короткого сопротивления. Потом были взяты дворцы Капитана и Экзекутора. Обладая укрепленной — Барджелло был настоящей крепостью — резиденцией, революционный народ вступил в переговоры с властями. Тут-то и были составлены и поданы Синьории — цехами отдельно, пролетариатом отдельно, — знаменитые петиции. Петиция цехов развивала и расширяла положения первой, поданной 9 июля. Она еще больше сокращает практику аммонии, еще больше ограничивает права капитанов *partę* и вознаграждает потерпевших от тирании последней. Она усиливает участие popolo в том из советов Подесты (*consiglio del Comune*), куда допускались дворяне. Наконец они требовали учреждения цеха для *popolo minuto*. Рабочие подали две петиции. С точки зрения кодификаторской стройности они не могли идти в сравнение с петицией цехов. Но они несравненно важнее по

¹⁾ Барджелло, где теперь Национальный Музей.

содержанию. В них впервые в европейской истории ясно выражена та мысль, что политические завоевания являются единственным верным путем к осуществлению социальной реформы. Флорентийский пролетариат, *сіомрі*, бившийся за принцип полного политического равноправия для всех, понял ту истину, которую много веков спустя чартистские ораторы будут повторять английским рабочим, а Лассаль—немецким: только решение политического вопроса открывает дорогу для решения социального. Кончая 21 июля, революция 1378 года носила политический характер. С этого дня она становится социальной революцией.

Петиции рабочих подробно излагали программу требований пролетариата. Они требуют упразднения должности *ufficiale forestiere* в Лапа, который проводит политику выжимания соков из рабочих в цехе. Они требуют для себя четвертой части всех мест в Синьории и других советах, а также в народной милиции; кроме того, цеховой организации с 8 консулами и еще 32 представителей *popolo minuto*; справедливого распределения налогов; человеческих условий работы в производствах, где они заняты; полной амнистии за все содеянное, начиная с 18 июня; вознаграждения своих друзей с Сальвестро Медичи во главе и наказания врагов.

Когда приоры получили три петиции, они даже не подумали обсуждать их подробно. Утренний ливень не освежил воздуха. Жара была угнетающая. А делегация из Барджелло торопила. Все три петиции были проголосованы и приняты *en bloc*. Совет Капитана принял их сейчас же после Синьории. Оставался Совет Подесты. Его решение, которого слегка побаивались—там участвовали дворяне,—должно было быть вынесено на завтра.

Совет Подесты собрался 22 утром и обсуждал петиции при криках толпы, наполнявшей Площадь. Опасения оказались напрасны. Петиции прошли. Это была последняя инстанция. Петиции стали законом. *Popolo minuto* получил два места в Синьории и потребовал немедленного исполнения. Из толпы стали раздаваться крики: «Долой приоров! Пусть уходят! Да здравствуют Восемь Святых!» Пока приоры, полумертвые от страха, убегали из Дворца—гонфалоньер Гвиччардини поддал пример,—а Восемь собирались занять их места, произошел новый перелом.

В Совете Восьми и вокруг него группировались все враги *parte*, все вожди ремесленной мелкой буржуазии. Они начали революцию, чтобы заменить во главе управления людей *parte* своими людьми. В июньские дни *parte* была побеждена. В июньские дни они все время были с народом, руководили им и заслужили его доверие. Изгнание приоров и замена ими самими Синьории давали им торжество окончательное. Так они думали, ибо все до сих пор шло согласно их планам и предначертаниями. Он были убеждены, что те уступки, политические и социальные, которые они сделали рабочим, окажутся вполне достаточными. Но тут их ждало разочарование. У чомпи оказалась своя политика, а они вместо того, чтобы стать хозяевами положения, должны были сделаться лишь политическими советниками рабочих.

Пока они, сидя в зале приоров, обсуждали, кого посадить на место убежавших,—на площади заколыхалось Знамя Справедливости. Молодой чесальщик шерсти Микеле ди Ландо ¹⁾, бедно одетый, в сандалях на босу ногу, схватил его и устремился к серой громаде Дворца Синьории. Толпа с криками «*viva il popolo!*» хлынула за ним. Во Дворце у чомпи были друзья, которые открыли им двери, и вскоре здание флорентийского правительства было в руках народа. И не только здание. Власть была в руках народа. Когда Микеле первый вошел в залу заседаний Синьории со Знаменем Справедливости в руках, он был сейчас же окружен рабочими, которые тут же единогласно решили вручить своему молодому вождю высшую должность в республике — сан гонфалоньера. Один из самых богатых в мире городов должен был получить свое правительство из рук полуголодных, оборванных рабочих. Никаких коллег Микеле не получил. Так что некоторое время он был диктатором Флоренции: Микеле ди Ландо, рабочий-чесальщик, в сандалях на босу ногу и в куртке из грубого сукна, избранник флорентийского пролетариата. Будь толпа настроена по-другому, диктатура пролетариата водворилась бы не только символически, в виде Микеле, но и фактически.

У этих санкюотов — как назовут такую же толпу четыреста лет спустя, в эпоху великой французской револю-

¹⁾ В этот момент он занимал место фактора в чесальной мастерской, принадлежащей одному из Альбицци. Раньше он служил солдатом.

ции — оказалось столько благоразумия и политического такта, их избранник обнаружил такой крупный организаторский талант, что трудное дело устройства города после революции было налажено в несколько дней. Все понимали, что одним рабочим, которых было всего около 13.000 человек, без содействия цехов дело реформирования государственного строя Флоренции не под силу. Достаточно было того, что против реформы будут *parte, Запа, а может быть и другие arti maggiori*. Содействие младших цехов представлялось совершенно необходимым. Поэтому сейчас же после своего избрания Микеле призвал Сальвестро Медичи, Джованни Дини, Томмазо Строцци и других и оставил их около себя в качестве советников. Это обеспечивало поддержку младших цехов. Коалиция между мелкой буржуазией и пролетариатом наложила свою печать на все правление Микеле. И его советники и сам он видели в этом блоке залог прочности нового порядка. Поэтому Ландо велел звонить в колокола, собрал народ на площади, и так как никакой другой власти, кроме него, gonfalonьера, да комиссии из 32 выборных чомпи, в городе не было, предложил присоединить к этому собранию цеховых синдиков и названных им людей и дать им поручение (*balia*) о замещении всех должностей, оказавшихся вакантными. Когда его предложение было принято, рабочие распустили свою комиссию и образовали три новых цеха; два из них составились из квалифицированных рабочих шерстяной и шелковой промышленности, в третий вошли все необученные рабочие центральных мастерских цехов — чистый пролетариат, не побоявшийся назвать свой цех цехом чомпи ¹⁾. Три новых цеха были выделены в самостоятельную категорию меньших цехов, *arti minuti*, по политическим причинам: чтобы иметь возможность поставлять такое же количество членов синьории, какое поставляла каждая из двух других групп: *arti maggiori* и *arti minori* ²⁾.

¹⁾ В двух первых (22-й и 23-й общего порядка) было около 4.000 чел., в последнем (24-й) до 9.000 чел. В 22-й входили также цирюльники, портные, шляпочники. В 23-м царил красильщики, которые из 12 консулов своего цеха поставляли 9. Три цеха получили знамена. Старое рабочее знамя с архангелом Гавриилом получил цех чомпи.

²⁾ Каждая из двух групп цехов, старших и младших, выбирала по одинаковому количеству приоров, независимо от числа фактических избирателей, входивших в каждую группу. Поэтому и пролетариат выде-

Этот закон, создавший для рабочих самостоятельные цехи, осуществлял полностью давние требования пролетариата. Рабочие не только завоевали свободу коалиции. У них были свои цехи. Теперь предприниматель не мог назначать односторонне и авторитарно рабочую плату и навязывать рабочим другие условия. Приходилось заключать все договоры между цехами, как равноправными хозяйственными и административными единицами. Вместо безусловного подчинения рабочих предпринимателю установилась координация различных моментов производства. С точки зрения интересов пролетариата это было огромное завоевание. С точки зрения интересов торгового капитала это был порядок бессмысленный, полный внутренних противоречий, нарушающий органическую целостность производства, удорожающий фабрикат. Естественно, что капитал должен был начать ожесточенную борьбу против новых порядков. А так как социальный перевес сил был на его стороне, то в исходе борьбы не могло быть сомнения. Предпринимателям нужно было одновременно лишить рабочих и профессиональной защиты и политического представительства. То и другое достигалось одним ударом — уничтожением трех рабочих цехов.

Новая синьория¹⁾, выбранная тут же, 23 июля, приняла и все требования рабочих, а они уже носили вполне социально-экономический характер. Приступили к законодательству. Первым долгом цеху Лапа было предписание ежемесячно выработывать не меньше 2000 кусков сукна²⁾. Отменена мельничная пошлина, понижена цена на соль, объявлен свободным ввоз и запрещен вывоз хлеба. Постановлено раздать беднейшему населению по мере зерна на душу. Уничтожена уплата процентов по государственным займам и решено выплатить капитальный долг в 12 лет. Введен прямой, основанный на самодекларации, налог. Обе эти финансовые меры должны были ликвидировать ненавистные народу косвенные

лялся в особую группу. Таким образом он получал возможность избрать треть приоров. Поправка к закону 1343 года заключалась в том, что тот разделял средние и младшие цехи, а закон 1378 г. их объединил.

1) Подеста, капитан и экзекутор остались старые.

2) Рабочие понимали, что крупные шерстяные фабриканты способны приостановить производство, чтобы вызвать безработицу и голод. Закон предупреждал такие маневры.

налоги и принудительные займы. Во внешней политике решено держаться мира. Далее, приказано открыть лавки. Преведенная милиция заменена новой. Распущена старая и введена новая наемная гвардия. Рабочие ликовали, но они не предвидели того пассивного сопротивления, которое оказала им буржуазия. Предприниматели объявили локаут. В течение месяца они, несмотря на все указы нового правительства, отказывались возобновлять работу. Не то, что 2000 кусков в месяц: не выработывали и 200. Мастерские были закрыты, сами хозяева жили себе припеваючи в своих загородных виллах, а рабочие сидели без дела. Льготы финансового характера, переведенные в угоду пролетариата, опустошили казну. Правительству пришлось, скрепя сердце, восстановить некоторые из прежних налогов. Ропот усилился, и 28 августа чомпи поднялись снова. На этот раз они были одни: только последний цех, popolo minutissimo. Не доверяя уже и своему демократическому правительству, они собрались в церкви Santa Maria Novella под руководством авантюриста Лука да Панцано, за снохачество объявленного дворянином¹⁾, и выбрали еще одну чрезвычайную комиссию из восьми членов (balia). Балия предъявила правительству новые требования, которые значительно расширяли политические полномочия пролетариата. Синьория долго соглашалась на все: так она была напугана. Она признала даже право за комиссией Восьми быть контролирующей и решающей коллегией, поставленной выше Синьории. Это переполнило чашу. Буржуазия решила действовать энергично, к ней примкнули квалифицированные рабочие 22-го и 23-го цехов²⁾, и во главе противников чомпи стал не кто иной, как сам Микеле ди Ландо, опасавшийся, что дело при этих условиях легко может дойти до анархии или до тирании. Оставшись одни, без руководителей, — Панцано стал вести себя подозрительно; его чуть не убили; он бежал, — рабочие были быстро разбиты в новом бою (31 августа). Отряды цехов преследовали их в Камальдоли — так назывался квартал,

¹⁾ Личность Панцано не вполне ясна. Так как все его характеристики принадлежат буржуазным хроникам и мемуаристам, то возможно, что он был не вполне таким, каким его изображают.

²⁾ Их, очевидно, пугала перспектива длительной безработицы и еще больше угроза, что флорентинская промышленность потеряет рынки, что сделает безработицу хронической.

населенный беднотою по ту сторону Арно, — разрушали их жилища, бесчинствовали всячески, словом восстанавливали порядок так, как это всегда делает буржуазия, потерпевшая значительные убытки. Чомпи разбежались по контадо. Убитых было сравнительно мало. Все были объявлены изгнанными.

Революция кончилась. Ее крушение объясняется тем, что распался июльский блок между мелкой буржуазией и рабочими. Ремесленники испугались требований чомпи и метнулись в сторону *popolo grasso*. Квалифицированные рабочие присоединились к ремесленникам, чтобы спасти свои завоевания. Ни ремесленники, ни рабочие не понимали, что, жертвуя чомпи, они этим самым усиливают крупную буржуазию и готовят свое собственное поражение в недалеком будущем.

Началась контр-революция. Представителей чомпи из Синьории исключили. В общем вернулись к положению, установленному после изгнания Альбицци; главные реформы, введенные под давлением рабочих, были отменены теперь же. Уничтожена была категория *arti minuti*, два цеха обученных рабочих присоединены к категории младших цехов, а цех чомпи распущен вовсе. При выборах приоров отныне семь старших цехов будут ставить четверых, а шестнадцать младших — пятерых. Объявлена амнистия за все содеянное в день 31 августа. Из нее исключены только члены пролетарской комиссии Восьми. Сперва буржуазия еще боялась действовать чересчур круто. Микеле ди Ландо, сложив должность, получил богатую награду и с торжеством был водворен в своей прежней мастерской. Пока существовал режим, принятый после сокрушения чомпи, правительство, подчиняясь давлению ремесленников и квалифицированных рабочих, издало целый ряд законов, отвечавших нуждам демократии. Оно приняло ряд мер, направленных к укреплению курса мелкой серебряной монеты по сравнению с золотым флорином, ибо это увеличивало покупательную способность получаемой рабочими заработной платы: она выплачивалась им исключительно в серебре. Оно привлекло к обложению недвижимое имущество богачей, находившееся в контадо. Оно консолидировало государственные долги и уменьшило проценты, выплачиваемые держателям этих бумаг, т.е. опять-таки богачам. Оно пыталось амортизировать государственный долг путем розыгрыша его облигаций и готовило закон о подоходном налоге. В области рабочей

политики государство отступило от своего всегдашнего нейтралитета, который означал полную свободу эксплуатации рабочих предпринимателями, и вступило на путь своего рода фабричного законодательства. Рабочие деятельно поддерживали эту политику. Тут и оказалось, что существование даже двух рабочих цехов очень неудобно с точки зрения буржуазии. Организация давала рабочим возможность с большим успехом бороться за лучшее экономическое положение, в частности за более высокую заработную плату. А буржуазия уже отлично знала вкус прибавочной ценности и находила, что смешно добровольно отказываться от хороших барышей только потому, что оборванцы из Камальдоли уверяют, что они живут впроголодь.

Три года шла упорная борьба между капиталом и трудом — тоже первая в новой европейской истории: рабочие устраивали стачки, требовали установления минимальной заработной платы, сокращения рабочего дня, уничтожения выдачи заработка натурой (теперь это называется Trucksystem), старались искусственно уменьшить предложение рабочих рук, — словом, перепробовали все те средства, которыми в аналогичных случаях пользуются современные рабочие. Неоднократные попытки со стороны изгнанных чомпи вернуться в город, ни разу не увенчавшиеся успехом, все-таки укрепляли положение рабочих. Предприниматели всегда находились в ощущении какого-то страха. Буржуазия с цехом Lana во главе решила положить этому конец. В Синьории влияние, если не большинство, постепенно стало переходить к членам старших цехов. Неподалеку от города имел квартиру отряд Джона Гакуда, который успевал добраться всегда во-время, чтобы положить конец «беспорядкам». Началось с того, что под пустым предлогом казнили Джорджо Скали и заставили бежать Томмазо Строцци, двух лидеров мелкой буржуазии. Потом вернули изгнанных представителей popolo grasso и parte. А 20 января 1382 г. члены Lana, стоявшего во главе крупно-буржуазной контр-революции, бросились к лавкам и мастерским двух рабочих цехов и разнесли их. Им никто не мешал. После этого началось закрепление сделанного в законе. Оба рабочих цеха были уничтожены. Рабочие снова оказались в полном подчинении у предпринимателей Lana и Seta и, конечно, потеряли всякое влияние на политику. В Синьории старшие цехи получили половину мест (4 из 8) и должность гонфалоньера.

Соответствующим образом были распределены места и в других советах. Для безопасности отправили в изгнание вождей мелкой буржуазии Сальвестро Медичи, его сына, сыновей Скали и Строцци, всего несколько десятков человек, а с ними вместе и Микеле ди Ландо, популярность которого беспокоила стоявшую у власти буржуазию¹⁾. После этого перераспределили места в советах, так, что у старших цехов всегда было большинство в две трети. Но это еще не была настоящая реставрация. Она пришла в 1387 г. Оставшиеся лидеры мелкой буржуазии были изгнаны. В советах старшие цехи получили три четверти мест, Альбицци возвращены, олигархия воцарилась снова, и Мазо дельи Альбицци стал почти что диктатором. В его гонфалоньерат, в октябре 1393 года, провели новое законодательное закрепление олигархического строя, изгнали всех Альберти и, как бы для того, чтобы иллюстрировать связь между экономикой и политикой, на пять лет запретили ввоз иностранных сукон²⁾.

Мы остановились на перипетиях социально-политической борьбы во Флоренции не только потому, что она представляет огромный исторический интерес. Все описанные выше события имеют тесную связь с судьбами культурной эволюции города. Мы увидим, что у каждой из двух групп буржуазии — у крупной, как и у средней — были свои литературные симпатии, что борьба со знатью и с «оборванцами», в которых обе группы одинаково видели врага, наложила яркий отпечаток на социальные теории Возрождения и определила вместе с другими причинами некоторые наиболее существенные его стороны.

Перейдем от фактов к идеям.

16. На повороте.

К югу от Флоренции, там, где Апеннины зелеными отрогами спускаются к долине Арно, утопает в садах роскошная вилла Антонио дельи Альберти. Мессер Антонио несобыкно-

1) Когда в 70-х годах XIX века к флорентийскому городскому голове (sindaco) пришла рабочая делегация, чтобы просить о разрешении называть именем Микеле улицу, тогдашний голова Убальдино Перуцци сказал: «Хорошо. Но вы просите об этом потому, что Микеле был вождем чомпи, а мы вам разрешаем потому, что Микеле побил чомпи». Теперь Ландо поставлен памятник в одной из ниш Mercato Nuovo.

2) Альбицци были крупнейшими суконными фабрикантами.

венно характерная фигура. Один из самых богатых людей во Флоренции, широко образованный, с пламенной душой и большим умом, он вынужден был прятать свои дарования, избегать площади и искать выхода своему темпераменту в поэзии и религиозном экстазе. Он, как и все Альберти, принимал участие в борьбе с олигархией Альбицци и одно время стоял в первых рядах правителей города. Но переворот 1387 г., вернувший власть в руки богатой буржуазии, предводительствуемой Альбицци, положил конец господству средней буржуазии, а вместе с тем и политической карьере семьи Альберти. Прекратил свою деятельность и мессер Антонио. Вернувшиеся Альбицци не тронули его во внимание к его заслугам, но он понимал, что за ним следят, и благоразумно не мозолил глаз своим врагам. Его не было в городе, когда его родственников постиг удар. Он не торопился туда возвращаться; вернувшись, совершенно зарылся в свои частные дела, с видимой неохотой принимал должности, которые ему предоставляли, и жил больше в своей вилле, чем в своем флорентинском дворце. Тут его окружала интересная компания, которую привлекали красота виллы, радушие хозяина и надежда встретить у мессера Антонио выдающихся флорентинских писателей и ученых.

Общество, которое собралось в вилле мессера Антонио в первых числах мая 1389 года, было особенно блестяще. Тут были: ученый монах Луиджи Марсили, один из самых образованных людей во Флоренции; канцлер республики, мессер Коллуччо Салутати; слепой музыкант Франческо Ландини, великолепный знаток средневековой схоластической философии; именитый флорентинец Гвидо ди мессер Томаззо дель Паладжо; граф Баттифоле, давно живший в мире с республикой; дипломат Джованни деи Риччи; Алессандро деи Алессандрини, отпрыск семьи Альбицци; остроумец и потешник Биаджо Сернелли; богослов и математик Грациа Кастеллани; врач и философ-аверроист Марсилио ди Санта София; профессор философии и математики Биаджо Пеликани из Пармы; много дам, много прихлебателей и праздношатающихся, привлеченных щедростью мессера Антонио.

Общество проводило время необыкновенно занимательно. Утром, как водится, шли в часовню прослушать обедню, а потом собирались где-нибудь на дугу или в саду, обыкновенно

у фонтана в тени великолепных кипарисов и пиний. На траве были уже разостланы ковры, тут же рядом стоял поставец с винами, прохладительными питьями, фруктами и сладостями. На деревьях пели птицы, на лугу бегали какие-то необыкновенные звери, воздух был упоителен, царило веселье. Недаром вилла мессера Антонио называлась *Paradiso*. Это настоящий рай!

Обыкновенно занимаются, кто чем хочет. Солидные люди теснятся вокруг маэстро Луиджи и мессера Колуччо и слушают беседы обоих ученых мужей. С луга доносятся песни и звонкий хохот: то молодежь водит хороводы и отдается беззаботным удовольствиям. Ведь это первые дни мая, «когда нежные зефиры и прозрачный воздух манят к наслаждениям любви все живущее на земле и на небе: высокие холмы и тенистые леса одеваются свежелою листвою и пестрыми пахучими цветами, на смеющиеся луга высыплют бесчисленные звери, и в густых ветвях порхают и поют птицы, ища любви»¹⁾. Где же тут молодежи усидеть целый день подле мессера Колуччо!

А когда общество собирается вместе, за обедом или посреди дня, то изобретают новые развлечения. По примеру веселой компании «Декамерона», гости мессера Антонио уговариваются по очереди рассказывать новеллы. Даже Луиджи Марсили должен подчиниться этому уговору. Новелла следует за новеллой, в промежутке забавник Биаджо Сернелли изображает лицом, голосом и фигурою знакомых всем людям и составляет присутствующих хохотать до упаду. Потом неаполитанец Пеллегрини, один из тех прихлебателей-фокусников, которыми была полна богатая Флоренция, начинает показывать свое искусство: он вертится колесом с такой быстротой, что не видно, как ноги касаются земли, и кажется, что молния движется в воздухе; потом он показывает всякие штуки с ножами и саблями с таким искусством, что никому не хочется верить, чтобы тут не было дьявольского навождения. Иногда маэстро Луиджи приходит в голову невинная шутка: он поручает другому Биаджо, математику и философу, известному своею застенчивостью и рассеянностью, приветствовать дам. Маэстро Луиджи знает, что тот не способен связать двух слов вне своей специальности, но ему хочется позабавить

¹⁾ Перев. акад. А. Н. Веселовского.

публику. Долго отнекивался старый профессор, но, видя, что ничего не поделаешь, начинал: «О bone, o bone dominae meae», но обыкновенно больше не умел сказать ничего и склонился своей массивной фигурой почти до земли, так что бледнело лысое темя. Дамы дивятся, публика довольна...

Другого рода общество собирается во Флоренции, в августинском монастыре Сан-Спирито по ту сторону Арно. Имя монастыря Сан-Спирито уже не раз появлялось и раньше в истории Возрождения. Джованни Боккаччо был в большой дружбе с настоятелем его, ученым профессором Мартино да Сянъя. Ему он объяснял смысл своих латинских «Фклог», ему завещал свою библиотеку; в Сан-Спирито читались поминовения по душе блаженного раба божия Джованни. Один из братьев ордена, Пьетро де Кастелетто, закончил биографию Петрарки, начатую Боккаччо. Словом, это была обитель с литературными традициями, которые еще больше оживил Луиджи Марсили. Он стоит в центре монастырских беседований. Его слушают молодые люди, да и старики, как Салутати, не упускают случая лишней раз обменяться мыслями с ученым монахом. Разговор тут идет о предметах возвышенных. Повеллами больше не развлекаются и не тратят, разумеется, времени на забавы. Недаром лет тридцать спустя тихий монастырь в Ольтранно сделается настоящим ученым обществом, так будут вывешивать тезисы, там будут вести диспуты, там мы встретим всех главарей гуманизма, некоторые из которых, как Роберто деи Росси и Никколо Никколи, юношами успели еще застать маэстро Луиджи и послушать его красноречивые рассуждения.

О чем же вели речь ученые люди в садах виллы Альберти и под сводами монастыря Сан-Спирито? Мы должны к ним прислушаться, потому что тут мы найдем посредствующее звено, соединяющее дантовское направление с классическим.

Вероятно, читатель был несколько удивлен тем, что до сих пор не нашел точного определения того понятия, с которым ему неоднократно приходилось встречаться в этих очерках. Что же такое, наконец, гуманизм, который мы признали одним из проявлений духа Возрождения? Мы умышленно откладывали ответ на этот вопрос до настоящего момента, потому что теперь он не будет голой формулой, а будет иметь

определенное фактическое содержание. Гуманизм — это интерес и любовь к древности, как к таковой, вызванный запросами личности. Он явился, когда основные предпосылки Возрождения были уже налицо, он мог стать господствующим в общественном сознании фактом, когда Возрождение сделало все свои главные завоевания. Интерес к древности мог быть и раньше, но даже у Данте он еще не имеет в себе характерных черт гуманизма. У Данте можно встретить, напр., такие фразы (Convito, 4): «Рим! Камни стен твоих достойны почитания, и земля, на которой стоишь ты, достойна его более, чем может выразить человеческое слово». Это говорит не гуманист, и не о древнем Риме идет тут речь. Данте думает о столице Священной Римской империи, и всю древнюю историю Рима великий поэт склонен считать подготовкой для роли вечного города, как столицы империи и *lo loco santo*. Совсем другое чувство возбуждает Рим в Петрарке. Ему все равно, чем стал город теперь. Бродя по развалинам, он то-и-дело вспоминает: «Вот кремль Эвандра, вот пещера Кака; тут случилось похищение сабинок, там Горации бились с Куриациями»... В этот момент все его помыслы сосредоточивались на мифических и полумифических временах начала древнего Рима, и он гораздо яснее видит осаждающее город войско Порсенны, чем своих современников, пастухов, которые пасут стада за Тибром. Он любит Рим Сципионов, а не Рим, куда стремятся Генрих VII или Людовик Баварский.

Мы знаем, какая психологическая драма создала у Петрарки это настроение. Она представляется нам типичным душевным процессом, который переживало большинство вдумчивых людей, почувствовавших внезапный интерес к древности. Только Петрарка, более чуткий и более нервный, перечувствовал все живее и — главное — сумел все перечувствованное выразить. Другие частью совсем не сознавали мотивов, заставлявших их интересоваться древностью, частью ничего об этих мотивах не сообщали. Но в главном факте, как кажется, невозможно сомневаться: личным побуждением для того, чтобы отдаться изучению древности, для большинства, в том числе для наиболее вдумчивых, было столкновение старых и новых элементов, была борьба старой совести и нового чувства. Были, конечно, и простые подражатели, люди, которые увлекались модою. Таких, впрочем, вначале было мало,

как было мало и людей, примазывавшихся к гуманизму по соображениям выгоды.

Но одними побуждениями личного характера не исчерпываются причины гуманизма. Несомненно, были и общественные мотивы, способствовавшие возникновению интереса к древности.

Отдельный человек обращался к произведениям классиков для того, чтобы найти в них доводы для борьбы с остатками прежнего, средневекового, мировоззрения в своей душе. Общество прибегло к классикам, чтобы у них почерпнуть теоретическое обоснование в борьбе со столпом средневекового уклада — церковью.

Прежде чем обратиться к древности, общество в культурной борьбе с церковью испробовало другое оружие, более доступное — итальянскую литературу. И церковь чувствовала опасность. В одной старой притче, несомненно возникшей в церковных кругах, рассказывается следующее: Жил был один философ, который охотно истолковывал науку как баронам, так и другим людям. И вот однажды ему приснился чудный сон. Снилось ему, что он видит богинь наук в образе прекрасных женщин. Они находились в непотребном месте и отдавались всякому, кто хотел. Философ сильно удивился и спросил: «Каким образом вы, богини знания, находитесь в таком гнусном месте?» И они отвечали, что он сам причиной этого. Тут он проснулся и, подумав, решил, что сон послан ему в осуждение его деятельности, что истолковывать науку невеждам значит умалять божество. Оттого он прекратил свое обучение и сердечно раскаялся.

Автор притчи назидательно прибавляет от себя, что не всякому позволено все знать. Ясно, о чем он сетует. У церкви отнимают ее тайны. Переводы на итальянский язык и литература на *volgare*, доступная всем, являются протестом против хитроумной схоластической диалектики, против монополии латинского языка, против стремления церкви навязать народу веру в авторитеты. После первых одиноких попыток выдвигаются излюбленные всем средневековием энциклопедии, все эти *Fioretti*, *Tesorette*, в которых стараются собрать всю сумму современного знания. Наконец, является «Божественная Комедия», не простая энциклопедия, а цельная система, где средневековая мудрость, которую церковь охраняла аргусовым

ком, была изложена в ослепительно-ярких образах и на понятном народу языке. Но мы уже знаем, что Данте, как и его предшественники, сам стоит на средневековой почве и пользуется средневековыми аргументами. Вот почему оппозиционные принципы Данте не могли держаться долго. Жизнь должна была перерасти их и, конечно, переросла. Как мы увидим, уже в первую треть XV века было выкинуто новое знамя группой последовательных гуманистов. И они хотели делать дело Данте, но они находили, что оружие, которым так хорошо действовал творец «Божественной Комедии», притупилось и стало затягиваться ржавчиною. И они протестовали во имя идеи освобождения знания от авторитета церкви, но они думали, что для этого нужно обратиться туда, где неведомы церковные идеалы и где светская литература существовала в чистом виде. Они отряхнули от ног прах схоластических мудретований и погрузились в изучение древности.

Такова была общественная причина возникновения гуманизма. К древности и к ее литературе прибегали за тем, чтобы там найти более действительное средство для борьбы с закрепощением мысли. А научившись языку Цицерона и Вергилия, объявили литературные и философские приемы, которыми пользовался Данте, устарелыми и непригодными. Случилась странная вещь. В «Божественной Комедии» люди отказывались видеть что-либо, кроме системы схоластической учености. Гениальнейшее художественное произведение людей не трогало. Коренная противоположность между Данте и церковною мудростью изгладилась в глазах последовательных гуманистов. И они стали искать новых путей.

Время этого поворота, конечно, не может быть определено с точностью. У нас имеются некоторые факты, которые помогут указать различные стадии этого литературно-общественного процесса, но в общем мы знаем обо всем этом периоде довольно мало.

Когда после окончательного усмирения знати, в 40-х годах, политическая власть во Флоренции сосредоточилась в руках олигархии старших цехов, почитание Данте и всей системы, принятой в «Божественной Комедии», стало почти признаком местного патриотизма. Словно люди торопились искупить бесчеловечную несправедливость, причиненную величайшему из

сынов Флоренции. Петрарка и Боккаччо были живы, и хотя оба пропагандировали классицизм, но оба в то же время писали на *volgare*, а Боккаччо, кроме того, был одним из самых страстных поклонников великого флорентийского гражданина. Боккаччо жил во Флоренции или по близости, был очень популярен в городе, и позднее его восторженные лекции о «Божественной Комедии» имели огромный успех. С другой стороны, правящая Флоренцией купеческая олигархия Альбицци потому держалась за Данте, что хотела еще внешним образом сохранять старые гвельфские заветы, хотя папскими притязаниями начала тяготиться. Кредитный капитал работал теперь не с курией. С ней теперь больше воевали, чем делали коммерческие дела. А все-таки знамя продолжало веять старое. В Данте *la parte* видела выразителя средневековых идеалов, не замечала, как и гуманисты, того, что было в «Божественной Комедии» прогрессивного, и, пока нужна была старая идеология гвельфизма, не покидала Данте. Данте был для них опорой в их борьбе с нарождающимся классицизмом; представители исконно-флорентинского образа правления, Альбицци с друзьями, были приверженцами старины и во всем новом видели опасность.

Они были правы. Когда в 1378 г. временно захватила власть средняя буржуазия, она сейчас же издала новый литературный манифест. В политике Альбицци главари средней буржуазии осуждали ее показной гвельфизм и заигрывание с папством, с которым не переставали воевать. Они считали это опасным с точки зрения интересов Флоренции, как целого. А так как имя Данте было притянуто к политике и связывалось с плохо скрываемыми церковными симпатиями олигархов, то победители Альбицци — сначала Риччи, потом Альберти и Медичи — отrekliсь от Данте и его направления и выставили поборников последовательного светского протеста, гуманистов. Гуманисты не откажутся в конце концов признавать Данте великим поэтом. Но и только. Они огулом осудят в нем «средневековое», не делая разницы между тем, что было апологией средневекового мировоззрения, и тем, что его сокрушало. Они проклянут почитаемые «божественным певцом» семь свободных искусств. Их литературные идеалы будут уже иные. Хотя Альбицци скоро вернулись, но намечающийся поворот в литературных вкусах продолжался уже

беспрестанно, и средневеково-церковные симпатии мало-помалу ослабевали.

Обращение к древности становится, таким образом, понятным, но нам кажется, что все вышесказанное определяет и настоящую роль древности в истории Возрождения. Древность являла материал для обоснования новых индивидуалистических запросов, для освобождения личности. Нет никакого сомнения, повторяем, что если бы гуманисты не догадались поискать этих аргументов в древности или не нашли их там, они все равно были бы найдены рано или поздно. Обращение к древности было вполне естественно, и она сделалась знаменем нового мировоззрения.

17. Монах и канцлер.

Два последних десятилетия XIV века необыкновенно интересны в том отношении, что как раз в это время в обществе происходит переход от старой точки зрения к новой, и если мы выдвинули роль собеседований в вилле Парадизо и в монастыре Сан-Спирито, то именно потому, что в этих собеседованиях мы можем подслушать совершающуюся перемену.

Прежде всего познакомимся поближе с двумя из участников этих собеседований, имена которых мы уже называли. Яркая фигура августинского монаха фра Луиджи Марсили стоит в центре обоих кружков. То был один из ученейших людей своего времени. Он учился в Падуе, юношей был представлен там Петрарке, и поэт предрек ему славную будущность. Он убеждал его не терять ни одного дня для знания, не замыкаться исключительно в сферу богословия, а заниматься также свободными науками и бороться с рационалистической школой аверроистов. Как раз около этого времени нападки аверроистов причиняли самолюбивому Петрарке много огорчений, и его собственная борьба с ними, несмотря на обилие крепких слов, была не очень успешна. После Падуи Марсили побывал в Париже и вернулся в 1382 г. во Флоренцию с такими огромными знаниями, какими в то время едва ли обладал кто-нибудь другой. Он сделался проповедником и своим красноречием скоро снискал большую популярность в народных кругах. Слава его во Флоренции все росла и росла, его неоднократно просили принять сан епископа горо-

да, но фра Луиджи предпочитал независимое положение и ученые занятия административным хлопотам и постоянной дипломатической перебранке со святым престолом. Марсили совершенно не мирился с церковною зависимостью Флоренции от Рима и его прелатов. Ему хотелось, чтобы во Флоренции, сумевшей завоевать политическую независимость, была и церковь, свободная от папского ига. И он со смелостью и решительностью, мало свойственными монахам того времени, пишет целое «Послание против пороков папского двора», комментирует канцоны Петрарки, где тот сетует о политических невзгодах Италии и обвиняет папство. Его философско-богословские воззрения были далеки от католического правоверия. Он не обратил никакого внимания на завет Петрарки бороться с аверроистами. В беседах в саду у Антонио Альберти он сидит рядом со своим тезкой, Марсилио ди Санта София, одним из вождей аверроизма, а те разговоры, которые он там ведет, совсем не свидетельствуют о большом правоверии. Он объясняет известный миф о том, что Цирцея обратила спутников Одиссея в животных, как аллегория. Они, рассуждает Марсили, поступали по-животному и казались животными себе и другим. Такой прием в объяснении чудес делал фра Луиджи очень опасным, толкователем священного писания.

Была, наконец, и еще одна особенность у Марсили, которая, главным образом, привлекала к нему молодежь—его огромные познания в латинских классиках. Молодежь он приводил в совершенный восторг, но даже опытный и ученый Коллуччо Салутати должен был отдать дань своему другу. «Когда я бывал у него,—говорит Салутати,—я на целые часы продолжал разговор и, несмотря на то, всякий раз уходил неудовлетворенный, потому что никогда не мог вполне насытиться беседою со столь великим мужем. Какая сила, боже милосердый, какое обилие в рассуждениях, какая обширная память! Он не только владел всеми знаниями, приличными духовному сану, но и теми, которые мы по обыкновению называем языческими. Цицерон, Вергилий, Сенека и другие античные писатели не сходили у него с уст. Он не только приводил их мнения и мысли, но и самые слова, так что казалось, он говорит свое, а не чужое»...¹⁾.

¹⁾ Перев. акад. А. Н. Веселовского.

Чтобы было понятно, почему стар и млад толпились во-круг фра Луиджи, в жажде услышать от него лишнюю фразу Цицерона, мы должны припомнить, что учителей древних языков в то время еще не было. Флорентинский университет уже существовал, но он стал приносить пользу несколько позднее. Мало того: не всегда можно было достать и книгу, какую хотелось. Петрарка был первым, составившим себе порядочную коллекцию классиков. Он сам говаривал, что одержим ненасытным голодом к рукописям и набрал их больше, чем нужно. Но библиотека Петрарки после его смерти растаяла как-то очень быстро, книги Боккаччо лежали под спудом в Сан-Спирито. Поэтому приходилось очень ценить людей, которые, как Марсили, обладали хорошою памятью и помогали изучать классиков. И Марсили охотно делился своими знаниями со всеми желающими, не находя в этом ничего такого, что было бы противно совести доброго христианина.

А фра Луиджи, несмотря ни на свободомыслие, ни на любовь к язычникам-классикам, оставался добрым христианином. В его религиозности невозможно сомневаться, если прочесть некоторые из его писем к друзьям, полные еще вполне средневековыми рассуждениями. И мы совершенно не поражаемся этою двойственностью. Мы ее узнали, потому что видели ее раньше у Петрарки и Боккаччо. Даже еще в поколении, следующем за Марсили, мы будем больше встречать людей, религиозных по-католическому, чем мыслителей, отбросивших в сторону религию отцов.

Ту же двойственность мы встречаем и у друга и сверстника Марсили, мессера Коллуччо Салутати. Если Марсили еще не вполне подходит под определение гуманиста, то Салутати—гуманист в полном смысле слова. Он пишет почти исключительно по-латыни: пишет поэмы, рассуждения, речи—все, что требуется от гуманиста. Он преклоняется перед древними классиками и почитает их творения. Он так вчитался в цicerоновский стиль, что сумел перенять его, за что и получил двусмысленное прозвище цicerоновской обезьяны. Он неутомимо собирает древние рукописи и первый начинает сличать их, чтобы установить лучшее чтение. Чтобы обогатить свои познания, он уже стариком чуть не каждый день ходит в Ольтарно к Марсили. Все это признаки несомненного гуманиста, но Салутати еще не чистый гуманист. Он почитает

классиков, но еще больше почитает тех, кого он считает божественными мужами: Данте, Петрарку и Боккаччо. Латинские сочинения двух последних он ставит выше произведений римских писателей; к рукописям «Божественной Комедии» он применяет филологическую критику, и с помощью осторожной сверки ему удается предотвратить их дальнейшее искажение. Словом, он еще не хочет признавать, что нет спасения вне античной литературы, и за любовь к «трем флорентинским венцам» (*tres coronae*) поплатился тем, что более строгие гуманисты отказались признать его своим.

Еще и потому Салутати был таким восторженным поклонником трех королей, что сам был поэтом. Это важно отметить не потому, что его латинская поэма о «Пирре, царе эпирском» представляла собою что-нибудь особенное. Эта тяжеловесная эпопея под стать «Африке» Петрарки и никакого литературного значения не имеет. Но Салутати дал интересное теоретическое оправдание поэзии, которую ему пришлось защищать от нападков усердных не по разуму монахов. Те говорили, что занятие языческой поэзией древних—суета сует и вещь богопротивная. Салутати отбил нападение простой ссылкой на священное писание. Оно, говорил он, так же, как и поэзия, пользуется аллегорией, а в Библии попадаются такие же непристойные эпизоды, как и в поэзии древних.

Другое противоречие в Салутати гораздо глубже. Средневековые и новые элементы уживаются в его произведениях порою вопреки вопиющей несообразности. Он иногда и сам чувствует это и делает большие усилия, чтобы примирить остатки отживающего мировоззрения с молодыми веяниями Возрождения. Например, в трактате «*De fato et fortuna*» он выставляет божество причиной всех причин, в судьбах людей и народов видит выполнение божественного плана, объявляет благочестие высшею добродетелью. Но тут же бросаются в глаза такие точки зрения, которые ничего общего не имеют ни с божественным планом, ни с благочестием: преобладание этического интереса над метафизическим, что мы видели у Петрарки и Боккаччо и что будет одним из характернейших признаков гуманизма вообще; любовь к древности, глубокая и искренняя, видна на каждой странице; аргументами древности обоснованный рационализм (в вопросе о гаданиях); проповедь свободы воли. Другой трактат Салутати «*De seculo et*

religione» одной своей стороною сделал бы честь любому теоретику аскетизма XI века. Чего-чего тут не наговорено. Мир есть поле дьявола, арена искушений, фабрика зла и порока, печальное вёселье, ложная радость, безумное ликование, озеро несчастий, крушение добродетели, дом горя и т. д. Жена и дети — цепи, привязывающие к греховному миру, собственность — источник прегрешений. Единственный путь к спасению указывает католическая церковь. Идеал — монашество. Но это только одна часть. Другая совершенно спокойно и беззаботно утверждает многое из того, что было так красноречиво посрамлено в первой, и посрамляет многое из того, что там было прославлено. Читатель с изумлением узнает, что католическая церковь — средоточие греха, а мир — создание бога, исполненное красоты. Человек — в этом пункте решительнее всего сказался гуманистический культ личности — среднее между ангелом и животным; воля человеческая не только свободна, но склонна к добру.

Не станем пока обращаться к другим произведениям Салутати. Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, с каким трудом отделялись люди от теоретических остатков средневековья. Это одновременное, одинаково горячее, одинаково искреннее поклонение Голгофе и Олимпу — противоречие, наиболее характерное для всех первых гуманистов. В течение XIV в. оно сказывается с необыкновенною яркостью и окончательно исчезает не раньше второй половины XV века.

Несмотря на сильные теоретические колебания, в общественно-политическом смысле Салутати — крупная и цельная фигура. Он первый из гуманистов стал занимать постоянные публичные должности. Петрарка, Боккаччо, Заноби да Страда, Марсили принимали на себя различные дипломатические поручения. Салутати поступил на службу. Он был секретарем при авиньонской курии Урбана V, а с 1375 года канцлером флорентинской республики. Он был рожден для этой должности и принес своей родине такую большую пользу, что с тех пор сделалось обычаем назначать на место канцлера, поднятое мессером Коллуччо до степени одного из важнейших постов республики, гуманиста. Бруни, Марсупини, Поджьо, Ландини были в числе преемников Салутати. Первое, что ввел мессер Коллуччо в своей новой

должности — это цicerоновский стиль в дипломатической переписке. Это была крупная реформа. Но появление на канцлерском посту гуманиста с широким образованием было важно еще в другом отношении. В переписке с иностранными державами появились совершенно новые аргументы, появился пафос древних ораторов, свежая сила убеждения. Недаром говорил Галеаццо Висконти, что письма Салутати нанесли ему больше вреда, чем тысяча флорентинских всадников.

По своим политическим взглядам мессер Коллуччо как нельзя больше подходил к тому ответственному посту, который он занимал. Он был убежденный республиканец и горячий поклонник богини свободы; тираннию он ненавидел всеми силами души и оправдывал убийство тиранна, подобно Боккаччо, безусловно. Он любил свою прекрасную родину со всем пылом патриота и готов был охранять ее от всяких сторонних посягательств. Главным врагом Флоренции он считал папскую курию, к которой хорошо присмотрелся за время своей службы секретарем. Как свою Флоренцию он считал поборницею самой идеи свободы и всегда стоял за то, чтобы она повсюду оружием поддерживала борцов за независимость, так Рим он считал гнездом политического вероломства, ибо он обладал силою разрывать клятвы, порывать союзы, нарушать договоры. И у Салутати грозные нападки на курию не были простыми ораторскими упражнениями, как у Петрарки. Он был совершенно неспособен кланяться подачки и жить милостями папы, как это делал более беззаботный на этот счет нежный певец Лауры. Путешествуя с Урбаном V из Авиньона в Рим и обратно, Салутати узнал цену курии и с тех пор не менял своего отношения к ней вплоть до смерти. И сограждане ценили стойкость своего Коллуччо. После его смерти (1406) они почтили его пышным погребением на общественный счет и могилою в соборе.

Итак, Луиджи Марсили и Коллуччо Салутати, люди переходного времени, не отделались еще вполне от средневековых остатков. В них не только жива еще старая вера, но порою очень сильно сказываются аскетические проявления этой веры. Древность они инстинктивно любят, потому что они — новые люди и нуждаются в аргументах для обоснования прав личности, но слепое увлечение древностью, поклонение влас-

сикам они признают чрезмерным. Некоторое пренебрежение к светилам родной литературы, которое, как им кажется, они замечают у молодых гуманистов, кажется им тем более неуместным, что сами молодые далеко не всегда обнаруживают хорошее знакомство с классиками. Эту сторону подметил и высмеял в остроумном стихотворении приятель Салутати и Марсили, слепой Франческо Ландини, гениальный музыкант. В этом стихотворении, между прочим, говорится: «Бедный Цицерон! Когда меч Антония снес ему голову, это должно было показаться ему менее мучительным, чем видеть себя превознесенным тем, кто хромает даже в грамматике: до того его речь переполнена варваризмами и солецизмами, долгие слоги у него обратились в короткие и короткие в долгие; имена среднего рода приходят в ужас, соприкасаясь с прилагательными женского рода, и действительные глаголы находятся в недоумении, сочетаться ли им с винительным падежом или нет».

Но, вообще говоря, современникам, как старшим, так и младшим, противоположность литературных взглядов и различное отношение обеих сторон к трем коронам представлялись преувеличенными. Салутати и Марсили казалось, что Николли, Бруни, Росси, Поджо совершенно не почитают Данте и Петрарку, чего на самом деле не было, а молодые, с своей стороны, склонны были в пику старым подчеркивать свое увлечение древностью. Этим объясняется желчный характер стихов Ландини, инвектив Чино да Ринучини и Доменико да Прато, направленных против последовательных гуманистов, и резкий тон ответных нападов против средневековых переживаний и схоластических симпатий у Салутати с друзьями. Николли в одном диалоге, записанном Бруни, не оставляет в покое даже имен средневековых философов, которые «точно сейчас вышли из мрачного сна Радаманта: Фарабрих, Бузер, Оккам».

В вилле Альберти и в монастыре Сан-Спирито почти не слышно споров о преимуществах Данте или Вергилия. Там просто беседуют, рассказывают, каждый выкладывает свои знания. В Парадизо молодая Кюза вызывает восторженное замечание профессора Биаджо, который не предполагал серьезных познаний у флорентинских девушек. Там ссылаются на отцов церкви совсем как в средние века, но уже много разго-

варивают на классические сюжеты. Слушая в устах одного из собеседников старую сказку, часто не узнаешь ее, ибо с нее сорван золотой убор чудесного. Она стала реалистичнее и суше. И мы уже не удивляемся, встречая рассуждения на биологическую тему. Имена Данте, Петрарки и Боккаччо чередуются там с именами Овидия и Ливия, сюжеты итальянской новеллы — с эпизодами из «Одиссеи» и фактами из истории Катилины. Много беседуют об основании Флоренции и Прато, при чем одни считают оба города римскими по происхождению, другие — этрусскими. То же было и в Сан-Спирито. И там старые и новые сюжеты переплетаются очень тесно, и там чувствуется, что все участвующие ссылки на классиков предвещают начало целого движения. Классицизм должен был водвориться потому, что таково было требование общественной эволюции.

Гуманистические стремления стали развиваться свободнее, когда во главе Флоренции стала власть без традиций, не имеющая никаких культурных идеалов в прошлом. Таково было историческое условие, создавшее быстрый успех гуманизма при Медичи.

18. Козимо Медичи.

Летом 1426 года Ринальдо дельи Альбицци, сын Мазо, созвал с согласия покорной ему синьории шестьдесят наиболее влиятельных граждан Флоренции в церковь Сан-Стефано на совещание. В этом собрании он стал доказывать, что народное правление стало совершенно невыносимо, что младшие цехи терроризируют богатых граждан, налагают на них подати по своему усмотрению ¹⁾, что народ обнаглед и потерял всякий страх перед именитыми людьми. Долго говорил в этом духе мессер Ринальдо и в заключение сказал следующее: «Есть только один способ помочь злу: нужно вернуть управление городом людям знатым и отнять власть у младших цехов, сократив число их с четырнадцати до семи. Тогда народ потеряет большинство во всех советах, и представители старших цехов легко будут парализовать его волю. Государственная мудрость заключается в том, чтобы пользоваться

¹⁾ Перед этим только что был установлен новый налог на военные нужды.

людьми согласно моменту. Если наши отцы опирались на народ, чтобы сломить высокомерие знати, то теперь, когда знать унижена, было бы справедливо подавить наглость народа с ее помощью. Для успеха необходимы сила и хитрость, и задуманное очень нетрудно осуществить, так как многие из вас состоят членами правительства и могли бы распорядиться ввести в город войска». Мрачные своды старой церкви огласились криками одобрения замыслу мессера Ринальдо. Один только Николо да Удзано, самый дальновидный и самый влиятельный человек в партии Альбицци, не разделял общих восторгов. Он сказал, что все слышанное сейчас собранием справедливо, но только в том случае, если этого можно достигнуть без междоусобицы в городе. А междоусобица, несомненно, возникнет, если им не удастся привлечь на свою сторону Джованни Медичи. Примкнет он к ним, — переворот будет иметь успех, потому что толпа останется без вождя и легко будет побеждена. В противном же случае придется прибегнуть к оружию, а это средство он считает тем более опасным, что они будут либо побеждены, либо не сумеют воспользоваться победою. Собрание не могло не признать правильными слов опытного и осторожного политика и отрядило самого мессера Ринальдо послом к его противнику.

Джованни Медичи был в это время после Паллы Строцци самым богатым человеком во Флоренции. Банкирский дом Медичи восстановил связи Флоренции с папской курией, исторический, привычный источник обогащения флорентинских граждан. Эти связи порвались по двум причинам: из-за краха 1346 года, когда самые крупные дома, Перуцци и Барди, обанкротились вследствие отказа английского короля от уплаты долгов и по причине долгой войны с курией в 70-х годах. В данный момент банкирский дом Джованни Медичи широко раскинул сеть своих операций. Он имел связи со всей Европой. Джованни был делец и более всего на свете интересовался операциями своего банка. Но он не относился безучастно и к политике. Хитрый и осторожный, он хорошо понял горький урок, данный судьбою всех Альберти, и старался не подавать олигархии повода к неудовольствию. Он никогда не ходил во дворец синьории, если его не звали, и не стремился получить должности. Зато он делал много добра народу и все больше и больше завоевывал его расположение. Он знал, что военные

лавры, которыми прельщали Флоренцию Альбицци, очень непрочны, терпеливо дожидаясь хорошего поражения и всегда громко говорил, что он противник войны. Когда к нему пришел Ринальдо Альбицци, чтобы перетянуть его на свою сторону, Джованни отказал наотрез и совершенно искренно, почти в тех же выражениях, как и Николо да Удзано, предостерегал своего молодого и пылкого противника от замысливаемого шага. Ринальдо ушел ни с чем, а Медичи через друзей сейчас же стал распространять по городу вести о собрании в церкви Сан-Стефано, о миссии к нему Ринальдо дельи Альбицци и о своем ответе. Народ стал волноваться, популярность Джованни выросла еще больше, а число врагов партии Альбицци увеличилось.

В 1429 году Джованни Медичи почувствовал приближение смерти. Он призвал к себе двух сыновей и сказал им: «Если вы хотите жить спокойно, принимайте в управлении города такое участие, на какое уполномочивают вас закон и сограждане. Это единственное средство не бояться ни зависти, ни опасности. Ненависть возбуждает не то, что дают человеку, а то, что он захватывает насильно. И вы, если будете следовать моему совету, всегда будете иметь большую долю в управлении городом, чем другие, которые тянутся за чужим добром, теряют при этом свое и живут в постоянной тревоге. Руководясь этими правилами, я не только сохранил свое влияние среди стольких врагов и раздоров, но еще увеличил его; если будете руководиться ими, то и вы сохраните и увеличите свое влияние. Если же вы забудете мой пример, то конец ваш будет не более счастлив, чем конец многих граждан, которые сами были причиной своей гибели и гибели семейства».

Младший сын Джованни, Лоренцо, не был выдающимся человеком. Он был хорошим помощником брату и самостоятельно не действовал. К тому же он рано умер. Старший был знаменитый Козимо, основатель тирании дома Медичи во Флоренции.

Козимо получил блестящее по своему времени образование. Вместе с братом он учился латыни у гуманиста Роберто деи Росси, у которого брали уроки многие юноши из именитых флорентинских семей: Лука дельи Альбицци, рано умерший брат Ринальдо; Доменико Буонинсеньи, сын Лионардо; Бар-

толо Тебальди; Алессандро дельи Алессандри. Учитель постоянно держал их всех около себя и все время вел с ними беседы на темы, освященные примером классиков. Они появлялись с ним вместе на площади сеньории, часто у него обедали. Росси так любил своих учеников, что завещал им свое лучшее сокровище, — собственноручно переписанные книги. У Росси, а затем неустанной самостоятельной работой Козимо очень основательно изучил классиков и проникся к ним большим уважением. Он был практик и понимал, что в жизни человек, вооруженный наукою, стоит десятка обыкновенных. Классики дисциплинировали мысль, сообщали массу сведений, представляли целую сокровищницу примеров, содержали необыкновенно ценные политические указания на все случаи. Если Козимо сделался одним из лучших дипломатов своего времени и блестящим образом справлялся с самыми трудными задачами, то этим он в значительной степени обязан классикам.

Но Козимо готовился к своей будущей миссии не только теоретически. Уже зрелым человеком он сопровождал отца на Констанцский собор и должен был спасаться оттуда, когда собрание низложило покровителя Медичи папу Иоанна XXIII. Тут Козимо присматривался ко всему и многому научился.

Когда умер отец, Козимо было сорок лет¹⁾. Он, несомненно, был самым крупным политиком Флоренции в то время и, конечно, давно сам додумался до тех несложных политических принципов, которые преподал ему на смертном ложе старый Джованни. Все в городе очень хорошо знали этого маленького, скромно одетого, болезненного на вид человека, который охотно развязывал кошелек для нуждающегося простого люда, был очень сдержан, никогда не говорил дурно об отсутствующих, не любил, когда при нем злословили о других, всегда имел наготове острое слово, ни при каких обстоятельствах не терял головы и одинаково ловко и хорошо ухаживал за своим фруктовым садом в вилле Кареджи и заправлял делами своего банка, протянувшего нити своих операций по всей Европе.

После смерти Джованни политические дела во Флоренции сейчас же очень осложнились, и от Козимо потребовался весь его талант, чтобы не погибнуть в водовороте.

¹⁾ Родился в 1389, ум. в 1464 году.

Ринальдо дель Альбицци, потерпев неудачу в замышляемом государственном перевороте и видя, что популярность его все падает, решил прибегнуть к испытанному средству всех тираннов — поднять свое влияние удачной войной. Лукка была бельмом на глазу у флорентинцев особенно после завоевания в 1406 году Пизы. Все попытки подчинить ее оставались безуспешными, и Ринальдо правильно сообразил, что если ему удастся то, в чем потерпели неудачу его предшественники, его положение сразу будет упрочено. Его бурная натура не предвидела повторения неудачи. Ему нужен был успех, и он верил в него. Тщетно предостерегал его старый Николо да Удзано — война была решена. Она длилась четыре года, и в 1433 году пришлось заключить позорный мир.

Ничто не могло быть более на руку Козимо. Он отлично видел, что теперь Ринальдо не может удержаться. Рассудил он правильно, но он не принял в расчет необузданного темперамента своего соперника. И Ринальдо понимал, что поражение на войне означает в то же время поражение его партии но он не хотел так скоро сдаваться и решил смелым ударом порвать сети, которые, как он чувствовал, уже расставлял ему Медичи. В борьбе, которая сплетается из интриг и тонких дипломатических ходов, которая была стихией Козимо, Ринальдо чувствовал себя совершенно беспомощным, и он просто решил отделаться от опасного человека. Ему ничего не стоило подговорить очередного гонфалоньера, Бернардо Гуаданьи, арестовать Козимо. Гуаданьи, получив чек из конторы Альбицци, немедленно вызвал Козимо во дворец синьории. Козимо пошел, хотя его и дома, и по пути предупреждали об опасности. «Я хочу повиноваться своей синьории», говорил он, очевидно, желая соблюсти вполне законы, и не дать противникам повода обвинять его в неподчинении республике. Но за свои чересчур тонкие расчеты Козимо заплатился несколькими весьма неприятными часами. Как только он явился во дворец, его немедленно посадили в тюрьму по обвинению в государственной измене. Сидя в башне, он слышал внизу звон оружия и крики и, конечно, догадывался, что враги требуют от синьории его головы. Но он не потерялся. Через своего стражника он вошел в сношение с Гуаданьи, и тот за тысячу флоринов повел дело так, что Козимо, к великому огорчению Ринальдо, после двухнедельного заключения отделался изгнанием.

Теперь Козимо мог уже ликовать. Для Альбицци, несомненно, наступало начало конца. Перед изгнанием Козимо поужинал у гонфалоньера и, взяв у него для безопасности хороший эскорт, отправился в Падую, как ему было назначено. Над его имуществом во Флоренции была назначена администрация. Враги должны были сделать это в интересах города. Конфискация не разорила бы Козимо, у которого во Флоренции находилась только небольшая часть всех капиталов—остальные были в обороте за границей, — а гражданам внезапное изъятие из оборота наличности кассы Медичи во Флоренции грозило большими убытками. Да все, не исключая врагов, были твердо уверены, что изгнание продлится недолго. Так и случилось. Год провел Козимо на чужбине, окруженный почетом со стороны венецианцев, — Падуя находилась на венецианской территории, и ему было разрешено бывать в Венеции, — умевших ценить финансового короля. Он все время поддерживал сношения с Флоренцией, где не только друзья, но и сама синьория нуждалась в его советах и обращалась к нему. Между тем дела Альбицци шли хуже и хуже. Убедившись в том, что дни его господства сочтены, Ринальдо решился на отчаянный шаг: он вздумал вооруженным восстанием поправить дело. Но его сторонники Палла Строцци и Ридольфо Перуцци изменили ему. Когда дело было потеряно, он попробовал спасти себя при посредничестве папы Евгения IV, проживавшего в то время во Флоренции. Но все было тщетно. Олигархия рухнула вслед за демократией. Свобода Флоренции кончилась. Ринальдо пришлось покинуть Флоренцию, покинуть навсегда. С ним вместе были отправлены в изгнание все его сторонники. Изгнанных было так много, что не осталось в Италии города, в котором не поселился бы флорентинский *fuoruscito*. Это была последняя крупная эмиграция.

Козимо уходил в изгнание победителем. Вернулся он во Флоренцию господином. Когда стало известно, что он приближается к городу, народ запрудил всю *Via Larga*, где находился скромный еще дом Козимо, и всю соборную площадь, находящуюся по соседству. Все ждали его прибытия, чтобы устроить ему овацию. Но не в натуре первых Медичи были пышные церемонии, да и синьория их не хотела. Козимо вошел в город не теми воротами, у которых его ожидали; окольными путями пробрался, никем не замеченный, во дворец синьории,

чтобы приветствовать правительство, давно ему покорное, переночевал во дворце, чтобы избежать шума, и на другой день проснулся поводителем города.

Фукидид как-то сказал, характеризуя политическое положение Афин при Перикле, что на словах то была демократия, а на деле — владычество первого человека. То же двойственное правление водворилось во Флоренции вместе с Козимо Медичи. И раньше, мы знаем, были попытки установить тиранию, но они все кончались неудачно.

В истории всему бывает свое время. В середине XIV века Флоренция не потерпела бы ни Козимо, ни Лоренцо. У тиранна не было опоры. К середине XV века условия изменились. Флоренция сделалась столицей богатой территории, в которую вошли многие покоренные города, но с увеличением территории количество полноправного населения не увеличилось. Тосканую управлял город-государь, Флоренция. Все остальные города были подданные. Ни один пизанец, ни один ливорнец никогда не заседал во флорентинском дворце синьории, хотя все они исправно несли повинности. Разумеется, все эти города были недовольны и всегда готовы были поддержать тиранию. Тирания уничтожает господство города-государя, она устанавливает равенство подчинения для жителей всей территории. Вот почему тирания всегда опирается на население покоренных городов. Пока не наметилась оппозиция против флорентинского ига, тирания не имела почвы.

Альбицци уже могли бы воспользоваться этими фактами, но их попытка оказалась неудачной по другой причине. Альбицци были представителями крупного торгового и промышленного капитала. Чем больше Тоскана объединяется под гегемонией Флоренции, тем шире рынок, тем больше простора капиталу, тем легче сладить с конкуренцией других городов. Следовательно, крупному капиталу нужны завоевания. Альбицци всегда охотно воевали, потому что, кроме выгод, счастливые войны увеличивали их популярность в народе. Но они ошиблись в том отношении, что думали блестящими внешними авантюрами окончательно упрочить свое положение и добиться господства. Народ нельзя было долго обольщать военными успехами. Он хотя не очень хорошо понимал, зачем олигархии нужно непременно завладеть и Пизою, и Ли-

ворно, и Сиеной, и Луккой, но он знал, что, когда вой на, него заработку мало. А так как народ — или ремесленник, или рабочий, то ему далеко не безразлично, тратятся ли флорентинские деньги на наемников или на общественные и частные нужды в городе. Поэтому народ, в конце концов, всегда рад миру, а если еще на войне Флоренцию бьют, то он требует мира и прогоняет военную партию. Козимо это понял. Он избегал войны и начинал ее только в крайней необходимости, хотя и он был не прочь от округления флорентинской территории ¹⁾. Но все свои замыслы он предпочитал, где было возможно, осуществлять иначе.

Главным орудием политики Козимо как внутренней, так и внешней, был капитал. Раздачами денег он привлекал к себе сторонников и, убедившись, что это самое верное средство сохранять влияние, тужил, что не догадался прибегнуть к нему раньше. Людям среднего достатка он предлагал дешевый кредит. Ремесленников и рабочих он ублажал непрерывными крупными постройками. Артистов он заваливал работою, книжные лавки — заказами. Сознывая лучше, чем кто-нибудь, силу капитала, Козимо устроил такую систему обложения, при которой он мог свободно разорить богатого и влиятельного соперника или просто человека, который казался ему неудобным. Еще при жизни и при близком участии его отца, старого Джованни Медичи, было положено начало такой системе: в 1426 г. была проведена реформа налогов, *il Catasto*, сущность которой заключалась в том, что в обложение был введен принцип прогрессивности: если требовались новые налоги для покрытия военных издержек, то все должны были платить в зависимости от цифры состояния, притом взимаемый процент увеличивался вместе с величиною облагаемого имущества. Чем богаче человек, тем большую часть его имущества брали с него в виде налога. Этим способом народная партия одним ударом убивала двух зайцев: охлаждала военный пыл олигархов и укрепляла свою популярность в народе, с которого была снята часть податной тяжести. Козимо усовершен-

¹⁾ Он помог Франческо Сфорце завладеть миланским герцогством, и тот за это обещал завоевать для Флоренции Лукку. Но счастливый кондотьер, добившись своей цели, обманул Козимо. Козимо до конца жизни не мог простить своему другу этого обмана, но предпринять что-нибудь против Лукки силами Флоренции не решился.

ствовал эту систему, а так как распределение налогов находилось в руках преданных ему лиц, то теперь можно было регулировать обложение так, чтобы карать строптивных и поощрять покорных.

Капиталом действовал Козимо и против внешних врагов. Само собою разумеется, во-первых, что только за крупные деньги можно было получить услуги хороших кондотьеров. Но Козимо привлечением кондотьеров не ограничивался. Он умел бить своих врагов и иначе. Когда начиналась война между Флоренцией и другим государством, Козимо приводил в действие тайные пружины своего банкирского дома. Из Милана, из Неаполя, в то время, когда они воевали с Флоренцией и, следовательно, очень нуждались в средствах, вдруг по необъяснимой причине деньги начинали куда-то отливать. Пока там задумывались над причинами такого явления, от Козимо приходил посол и объявлял, что если там не перестанут воевать, то останутся совсем без денег. Капитал уже сделался силою, способной влиять на международные отношения.

Каким же образом Козимо тридцать лет стоял во главе Флоренции, будучи всего раз гонфалоньером и не занимая вообще никаких постоянных должностей? Прежняя практика флорентинских олигархий уже выработала для этого очень удобный способ. Члены синьории, приоры, по закону 1282 года, как мы знаем, сменялись каждые два месяца. Выбирали их члены цехов. Так как олигархи не могли ручаться, что постоянно будут выбирать лиц им угодных, то обыкновенно они пользовались таким моментом, когда мелкая буржуазия была напугана радикальными группами и к олигархии относилась с доверием. Собрание, созванное в такой момент, заставляли выбирать приоров года на два, на три вперед, т.-е. сразу несколько десятков смен. И, конечно, в списки уже не попадали люди, негодные олигархам. Имена избранных клались в особую урву и каждые два месяца извлекались оттуда в потребном количестве. Козимо сохранил этот обычай. Каждые пять лет назначалась специальная комиссия, балия, которая производила выборы на весь срок. Когда урна кончалась, назначали новую балию. Но Козимо думал, что этого недостаточно, и прибегал к другим средствам, неизвестным традиционной тирании олигархов. Ему удалось учредить пожиз-

зненную коллегию десяти аккопиаторов, без участия которых не проходили выборы ни на одну важную должность. В коллегию входили, конечно, исключительно люди, преданные Козимо. Где изменит избирательная механика, не промахнутся аккопиаторы, а если и аккопиаторы почему-нибудь ошибутся, то могла помочь другая коллегия — *otto di guardia*, представлявшая собою своего рода политическую полицию, которал, как известно, если и ошибается, то от ее ошибки страдают не те, которые ее создали, а те, против кого она направлена. На крайний случай, наконец, оставались налоги, которыми можно было разорить и обезвредить кого угодно.

Обладая таким оружием, Козимо нечего было бояться переворота вроде того, который смел олигаркию Альбицци. Он спокойно пользовался властью, старался не высовываться очень вперед и, когда мог, делал вид, что терпит около себя соперников. Так, одно время его как будто затмевал своей популярностью Нери Каппони, счастливый дипломат и победитель при Ангьяри; Нери был силен популярностью у солдат. Козимо уничтожил это неудобство тем, что убийством устранил главную опору его, офицера Бальдуччи, а так как он знал, что у Нери в городе нет большого сторонничества, то дружил с ним. Под конец жизни, когда в его партии начались несогласия, он допустил господство Луки Питти, ограниченного, жестокого и своевольного богача, зная, что, попробовав Питти, пожалеют о Медичи. Так и случилось. Козимо хорошо знал цену своим сторонникам. Немного было в их числе таких, которых он уважал. К большинству тех, которым он чаще всего давал ответственные должности, он относился с глубоким презрением потому, что все это были жалкие креатуары, пешки, которых нужно было двигать и которые сами не были способны ни на что. «Одевайся хорошо и говори поменьше», — сказал однажды Козимо одному из таких, который пришел к нему спрашивать, что ему нужно делать в новой должности.

Козимо, ни мало не задумываясь, отправил в изгнание всех своих противников, не смущаясь тем, принадлежат они к числу именитых граждан или нет. Когда ему намекнули, что во Флоренции почти не осталось видных граждан, он ответил, что при помощи двух локтей красного сукна можно выделать видных граждан в каком угодно количестве. Но он понимал,

что поддержка влиятельных флорентинских фамилий ему нужна. Недаром отец женил его на одной из Барди. Сам Козимо находился в очень хороших отношениях с фамилиями Аччайуоли, Пандольфини, Содерини, Гвиччардини. Это была уступка общественному мнению больше, чем мера самообороны. Козимо был силен другим.

Козимо—очень интересный тип итальянского тирана. В это время в Италии, как мы знаем, развелось довольно много тираннов, и выработалась целая теория захвата городской свободы. Наиболее обычным средством были счастливые войны. Козимо избрал другой путь; он опирался не на меч, а на флорин, и золото привело его к цели скорее, чем, например, Сфорцу. его победоносное оружие. И притом оружием не всегда можно было завоевать себе княжество. Пример Пиччинино, Карманьолы и многих других в этом отношении достаточно поучителен. Наконец, то, что завоевано оружием, нужно оружием и поддерживать. Это казалось наиболее трудным. Действительно, дом Сфорца в Милане пресекся уже на третьем поколении после основателя.

Козимо берег свое положение и, конечно, мечтал о том, чтобы передать его сыну. Но новому монархическому принципу, который он выдвигал, пришлось вынести упорную борьбу с традиционным флорентинским олигархизмом. Те, кто помогал Козимо стоять у власти, не были расположены переносить тираннию его сына и его внуков, и понадобилось много усилий, чтобы власть осталась, в конце концов, за Лоренцо.

Козимо нужны были все его присутствие духа и вся его предусмотрительность, чтобы противостоять всем этим опасностям, нигде не надавливать слишком сильно, нигде не казаться чересчур слабым. И он до конца оставался на высоте своей задачи. Он скрывал свои чувства, где нужно, притворялся, казался щедрым и расточительным, хотя был скуп, представлялся великодушным, хотя был жесток, строил, чтобы подкупить ремесленников, интересовался литературою потому, что такова была мода, и потому еще, что она давала хорошие уроки, покровительствовал ученым, художникам и поэтам потому, что это увеличивало популярность, а одаряемые усердно воспевали его в стихах, в прозе и в красках.

Тиранния, как и всякая другая форма деспотизма, построена на целой системе лицемерия и поддерживается организованным

преступлением. Козимо был не худшим из тираннов. Он не похож на последнего Висконти, Филиппо Мария, который пытал жену, насиловал служанок, изобретал утонченные пытки и боялся показаться вне дворца. Не похож он и на сына своего друга, Галеаццо Мария Сфорцу, который, как уверяли, отравил свою мать и выставлял на публичный позор соблазненных им женщин. Это и не Ферранте Арагонский, который казнит по малейшему подозрению своих лучших сотрудников, откармливает пленных, как свиней, приказывает солить тела обезглавленных жертв и одевать их, а потом с удовольствием обходит их бесконечные немые ряды. Это и не знакомый нам Сиджисмондо Малатеста, который насиловал дочерей, бесчестил одинаково монахинь и евреек, предавал мучительной смерти мальчиков и девочек, которые ему сопротивлялись, убивал своих жен, грабил подданных, не щадил ни вдов, ни сирот. В сравнении с такими продуктами своего времени Козимо, конечно, может показаться ангелом. Женщин он не насиловал, людей не грабил, никого открыто не убивал, ни над кем не издевался. Но он был убежден, что с четками в руках не управляют государством. Своих врагов он беспшумными средствами устранял так же верно, как и его бурные современники. Кинжал убийцы и меч палача не всегда отдыхали и в его правление. Судьба несчастного Бальдуччи служит достаточным примером. Но к убийству Козимо прибегал редко, потому что в этом не было нужды. Его кинжалом была раскладка налогов, его мечом — система изгнания. По существу и по результатам его тирании не отличается от тирании Висконти или Сфорцы. Она умнее, рассудительнее, трусливее. Его меньше проклинали при жизни и меньше бранили историки.

Труды по управлению изнурили Козимо, который и без того не отличался крепким здоровьем. К тому же на его голову обрушилось несколько семейных несчастий. Брата, которого он очень любил, он потерял рано; потом у него умер внук, сын любимого младшего сына Джованни, потом он потерял самого Джованни, на которого он рассчитывал больше, чем на своего вялого и болезненного первенца Пьеро. Тоскливо ходил старик по огромным хоромам своего нового дворца на Via Larga, выстроенного ему архитектором Микелоццо, богато украшенного скульптурами Донателло и фресками Беноччо

Гоццоли, прислушивался к тому, как гудко раздаются его шаги, и все твердил, что этот дом слишком велик для него.

Когда наступила весна 1464 года, у него с новой силой разыгралась подагра. Козимо почувствовал, что он не вынесет болезни, и велел перевезти себя в свою любимую виллу Кареджи. Там, окруженный семьей и друзьями, он доживал свои последние дни. Тяжело было ему, и он задумывался все чаще и чаще. «О чем ты все задумываешься?» — спрашивала его жена: — «Чудная ты женщина, — говорил ей Козимо. — Когда тебе нужно переезжать из города на дачу, ты начинаешь свои хлопоты за две недели. Неужели мне не о чем подумать, когда я собираюсь переселиться в другой мир?» Ему становилось все хуже. «Зачем ты закрываешь глаза?» — спрашивала у него опять мона Контессина. — «Чтобы их приучить», — отвечал умирающий. В теплый летний день, 1 августа, Козимо велел позвать к себе молодого Фичино и просил в последний раз почитать ему Платона. Философ, который любил Козимо, как отца, стал тихо читать ему вдохновенные фантазии великого философа о бессмертии души, и под звуки его голоса, прерываемого сдержанными рыданиями членов семьи, Козимо перешел в вечность.

19. Гуманизм пускает корни.

Мирское настроение делало все большие и большие успехи по мере того, как усложнялись элементы общественной жизни. И раз была показана дорога к источнику светской культуры, к античным писателям, к нему устремились стар и млад. Но трудна была дорога, и вначале большинство осталось с муками Тантала в груди. Лишь немногим удалось прильнуть к источнику, пользуясь помощью Салутати, Марсили и их кружка. Не было удобных средств сообщения знаний; книгопечатание, это могучее орудие обучения, получило широкое распространение позднее. Сотни и тысячи принуждены были ограничиваться обрывками науки.

Но когда в обществе имеется сильная потребность, мало-по-малу отыскиваются и пути к ее насыщению. В сущности изобретение Гутенберга было не более как ответом на усиливающуюся потребность в знании и было бы совершенно немислимо двумя столетиями раньше. А пока не было печатного

станка и подвижных букв, пришлось усилить старые средства. Устное преподавание сделалось регулярнее, переписка рукописей стала производиться в самых широких размерах.

Одним из первых профессиональных учителей во Флоренции был Доменико ди Бандино, еще не настоящий гуманист, но человек, уже проникающийся новыми веяниями. После него в местном Studio, т. е. в университете, преподавали и другие профессора, но всех им затмил Джованни Мальпагини. Кто этот даровитый, увлекающийся профессор, мы хорошенько не знаем. Может-быть, это он—тот непоседа-ученик и секретарь Петрарки, о котором упоминается в некоторых письмах первого гуманиста. Тогда, значит, традиции Петрарки через Мальпагини непрерывно продолжались во Флоренции, потому что город уже в 1397 году, вероятно, по инициативе Салутати, призвал его к себе. Джованни прибыл во Флоренцию не позже 1404 года. Успех его был огромный. Он объяснял римских писателей и Данте, и вокруг его кафедры постоянно собиралась жаждущая знаний толпа, которую он воспламенял своим словом. Перечислить его учеников значит назвать все самые блестящие имена последующего движения. Палла Строщи, Роберто деи Росси, Бруни, Марсупини, Поджо, Траверсари, Верджеро, Гуарино, Витторино да Фельтре—все они прошли через аудиторию Джованни, все черпали знания в неиссякаемом источнике его учености. Джованни является типичным представителем новой профессии, которую создал нарождающийся гуманизм. Он был странствующим учителем. Таких людей становилось все больше и больше по мере того, как увеличивался спрос на знания. Что же представляет собою странствующий учитель? Он несомненно гуманист, хотя пишет мало и больше по необходимости засвидетельствовать свою ученость, чем по внутреннему побуждению; иногда он не пишет ничего, и его литературное наследие, вообще говоря, не может быть причислено к перлам гуманистической литературы. Зато он прирожденный профессор. Он обладает огромной памятью, даром слова, страстно увлечен всем античным и умеет передать слушателям свой энтузиазм. Он не сидит долго на одном месте. Ему претит однообразие, его все тянет к новому, хотя бы его лекции пользовались величайшим успехом, хотя бы ему предлагались самые блестящие материальные условия. Покидая тот или иной город, он часто сам не

знает, куда он пойдет, но только он чувствует, что ему нужно идти, потому что он не видел еще столько городов, потому что он боится губительного влияния чересчур однообразной обстановки. Это типичный сын Возрождения.

Первые учителя, итальянцы, обучали только латинскому языку, греческого они не знали или знали не настолько, чтобы преподавать его. Дело Леонтия Пилата не было ни достаточно хорошо, ни достаточно прочно. И гуманисты жадным взором впивались в горизонт, скрывавший от них наследницу Эллады, греческую империю, где были и ученые, и рукописи, где были все средства, чтобы помочь им расширить свое знакомство с древностью. Одного латинского языка было недостаточно для того, чтобы это знакомство было полным и всесторонним. Это чувствовали уже Петрарка и Боккаччо, это чувствовали вслед за ними все остальные гуманисты. Латинский язык дал им достаточно знаний, и они знали, что эллинская культура — источник многого из того, что они ценили как аргумент в борьбе со старым мировоззрением. Им было необходимо ознакомиться с греческой литературой. И опять, когда необходимость эта стала сознаваться достаточно настойчиво, сейчас же явилась возможность познакомиться с греческим языком. Флоренция и тут положила почин. Нигде пробы в теоретическом мировоззрении не ощущались так живо, как на берегах Арно. Это потому, что там шагнули дальше других в деле выработки мировоззрения. Старик Салутати особенно старался раздобыть греческого профессора, и его в этом деятельно поддерживали его молодые, жаждущие знания друзья, Роберто деи Россси и Палла Строцци. Благодаря их соединенным усилиям флорентинский Studio почти одновременно с Мальпагини получил настоящего греческого профессора, ученого, который был не чета Леонтию Пилату или Варлааму, который и в Константинополе пользовался солидной репутацией. То был Мануил Хризолор, проникливый византиец, который хорошо умел определять рыночную цену своих знаний и, когда это зависело от него, с большою охотою принимал на себя дипломатические миссии, чем профессуру. Он пробыл во Флоренции около трех лет и положил прочное основание греческой эрудиции флорентинских гуманистов. Потом он учил и в других городах, но нигде не встречал того энтузиазма и того увлечения, с каким отдавались науке флс-

флорентинские гуманисты. Когда Хризолор оставил Флоренцию, она больше не нуждалась в учителях греческого языка. Любой из гуманистов мог заменить Хризолора. Были в Италии и позднее греческие ученые, но главное было сделано Хризолором и его флорентинскими учениками. Когда появятся другие греки, они уже будут возбуждать философские споры и сами будут спорить с гуманистами, как с равными по учености. И это время уже недалеко.

Овладеть языком древней Эллады, чувствовать себя совсем дома с римскими классиками еще не значило сделать все для ознакомления с литературой и культурой античного мира. Гуманистам часто не хватало материала. Они узнавали из своих источников, что Цицерон написал такие-то трактаты, произнес такие-то речи, что Тацит создал сочинения, которым удивлялись еще в древности, а между тем им не попадалось ничего подобного. Оказывалось, что античный мир оставил гораздо больше, чем дошло до них, и едва был сделан этот вывод, как сейчас же гуманисты стали стараться поправить дело. Уже Петрарка при всей своей скупости не жалел денег, чтобы приобрести какую-нибудь новую рукопись, и чуть-было не сошел с ума от гора, когда один пьяница-грамматик пропил одолженную ему поэтом рукопись цицеронова трактата «О славе»¹⁾. Боккаччо, Марсили, Салутати — все они не упускали случая, чтобы раздобыть где-нибудь новую рукопись, но больше всего было разыскано как латинских, так и греческих писателей тогда, когда за поиски принялись систематически. Козимо Медичи и папа Николай V, Никколо Никколи и Поджо Браччодини — вот, главным образом, те люди, которым наука обязана собиранием рукописей. Значительная часть Тацита, целый ряд новых трактатов и речей Цицерона, весь Квинтилиан, почти весь Плиний, вполне или отчасти сочинения Петрония, Лукреция, Валерия Флакка, Колумеллы, Авла Гелия, Витрувия, Присциана и многих других появились благодаря им на свет божий. Пока гуманисты не взялись за дело, рукописи гнили и поедались

¹⁾ Другого экземпляра с тех пор не было найдено, а переписать Петрарка не успел. Так мы и не знаем содержания этой книги, единственной, которую знали гуманисты и не знаем мы.

мышами в монастырских библиотеках. Однажды Боккаччо, странствуя по Апулии, прослышал, что в монастыре Монте Кассино имеются ценные старинные рукописи. Не откладывая дела в долгий ящик, он отправился туда и первым делом спросил у встретившегося ему монаха, каким образом он может удостоиться великой милости лицезрения библиотеки. Монах с удивлением взглянул на него, потом показал ему на крутую лестницу и промолвил: «взойди туда: библиотека не заперта». Боккаччо был толст; задыхаясь, взобрался он наверх и увидел, что помещение, где хранилась библиотека, стоит без дверей. Изумленный вошел он туда и увидел, что на окнах растет трава, а полки с книгами покрыты густым слоем пыли. Стал он перелистывать книги и увидел, что во многих срезаны поля, в других недостает страниц, что, словом, сокровище, которому в его глазах цены не было, испорчено всякими способами. Этого поэт не мог вынести. Весь в слезах сошел он вниз и стал спрашивать у монаха, почему здесь так недостойно обращаются с книгами. Тот простодушно ответил, что монахи зарабатывали себе по несколько сольди, вырывая пергаментные листы, соскабливая с них старый текст и приготавливая из них маленькие книжки для псалмов; из срезанных полей они тоже изготовляли либо книжки, либо молитвенники и евангелия для женщин, либо амулеты. А монтенассинская библиотека считалась одной из лучших, и в числе книг, просмотренных Боккаччо, было много рукописей латинских и греческих авторов. Позднее Поджо, который был настроен не так элегически, как Боккаччо, извлек оттуда много интересного. Поджо, вообще, придерживался того правила, что нужно пользоваться всякими способами, чтобы освободить из монастырских тюрем «благородных узников» и не давать им гнить и поедаться мышами «в таких грязных помещениях, в которые не решились бы бросить осужденного на смерть». И Поджо не считал позорным, если не было другого способа, украсть книгу, которую он считал нужным освободить, особенно если это было не в Италии, а у германских или иных «варваров». Про такие его подвиги современники знали очень хорошо и не слишком его осуждали за них.

С латинскими книгами было сравнительно легко. Несравненно труднее было с греческими. В Италии и за Альпами греческих рукописей было мало, и если кто хотел запастись

хорошими списками, должен был обратиться в Константинополь или другой византийский город. И вот вскоре после того, как греческий язык перестал быть чужим для гуманистов, они сейчас же стали выписывать из Византийской империи. В Италии к этому времени оказались две поэмы Гомера, кое-что из Платона и некоторые отрывки Аристотеля. Бруни выписал Фукидида, биографии Плутарха и почти всего Ксенофонта, Гуарино сам жил некоторое время в Константинополе и привез оттуда некоторые рукописи, но так как денег у него было мало, то его через несколько времени снова стали посылать назад и снарядили-было вместе с ним великого мастера по части охоты за рукописями — Поджо. Поездка, однако, не состоялась, и честь главного собирателя греческих рукописей для гуманизма досталась Джованни Ауриспе, этой «книжной гарпии», который в 1423 г. провез с собою ящик с 238 томами исключительно языческих греческих писателей, большинство которых было совершенно незнакомо в Италии. Тут были почти все речи Демосфена, все сочинения Платона и Ксенофонта, Диодор, Страбон, Ариан, Лукиан, Дион Кассий. Кроме того, Ауриспа отдельно отправил через Мессину отцов церкви. Как он раздобыл такое сокровище, осталось не вполне ясно. Позднее византийский посол во Флоренции называл его мошенником и, вероятно, не преувеличивал. Потом много привозил Филельфо, потом пал Константинополь, и переселившиеся в Италию греки познакомили гуманистов почти со всеми теми греческими писателями, которых знали и мы до недавнего времени, когда египетские папирусы дали вновь много совершенно неизвестных текстов.

Гуманисты, однако, не ограничивались собиранием рукописей. Сколько бы их ни искать, все-таки они не могли удовлетворить все возрастающему спросу. Приходилось переписывать. Некоторые гуманисты делали это собственноручно. Поджо, когда ему в его экскурсиях нельзя было достать рукопись никакими средствами, переписывал ее скрепя сердце. Никколи, когда истратил все свое состояние на приобретение рукописей и предметов древности, сделался великолепным переписчиком и одинаково красиво писал как уставом, так и скорописью. Папа Николай V, основатель ватиканской библиотеки, и Козимо Медичи, основатель лаврентианской, тратили на переписчиков бешеные деньги. Спасаясь однажды из Рима

в Фабриано от чумы, папа взял с собою переписчиков, чтобы не терять времени. Козимо завалил заказами флорентинских книгопродавцев. По его заказу самый известный из них, Веспасиано Бистичи, в 22 месяца приготовил ему 200 томов для библиотеки основанного Козимо Фьезоланского аббатства. Для этого ему пришлось держать все время сорок пять переписчиков. Когда явилось книгопечатание, любители рукописей не скоро согласились признать его. Они вышучивали изобретение, «сделанное варварами в каком-то немецком городе». А герцог урбинский Федерико Монтефельтре говорил, что стыдился бы держать в своей библиотеке напечатанную книгу.

Хотя гуманисты все могли бы повторить слова Петрарки, говорившего, что не может насытиться книгами, но книги, тем не менее, не были единственными предметами их страсти. Почти столь же горячо отдавались они коллекционированию всевозможных древностей: монет, медалей, камней, ваз, статуй, надписей, фрагментов всякого рода. Все они собирали сколько могли и сколько позволяли средства, начиная с Петрарки. Поджо отличался и тут. Но главным деятелем, который понимал научную ценность такого коллекционирования, был Чириако деи Пицциколи из Анконы.

Чириако был купцом и с детства был одержим настоящей манией странствования. Чириако, кроме того, страстно любил Данте. Он его изучал, читал комментарии к «Божественной Комедии», сам пробовал ее комментировать. Ему мешало незнакомство с латинским языком. Он шутя выучился ему. Вергилий пробудил в нем страстную любовь к древности, и его потянуло в Рим, которого он до тех пор не видел. Там, созерцая древние храмы и дворцы, горюя под руинами, он пришел к тому заключению, что вещественные остатки античного мира пожалуй, дают более правильное и более глубокое представление о нем, чем даже книги. И он посвятил жизнь собиранию всякого рода древностей. Коллекционирование сделалось его главной задачей, ибо сразу утоляло обе его страсти: жажду передвижений и любовь к античному. В Дамаске, Бейруте, на Кипре, на островах Эгейского моря он искал и находил бронзу, мраморы, камни, книги, разбирал надписи и легенды на монетах, определял эпоху и школу скульптур. Поиски сами по себе составляли для Чириако наслаждение. Найдя где-то

«Илиаду», он выучился по ней греческому языку и стал делить свои досуги между эллинскими и римскими поэтами. Набрав археологического и художественного груза, он приезжал в Италию, устраивал дела и снова уезжал. В нем сидел какой-то демон, постоянно толкавший его к новым странствованиям. «Иди», говорил ему внутренний голос; перед его взором начинали мелькать Венеры, Вакхи, вазы, развалины, и Чириако спешил в родную Анкону, чтобы сесть на первый корабль. Любовь к древности сделала его Агасфером. Иногда друзья уговаривали его отдохнуть. Чириако отвечал: «Я пробуждаю мертвых». И он сделал не меньше, чем любой из гуманистов, для воскрешения древности. Только результаты его трудов были реальнее, потому что они были вещественны. Чириако был первым археологом. Он оставил подробное описание своих странствований. Гуманисты его любили, хотя часто поднимали на смех, когда он от рассказов о виденном переходил к проявлению своей литературной учености. Тут он часто попадал в просак, а у его приятелей, Лоски, Поджо и других языки были острые. Зато те же скептики охотно признавали его заслуги в археологии. И они не преувеличивали. Вся позднейшая работа, сознательно и планомерно направленная к отысканию остатков древности с помощью раскопок и проч., покоится на началах, им положенных.

Не один Чириако был одержим такой страстной любовью к древности. Она в той или иной форме была присуща всем гуманистам. И не было бы ничего удивительного, если бы, исходя из этого, мы стали смотреть на гуманизм, как на своего рода романтизм, бегство в золотые чертоги античного мира, бегство от действительности под бичом обострившегося чувства. Такой взгляд, однако, был бы совершенно неверен. Мы знаем, что представляет собою гуманизм, как историческое явление. Он одно из проявлений духа Возрождения. Задача его — доставить положительный материал для формулировки нового мировоззрения. Древность — источник большинства тех формул, из которых сложились аргументы гуманизма. Конечно, едва ли кто из гуманистов понимал таким образом роль древней литературы или древнего искусства. Каждый для себя видел в античном мире интерес, главным образом, личный. Внутренние конфликты, как у Петрарки, выгода и даже просто мода, как у мелких честолюбцев, — вот

что определяло в каждом отдельном случае увлечение классицизмом. А в сумме сознательные личные моменты складывались в бессознательный общественный результат. И борьба со старым вовсе не была пустым звуком.

Начиная от Салутати и до Бекаделли и Валлы, против каждого гуманиста выступает представитель старой церковной точки зрения, который обвиняет нового человека в предпочтении богословию поэзии, отцам церкви языческих писателей. Гуманисты отбиваются сначала на почве старого мировоззрения, пробуют не отбрасывать вполне христианских догматов, пытаются доказать совместимость христианской веры с языческими симпатиями, стараются снять с классиков обвинение в безнравственности. Но скоро они увидели, что сражаться с теоретиками старого мировоззрения на их собственной почве явно невыгодно, и сами стали нападать на своих противников. Это было тем легче, что противники в большинстве случаев были монахи, т.-е. люди, уже потерявшие симпатии общества. Тут борьба пошла успешнее. Старая точка зрения, очевидно, стала приходить в еще большее несоответствие с жизнью, а новая пускала корни, все более и более глубокие. У гуманистов стало постепенно складываться свое, вполне светское, мировоззрение.

Этот последний факт, как отчасти уже указано, в сущности объясняет все то, что только что описано. Учителя, учебники и наглядные пособия гуманизма в той регулярной форме, в какой они создались теперь, были ответом на обострившуюся общественную потребность. В свою очередь, их появление сделало возможным тот расцвет гуманизма, который мы сейчас будем изучать.

20. Флорентинская плеяда.

В теплый весенний день 1431 года на залитой солнцем огромной площади Синьории царило, как всегда, большое оживление. В то время площадь была гораздо просторнее, чем теперь: не было плохой статуи герцога Козимо, не было фонтана с вычурными скульптурами школы Джованни Болонья, с левой стороны и спереди здания не подходили так близко к Дворцу Синьории. Украшающая площадь с правой стороны

чудесная готическая веранда, так называемая Лоджа Приоров, не была заставлена статуями, у открытых дверей не стоял беспомощный и манерный Геркулес Баччо Бандинелли, так зло и справедливо высмеянный Бенвенуто Челлини. Площадь имела необыкновенно скромный, но величественный вид. По ней сновали суетливые купцы, с деловитыми лицами проходили во Дворец горожане, толпились кучками ремесленники, ходили с аллебардами солдаты, несущие полицейскую службу; монахи быстрой походкой со спущенными на глаза капюшонами проскальзывали мимо публики, сопровождаемые шутками и остротами, то-и-дело проезжали верховые.

Множество лавок выходило на площадь. Тут торговали ремесленники, занимались своим промыслом менялы, распоряжались в своих конторах крупные купцы. Одна из лавок особенно обращала на себя внимание. В просторном светлом помещении не было видно обычного товара, в глубине стояли столики, за которыми писали несколько человек, по стенам помещались шкафы с полками и ящичками, и из них выглядывали свитки и переплетенные книги. У порога стояла группа в богатых костюмах, а перед ними — юркий, скромно одетый, молодой еще, хозяин лавки, книгопродавец Веспасиано Бистиччи. Он почтительно объяснял что-то полному, важному, одетому в пурпур, канцлеру республики, Лионардо Бруни, и тот слушал его, отвечая медленно и с расстановкой. К разговору прислушивались купец Джаноццо Манетти, один из самых образованных людей во Флоренции, и гуманист Франческо Филельфо, проживавший в то время во Флоренции в качестве профессора в местном университете. Его подвижное с неприятным выражением лицо изображало величайшую почтительность к канцлеру-гуманисту, а глаза то-и-дело перебегали к другой группе. В той было три человека. Они стояли около переписчиков, рассматривали их работу, делали замечания. Один из них был монах, небольшого роста, с открытым, улыбающимся лицом, в расе камальдульца; его одежда составляла поразительный контраст с светлым розовым одеянием одного из его собеседников, которое красивыми складками падало до полу. То был Никколо Никколи, шестидесятипятилетний старик, истративший целый капитал на покупку книг и живший в последнее время милостями Козимо Медичи. Козимо стоял рядом. Некрасивый, просто одетый, он казался приказ-

чиком Никколи, которому, как старшему, оказывал все знаки уважения. Монах был их общий друг, настоятель монастыря Анджели и генерал камальдильского ордена, Амброджо Траверсари. У шкапов стояла -одинокая мрачная фигура Карло Марсупини. На его бледном, красивом лице выражалось только одно увлечение книгою, которую он держал в руках. На происходившее вокруг него молодой гуманист не обращал ни малейшего внимания.

У дверей лавки произошло движение. По площади проходил немолодой уже, но поразительной красоты и очень богато одетый человек. Даже во Флоренции, изобилующей красивыми лицами, не было ему равного. Люди, никогда его не видевшие, раз взглянув на это лицо, безошибочно определяли: «Это мессер Палла». То был действительно Палла Строцци, наряду с Козимо самый богатый человек во Флоренции, счастливый отец семейства, щедрый меценат. Бруни и Манетти почти-тельно его приветствовали, а Веспасиано предложил зайти к нему в лавочку, но мессер Палла, ласково ответив на поклон, жестом отклонил приглашение и быстро исчез в дверях Дворца Синьории. У него был обычай не останавливаться на площади, ибо он всегда чуждался опасной политической игры и не хотел, чтобы о нем сложилось мнение, как об активном деятеле, ищущем популярности. Но мессер Палла не рассчитал, или Козимо рассчитывал черезчур тонко, только блестящему вельможе было суждено умереть в изгнании почти бедняком.

Козимо Медичи и Палла Строцци были лучшими друзьями просвещения во Флоренции. Компания, собравшаяся в книжной лавке Веспасиано, — светила флорентинского гуманизма. В ней недоставало самого даровитого ее члена — Поджо, который был в то время в Риме и окончательно поселился во Флоренции только в 1453 году. Остальные города Италии не могли сравниться со столицей Тосканы богатством талантов. Все они вместе не могли выставить такой блестящей фаланги. В Милане был Лоски, в Вероне — Гуарино, в Мантуе — Виторино, в Неаполе — Бекаделли. Валла был еще молод. Зато во Флоренции уже почти сформировался Леоне Баттиста Альберти, и должны были родиться Фичино, Пико делла Мирандола, Поллиццано.

Никколи, Бруни, Траверсари, Манетти, Марсупини, эти пять флорентинцев, заложили первые основания гуманисти-

ческого мирозерцания. В них интересно все — их жизнь и их думы, их пороки и их вера, их ученость и их теоретическая нерешительность.

Как тип, из всей компании наиболее интересен, несомненно, Никколи. Вся Флоренция знала этого старика, которого страсть к древности сделала маниаком. Он был богатым человеком, а под конец жизни у него не осталось ничего. Состояние его все ушло на книги и на древности. Он бы мог умереть в нищете, если бы не рассчитанная щедрость Медичи. Козимо купил у Никколи его библиотеку, предоставив ему пользоваться ею до конца жизни и открыв ему взамен нее неограниченный кредит в своем банке. Никколи был влюблен в свои книги. Многие из них были переписаны его собственной рукою, много было среди них уникалов, добытых с огромными затруднениями. Но он еще больше любил древность и делал все, чтобы источники знакомства с античным миром стали доступны всем. Он охотно собирал вокруг себя молодежь, готов был целые часы рассуждать с людьми, которые интересовались его мнением или хотели извлечь пользу из его огромных знаний. Свое сокровище, библиотеку, он без малейшего колебания открывал всем желающим и радовался как ребенок, когда его книгам удавалось разбудить в ком-нибудь интерес к древней литературе. Умирая, он просил Козимо, чтобы тот не мешал и впредь никому пользоваться его рукописями. Козимо исполнил просьбу старика, и таким образом была основана первая публичная библиотека в Европе. Она помещалась в монастыре Сан-Марко, заключала в себе 800 томов греческих и латинских рукописей светского и духовного содержания и стоила, по исчислению опытного в книжном деле Веспасиано, 6000 флоринов ¹⁾. Никколи не только прекрасно знал рукописи, он уже пришел к пониманию важности критики текста. При переписке, если была возможность, он брал все имевшиеся во Флоренции рукописи и, сопоставляя различные чтения, устанавливал лучшее. Во всем, что касалось рукописей, он в одной своей персоне представлял целое бюро, готовое дать всякую необходимую справку. Он не только знал, где и у кого находится такая-то из известных

¹⁾ Теперь книги Никколи входят в состав рукописей Лаврентианской Библиотеки.

рукописей, но каким-то верхним чутьем угадывал, что тут или там должны еще находиться неизвестные рукописи. Когда Поджо или Бруни ехали за Альпы, он их тщательно снабжал инструкциями; чуть не каждый из его земляков, ехавший за границу, получал от него заказ.

Не одни книги были предметом коллекционирования Никколи. Его дом был похож на музей. Бронзовые, серебряные, золотые медали, вещи из желтой меди, головы и бюсты из мрамора, сосуды и множество других античных предметов наполняли его дом. И всем во Флоренции, да и вне Флоренции, было известно, что если кто хочет сделать удовольствие старику, тот должен поднести ему статую, античный сосуд, монету, надпись, мозаику.

Поклонение античному он доводил до мелочей. Обед у него всегда накрывался на белоснежных скатертях, ел он из античных мисок, перед ним стояли античные вазы, он пил из хрустального или другого античного кубка. «Просто любо было смотреть, как он сидит за столом, такой античный!»—в простодушном восторге восклицает Веспасиано, рассказывая об образе жизни Никколи. Теперь все это представляется немногим педантичным, но хорошо освещает своеобразную фигуру Никколи.

Современники сообщают еще несколько черт, характеризующих этого своеобразного любителя древности. Это был несомненно, очень нервный человек. Он не мог выносить ослиного рева, звука пилы, не мог слышать, как скребется мышь в подполье. На чистоте он был немного помешан. Когда он уезжал куда-нибудь и забирал с собою свою сожительницу, он передавал ключи от дома и шкапов Траверсари; тот посылал время от времени одного из своих послушников, который все чистил, выбивал и вытряхивал одежды, вообще поддерживал порядок. За это Никколи бывал очень благодарен своему другу. Человек с болезненным самолюбием, он не выносил противоречия и самой легкой критики; ему сейчас же начинало казаться, что его считают дураком и поднимают на смех. «Уж очень он нежен», — острит про него Поджо, — «словно стеклянный: от малейшего толчка разбивается». Между тем сам Никколи был очень несдержан на язык, и даже ближайшим друзьям приходилось часто морщиться от его злых шуток. Впрочем, если ему не отвечали тем же, он сам скоро

сознавался, что был неправ. Его друзья, Траверсари, Поджо, Марсупини, знали эту его особенность и терпеливо ждали, пока Никколи придет мириться. Но с Бруни однажды он поссорился очень серьезно. Ссора длилась шесть лет, и сердечные отношения никогда не были восстановлены.

Дело в том, что Никколи, считая семейную жизнь такою же помехою для занятий, как и общественные должности, оставался холостяком. Жену заменяла ему экономка по имени Бенвенута, к которой старик был очень привязан. Его братьев это шокировало, они всячески его урезонивали, но ничего не помогало. Тогда они прибегли к средству, крайне характерному для нравов того времени. Ни в чем неповинную женщину поймали на улице, задрали ей юбки и высекли на глазах хохотавшей толпы зевак. Никколи был вне себя и обращался к каждому за сочувствием. В Бруни, который тоже отличался любовью к прекрасному полу, он надеялся найти нравственную поддержку, но на грех он его перед этим чем-то задел, и Бруни вместо сочувствия холодно отвечал ему, что не стоит волноваться из-за кухарки. Никколи, разъяренный, стал поносить вчерашнего друга на всех перекрестках, а Бруни написал на него ядовитую инвективу. Долго мирили их потом и Траверсари, и Поджо, и даже сам папа Евгений IV; но все было безуспешно, пока время не загладило обоюдной обиды.

Чувствительность Никколи не ограничивалась сферою вопросов личной чести. Он не выносил несогласий и на почве профессиональной, считая себя большим знатоком латинского языка. Если искать объективных признаков его учености, то мы их не найдем. Единственное его литературное наследие — маленький трактат о латинской орфографии, нечто вроде учебника для начинающих, написанный притом на итальянском языке. Почему он не решился воспользоваться латинским языком, знанием которого он так гордился, остается неясным. Бруни говорил, что Никколи просто боялся показать свое полное невежество, но Бруни был в то время с ним в ссоре. Вероятно, Никколи не хотел подвергать свою латынь критике тех, которых он так нещадно критиковал сам, да и неловко было писать по-латыни тому, кто, кроме Вергилия да Горация, не признавал ни одного мастера языка.

Так жил вдали от дел, вдали от политики этот одинокий чудака, хотевший создать себе в окружающей обстановке ил-

люзию античного. Но в душе его оставался один уголок, куда ни разу не упал луч воскрешенной древности. Это была его вера. Никколи всегда был добрым христианином. В его доме стоял алтарь, за которым Траверсари ежедневно служил мессу, а умирал он на руках у своего друга со всеми церемониями, необходимыми для обеспечения места в раю душе верующего католика.

Духовник и ближайший друг Никколи, Амброджо Траверсари, во многом был похож на него. Он ребенком пришел во Флоренцию, поступил в монастырь и постепенно прославился святой жизнью и ученостью. Он самоучкою выучился полатыни, Хризолор обучил его греческому, пробовал он учиться и еврейскому. В городе все знали, что фра Амброджо остался девственником, и одно это поражало обывателей, ибо распущенность монахов была давно уже притчею во языцех. Ученость и святая жизнь доставили ему хлопотливую, но почетную должность генерала ордена, а должность кинула его в бурное море церковной политики. Но маленький монах не потерялся: на Базельском соборе он играл видную роль, а во время переговоров об унии во Флоренции, благодаря знанию греческого языка, был прямо незаменим. Орденом своим управлял он строго, а с курией вел ловкую игру. Он метал громы по поводу испорченности церкви и царящей в ней симонии, требовал реформы в пламенных речах, а приехав в Рим, усердно обивал пороги Ватикана и давал понять влиятельным кардиналам, что он ни на чем не настаивает, насчет же пороков церкви разговаривает больше для отвода глаз. И такого умного политика в курии очень ценили, только находили, что он мог бы быть не таким убедительным в своих филиппиках против Рима.

Этот ловкий прелат был ярым поклонником древности. Значительная часть библиотеки Никколи всегда была в его келии, и он неустанно изучал одного за другим всех классиков. Объезжая монастыри своего ордена, он первым делом забирался в библиотеки и, если находил что-нибудь интересное, сейчас же отправлял к Никколи. Он в таком совершенстве владел латинским и греческим языками, что мог прямо с греческого текста диктовать латинский перевод, и Никколи, который обыкновенно записывал за ним, несмотря на быстроту своего почерка, все просил его говорить помедленнее. Но

фра Амброджо думал, что если бог дал ему столько знаний, то он должен употреблять их и на дела, угодные богу. Поэтому он переводил все время отцов церкви и не решался сделать того же с каким-нибудь языческим писателем. Больше того: он избегал цитат из классиков, потому что это было запрещено монашеским уставом. Но в нем сидел несомненный и восторженный поклонник этой же самой языческой древности. Когда он приезжал по орденским делам в Рим, он больше бродил по развалинам в обществе папских гуманистов, чем сидел в канцеляриях. Писал он великолепной цicerоновской прозой, от которой так и несло языческой стариной. В своей келии он собирал любителей античного — Никколи, Медичи, Марсупини, часто Бруни и Поджо, и разговоры там шли о языческой древности. Все это Траверсари считал незапрещенным. Но порою ему становилось завидно, что переводы с греческого, сделанные Бруни, удостаивались всеобщих похвал, а его собственные проходили незамеченными. Находили же Никколи с Козимо, что его переводы лучше. Не все ли равно, что Бруни переводил Платона и Аристотеля, а он — Иоанна Златоуста. Конечно, в глубине души он понимал, что Платона и Аристотеля прочтут все, а комментарии Златоуста на послания ап. Павла не нужны большинству, но это и было обидно. И вот однажды Козимо внес великое смятение в его душу, попросив его перевести Диогена Лаэртского. Фра Амброджо очень хотелось потягаться с прославленным Бруни, но Диоген был язычник, и совесть не позволяла его популяризировать. Обращался он за советом к известным своей строгостью духовным лицам. Те нашли, что в этом нет ничего греховного. Флорентинские друзья приставали. И фра Амброджо решился, утешая себя тем, что перевод пойдет монахам на пользу, а грех свой он искупит усиленным переводом отцов. И все-таки, пока он не кончил перевода, он все сокрушался: «Лучше бы мне никогда не браться за эту работу! Во сколько раз это больше соответствовало бы и моим помыслам, и моим прежним правилам!»

Но благочестивый гуманист мог не беспокоиться. Перевод Диогена не повредил ему. Его скоро после смерти причислили к лику святых, а добрый Веспасиано сам слышал от людей, достойных доверия, что зимою в большие морозы на его могиле чудесным образом цвели цветы в изобилии.

Среди других учеников у Траверсари был один, которым он очень гордился. Джаноццо Манетти был купцом и банкиром, прежде чем сделаться гуманистом. Он с самого детства стремился к литературным занятиям, но отец, смотривший на дело образования сына с практической стороны, запретил ему их, и только двадцатипятилетним мужчиною он мог приступить к науке. Лихорадочным трудом, недосыпанием ночей Манетти наверстал потерянное время и не только овладел в совершенстве латинским и греческим языками, но выучился даже и еврейскому—первый из гуманистов, потому что Траверсари не осилил его. Изучая еврейский язык, Манетти преследовал практические цели. Ему нужно было оружие в богословских спорах с евреями, ибо так же, как Никколи и Траверсари, мессер Джаноццо был добрый христианин. Даже греческий язык ему нужен не потому, что на нем говорили Платон и Гомер, а потому, что на нем написаны священные книги. Он считал неуместными какие бы то ни было оговорки в делах религии. Христианская вера, говорил он,—не вера, а уверенность, а учение церкви обладает бесспорностью математических доказательств. Человек с крепкими нравственными устоями, Манетти никогда не лжет, с уст его никогда не срывается клятва, он ненавидит игроков, которыми была полна Флоренция. Он так тонко и глубоко знает людей, что не только простодушные флорентинцы, но даже сам Альфонсо Арагонский готов считать его пророком. Манетти—необыкновенный оратор и стилист. Ему всегда поручаются самые трудные дипломатические миссии, и он выполняет их почти всегда счастливо, добывая согражданам мир, родине славу, а себе популярность¹⁾. Он говорит так хорошо, что папа Николай V слушает его с закрытыми глазами, боясь проронить слово, а Альфонсо Арагонский, которому во время речи Манетти села на нос муха, не замечает этого до самого конца речи²⁾. Он так владеет словом, что без подготовки может говорить лучше, чем Марсупини говорит с подготов-

¹⁾ Его отчет о дипломатической миссии в Венеции в 1448 году показывает, на какой высоте стояло политическое искусство в итальянских республиках даже в эту раннюю пору.

²⁾ Самые знаменитые из речей Манетти, в том числе две, только что упомянутые, записаны. На теперешний взгляд, в них нет ничего, что оправдывало бы восторги современников.

кой, и там, где отказываются самые опытные, выступает он. Он пишет так убедительно, что кондотьер Никколо Пиччинино, человек, у которого нет ничего святого, по одной записке Манетти велит сделать все, чего тот просит. Его популярность и независимые суждения сделали его неудобным во Флоренции, в которой уже все подчинялось Медичи. Его разорили налогами. Вынужденный уплатить синьории 35.000 флоринов, он покинул любимую семью, родину, которой служил, и отправился искать счастья у папы Николая V и у Альфонсо Арагонского.

Трое флорентинцев, которых мы только что охарактеризовали, представляют собою фигуры, необыкновенно типичные для своего времени. Многие, что бродит еще у Марсили и Салутати, у них определилось, но многое и у них находится в состоянии брожения. К классикам они относятся вполне сознательно, почерпая у них именно то, что им необходимо, — обоснование прав личности. Даже Траверсари вступал в такие компромиссы с церковной точки зрения, которые по теоретическому значению были гораздо более важны, чем перевод Диогена. Достаточно просмотреть его письма к Никколи, в которых идет речь о всяких житейских делах, чтобы увидеть, насколько этот монах ушел далеко от средневековых идеалов. О Никколи и Манетти нечего и говорить. Все пункты, в которых наши гуманисты являются новыми людьми, сводятся к одному, чаще бессознательному, чем сознаваемому представлению — принципу личности. Уходя в античный мир на поиски за индивидуалистическими аргументами, они думают, что античные идеалы так же легко примирить с идеалами церковными, как легко сейчас же после христианской мессы вступить в непринужденную беседу о Платоне. Они не видели глубокого противоречия в своем мировоззрении, а противоречие было у них глубже, чем у Салутати. Античный мир раскрылся первому канцлеру-гуманисту только одной стороной. Эллада хранила от него свою красоту и тайны своей философии. При этих условиях легче было считать античные и церковные идеалы примиряемыми. Никколи, Траверсари, Манетти были знакомы с греческой мыслью и все-таки не замечали противоречий в своем мировоззрении.

Если переводить факты личной психики на язык общественной эволюции, то этап, который отмечают собою три

благочестивых гуманиста, означает, что запросы жизни к идеалам светского миросозерцания сделались настоятельнее, одна римская культура перестала удовлетворять, обратились к греческой. Старые заветы в сердцах людей ослабли, право личности свободно мыслить и устраивать жизнь согласно потребностям стало признаваться все больше и больше, но главный символ старого мировоззрения—католическая вера—еще держался у большинства.

Однако находились уже люди, которые начинали тяготиться бременем старой веры. В их груди она не возбуждала больше трепета, не наполняла их сердца мистическим чувством. И эту атрофировавшуюся веру уже отбрасывали без всякого болезненного ощущения. Карло Марсупини был самым крупным представителем этой категории.

Марсупини славился своей ученостью и своей феноменальной памятью. На своей первой лекции в флорентинском Studio он побил своего рода рекорд тем, что процитировал всех латинских и греческих авторов. Писать Марсупини не любил, потому что проза ему не давалась и, во всяком случае, не могла идти в сравнение с закругленными периодами Траверсари и Бруни. Зато Марсупини лучше владел стихом. Его стихотворные опыты пользовались такой славой, что папа Николай V заказал ему перевод «Илиады». Флорентинцы гордились им и сделали его канцлером республики после смерти Бруни. Он друг и поклонник Никколи, с которым его соединяет страсть к книгам, монетам и резным античным камням. Бруни, который считает диллетантом Манетти, относится с большим уважением к Марсупини. Вдумчивый и молчаливый, он казался своим современникам ипохондриком, но он недаром любил углубляться в себя. Он первый понял, что нельзя в одно и то же время поклоняться и Христу, и Палладе, и открыто объявил себя язычником. Многие еще с ужасом говорили, что мессер Карло умер без исповеди и причастия, но синьория почтила его великолепным памятником, работы Дезидерио Сеттиньяно, который и теперь еще составляет одно из украшений церкви Santa Croce.

Ни Траверсари, ни Манетти не изложили своего мировоззрения. Не сделал этого и Марсупини. Единственным крупным теоретиком из всей этой группы является Бруни. У него мы впервые находим систематическое изложение гуманист

ческой философии, отмеченное вполне светским характером. Был, впрочем, в Падуе один гуманист из сверстников Салутати — Джованни Конвертино да Равенна, — повидимому, знавший Петрарку и находившийся отчасти под его влиянием, который оставил нам изложение своей системы. Его мировоззрение выдержано более последовательно в духе гуманистического индивидуализма, но все у него еще гораздо менее характерно, чем у Бруни. Конвертино так же, как и большинство гуманистов, занимается с особенной охотой вопросами морали и почти совершенно игнорирует метафизику. Индивидуализм его сказывается в том, что он ценит по примеру Петрарки уединенную жизнь в сельской тиши, где так хорошо отдаваться науке, ценит энергию и силу воли, настолько высоко ставит личность, что даже пороки отдельных лиц в некоторых случаях не считает вредными с общественной точки зрения. Обсуждая отдельные моральные казусы, он едва не приходит к нравственному анархизму. Но и этот смелый в нравственных вопросах человек боится бога, и его религиозные взгляды еще оказывают влияние на его мировоззрение. Бруни совершенно свободен от влияния религии.

Канцлер Флоренции как будто нарочно послан был в жизнь, чтобы явить типичный образец гуманиста. Это был человек, насквозь пропитанный практическим эпикурейством.

Детство было у него отравлено горькой нуждой, от которой его спас Салутати, и, едва-едва став на ноги, Бруни начинает стремиться к материальным благам с усердием, не останавливающимся ни перед чем. Одаренный небольшим талантом, с большой сметкой и большой трудоспособностью, он быстро сделал карьеру при курии, набрал с избытком доходных пребанд и бенефиций и приехал во Флоренцию. На досуге, не стесненный борьбою за существование, он пустился в погоню за славою и без труда поймал эту капризную богиню. Он переводил Аристотеля, спекулируя, как оказалось, правильно, на успех скандала. Не только в Италии, но и за границей имя его гремело, студенты приезжали из Испании, чтобы взглянуть на знаменитого переводчика и ученого, и падали перед ним на колени. А он принимал поклонение, как должное, и утилизировал свою популярность, как мог. Человек с несомненной жилкой общественного деятеля, он охотно брал на себя и успешно нес все возлагавшиеся на него го-

родские должности, сам добивался и добился канцлерского сана, много писал. Писание было у него второю природою. Ради красного словца и остроумной фразы он готов был выкладывать все самое интимное, не исключая секретов первой супружеской ночи. Трудно представить более уравновешенную натуру, более сытое и по-всякому довольное существование. Бруни, несомненно, чувствовал себя счастливым человеком. Жизнь протекала безмятежно и гладко. В кружке ли гуманистов за непринужденной беседой, в которой философия Аристотеля чередовалась со скромными анекдотами, в своей ли канцелярии во Дворце Синьории, у домашнего ли очага, на соборной ли площади, где он и Никколи любили разглядывать дам и девушек, собиравшихся в церковь, — везде Бруни чувствовал себя хорошо. И флорентинцы, глядя на эту маленькую фигуру в красном длинном платье и розовом плаще, медленно и с необычайным достоинством шествовавшую по улице, могли на лице его читать выражение полной удовлетворенности. Он был философом настолько, что мог сознательно относиться к движениям собственной души, не запятнал себя недостойными деяниями, быть может, даже немного сознавал раздутость собственной славы и тем более ревниво относился к обидам. Он был циником, но ни разу не навлек на себя обычного в то время обвинения в безнравственности. Был чужд идейных увлечений, но слыл за ярого патриота. Играл на руку Козимо, но умел сохранить репутацию республиканца. Даже христианином оставался он потому, что его не интересовали вопросы религии.

Читатель, несомненно, уже нашел объяснение Бруни и определил его происхождение. Мессер Лионардо — новое во плоть горожанина-практика, введенного в историю великим экономическим переворотом. В его сверстниках мы встречали отдельные черты, в нем эти черты соединились. Кому, как не Бруни, было составлять первое *profession de foi* гуманизма! И Бруни его составил.

Бруни, конечно, поклонник древности. Ради новооткрытого Квинтилиана он считал даже возможным изменить своей обычной невозмутимости и давал некоторую волю энтузиазму. Но того искреннего идолопоклонства, которым была полна восторженная душа Никколи, Бруни не обнаруживал. Он относился к древности спокойно и сознательно, лучше, чем

кто-нибудь, мог находить в ней то, что ему было нужно, и, не торопясь, складывал из ее фрагментов остов собственного идейного здания.

Индивидуализм — альфа и омега мировоззрения Бруни. Человек, как существо, сознательно действующее, — главный предмет его философии. В человеке он ценит, главным образом, разум и природную склонность к добру. Он не только инстинктивно отдаст предпочтение морали перед метафизикой, как его предшественники, но старается обосновать такой взгляд. Моральная философия необходима человеку для того, чтобы он с ее помощью мог верно выбрать правильный жизненный путь, ведущий к истинному благу, и неуклонно по нему следовать. Человека влечет по этому пути сама природа, но ложная мудрость сбивает с него. Цель правильно понятой жизни есть счастье; путь к счастью лежит через добродетель. Чтобы не испортилась природная склонность человека к добру, его с детства нужно направлять по надлежащей стезе.

Поэтому Бруни придает огромное значение воспитанию. Этот принцип провозглашен у него впервые, у него же самые педагогические идеи впервые формулированы по-новому. Воспитание должно укреплять тело и дух, ум и нравственное чувство. Его нельзя вести по одному шаблону: педагог должен быть психологом, должен подмечать индивидуальные особенности каждого из питомцев, должен видоизменять приемы воспитания по ребенку и согласно природным склонностям выбирать для него деятельность в будущем. Поощрение и наказание не исключаются из арсенала педагогических орудий. Весь строй воспитания носит вполне светский характер, но преподавание религии сохранено для того, чтобы ребенок мог сделаться вполне, т.-е. по-гуманистически, образованным человеком. Элементарного воспитания мало. Нужно изучать авторов и на них выработать себе хороший стиль, нужно быть хорошо знакомым с литературой, что достигается начитанностью. Такая образованность — лучшее проявление благородства человеческой природы. Все это достаточно поясняет, что духовный облик человека складывается, главным образом, путем усиленной внутренней работы. Ясно после этого, что сословные перегородки теряют всякое значение. Тут выросший на социальной почве протест горожанина и интеллигент-

ного разночинца против родовой знати получает впервые типичную для гуманизма индивидуалистическую формулировку. По Бруни знатность не в «чужой славе» и даже не в богатстве, а в личной добродетели: происхождение не имеет никакой цены. Вообще, если этикетка не соответствует личному достоинству, она безусловно лжива. Это одинаково относится и к дворянству и к монашеству. В вопросе о монашеству Бруни опять-таки более последователен, чем его предшественники. Боккаччо смеялся над монахами и охотно обличал их, но он не касался самого института монашества. И до Бруни не было ни отрицания, ни протеста. Бруни напал на принцип. Монашество ему кажется сплошным лицемерием. Под личиною смирения и чистоты скрываются все пороки, и только легковверные люди продолжают верить в то, что ряса делает человека святым. Улучшает человека только искреннее религиозное чувство, давно утраченное монахами.

Бруни вообще мало ценит созерцательную жизнь; его симпатии на стороне жизни деятельной, которую он считает более свойственной природе человека и более обеспечивающей счастье.

Такова философия Бруни. Как ученый, он тоже сделал много. Он уже понимает, что в исторической науке критика должна занимать главное место в подготовительной работе, и дает образцы критических этюдов в письмах об основании Мантуи и о происхождении Цицерона. В своей «Истории Флоренции», доведенной до 1402 года, он снова выводит историческую науку на тот путь, по которому она шла в руках Фукидида и Ливия, и вместо наивной хроники на манер Виллани дает рассказ политика, прекрасно понимающего и с определенной точки зрения передающего факты. У него войны не заслоняют внутренних отношений, он старается разобраться в противоречивых известиях, сохранить беспристрастие и не впадает в наивный дидактизм средневековых хронистов. И тоже на манер Фукидида и Ливия в «Истории» Бруни—добрая доля риторика, которая служит ему для выражения собственных взглядов. Между латинской историей Бруни и итальянской историей Макиавелли дистанция огромного размера, но, во-первых, таланты их были весьма различного калибра, а, во-вторых, Бруни все-таки начинал.

И в политических трактатах Бруни, как например, в его греческой монографии об устройстве Флоренции, виден практик с большим чувством действительности и с большим пониманием политических отношений.

Его переводы с греческого считались образцом, и хотя отдельные места и вызывали споры, но, в общем, кажется, никто не пытался серьезно умалить их значение. Достаточно сказать, что перевод «Этики», «Политики» и «Экономики» Аристотеля произвел целую революцию и поднял против него бурю негодования, особенно в заальпийских схоластических кругах, которые строили все свои конструкции на искаженном Аристотеле, подкрепленном авторитетом св. писания. Но шипение обскурантов было совершенно безвредно для Бруни, ибо перевод «Этики» был посвящен папе Мартину V. Переводы Платона, Ксенофонта и других греческих писателей не имели того значения, что перевод Аристотеля.

В трудах Бруни—первая система гуманизма. Она создалась из материалов, почерпнутых у древних. Но общий план и те практические, жизненные предпосылки, согласно которым складывалась система, не принадлежали древности. Их доставила современность, современные социальные и экономические отношения. Бруни сознательно выбирает то, что ему нужно из классиков, но этой работой он бессознательно отвечает требованиям действительности. Тут начинает выясняться одна особенность Возрождения. Классицизм был по существу формой, хотя пока еще доставлял и содержание мировоззрению гуманистов. Чем дальше мы будем двигаться вперед, тем заметнее будет становиться формальный характер классицизма. У Бруни это еще не очень хорошо видно: в теоретической части он многое прямо заимствует у Аристотеля, хотя казалось бы, что перипатетическая мораль не может служить облочком для этики Возрождения. Но несомненно, что Аристотель привлекается потому, что сам Бруни, плохой философ, не мог создать собственных формул и взял готовые, где нашел. После Бруни писатели постепенно сбрасывают прямую зависимость от древности, и тогда вопрос делается яснее.

Вместе с Бруни, Никколи, Траверсари, Манетти, Марсупини мы вступаем в царство настоящего гуманизма. Поджо, Альберти и Валла завершат начатое ими, но главное устано-

влено. И у них уже вполне определилась та основная тенденция, которая для гуманистической бочки с медом сыграла роль не ложки, а доброго ведра дегтя. Мы говорим об аристократизме гуманистов.

Древность помогла гуманистам найти формулы для основания новых запросов. Но вместе с этим они взяли язык, давно уже сделавшийся чуждым народу и обособивший их самих в замкнутую, резко отделенную от народа группу. Образовалась таким образом своего рода аристократическая литературная республика, доступ в которую непосвященному невозможен. И гуманисты сейчас же захотели дать теоретическое оправдание своему аристократизму. Мы знаем, какими тирадами, полными презрения к толпе, к *profanum vulgus*, умел иной раз разразиться Петрарка. Под этими тирадами охотно подпишутся если не все, то очень многие из гуманистов второго, третьего и четвертого поколений. Это тем более понятно, что общественные условия, в которых живут сами гуманисты, действуют на них в том же направлении. Они порывают с народом потому еще, что им постоянно приходится искать одобрения, оценки и прямой поддержки у власть имущих. Это им нужно прежде всего для упрочения своего общественного положения. Большинство гуманистов приходили во Флоренцию из других городов. Гуманист—типичный интеллигент-разночинец. У него есть талант. У него есть знания. Чтобы со знанием и с талантом сделать карьеру, он идет в «современные Афины», в столицу муз, во Флоренцию. Здесь у него не было определенного положения. Он был лишен прав, и ему нельзя было в общем порядке записаться в цех, потому что он не знал ремесла. Но всякого видного гуманиста сейчас же принимали с распростертыми объятиями те граждане, которые искали славы мецената. Их записывали всегда в один из семи старших цехов, где после поправок, внесенных в *Ordinamenti* в 1295 г., были категории членов, не обязанных заниматься профессиональной работой цеха. Гуманисты в цехе считались чем-то вроде почетных членов и пользовались всеми правами. Естественно, что социальное мировоззрение у них выработалось соответствующее. Боккаччо и Салутати, защитники тирраноборства в политике, в социальной жизни — противники пролетариата. Сколько раз в «Декамероне» рабочие из Лапа удостоиваются презрительного упоминания. С каким удоволь-

ствием Салутати, бывший канцлером и в 1378 и в 1382 годах, приветствовал поражение чомпи. Так и позднейшие. Их связывало и обязывало соседство внутри старших цехов. Импонировали товарищи по цеху. В угоду им, не любившим народа и боявшимся его, гуманисты с готовностью обрушиваются на голову народа град обвинений и прямых ругательств. В этом сказывается, конечно, и собственная наследственность — переживание психики зажиточного горожанина, постоянно сталкивавшегося с *сіопрі*. Эта тенденция делается проклятием Возрождения. К счастью, найдутся люди, которые поймут ее вредность и объявят войну гуманистическому аристократизму. Но пока — она в полной силе, и люди из плеяды Козимо отдают ей дань в полной мере.

Пять флорентинцев, которых мы изучали, не крупные люди; таланты их не перворазрядные, но они все очень интересны, потому что в их жизни и произведениях мы впервые слышим ясное биение пульса Возрождения. У них общественные отношения принимают вид ученых увлечений, моральных оправданий и теоретических обоснований. Сейчас мы познакомимся с другой категорией людей, у которых идеи, носившиеся в воздухе, принимали пластическую форму.

21. Брунеллеско.

Поздней осенью 1403 года двое молодых людей шли по живописной дороге, которая вела из Флоренции на юг. Одному из них было лет двадцать пять. Он был мал ростом, худ и некрасив. Другой был высокий, стройный семнадцатилетний юноша. Одеты они были скромно, в простых куртках и коротких плащах и оживленно беседовали обо всем: о природе, об искусстве, о науке, цитировали Данте. Старшего звали Филиппо Брунеллеско, младшего — Донато ди Николло ди Бетто Барди, попросту же Донателло. Шли они в Рим навстречу славе. Им нужно было продумать и прочувствовать художественные образы, смутно бродившие в их головах, и они торопились взглянуть на памятники античного искусства, которых в Риме было изобилие и которые они считали непревзойденными образцами пластического выражения чистой красоты. Напитавшись образами, они вернулись на родину и проложили новые пути, один в архитектуре, другой — в ваянии.

Мы знаем, что архитектурным стилем средневековых городов была готика. Она возникла в северной Франции и там дала свои лучшие образцы.

Французские города освободились и от сеньера, и от гнета старой церковной традиции гораздо позже итальянских. Так что пока в северной Франции вырабатывался стиль, отвечающий молодому религиозному подъему, в Италии этот подъем уже миновал. Поэтому основной характер церковной готики, рассчитанный именно на определенное общественное настроение, уже не нашел здесь почти никакого отклика. Только космополитизму нищенствующих орденов Италия обязана тем, что у нее имеется несколько готических церквей. Из них самая типичная, конечно, — миланский собор, начатый в середине XIV в. и сооружавшийся почти все время не-итальянцами. Этим объясняется преобладание в нем северных черт. В других готических церквях, в соборах Сиены, Орвието, трех главных храмах Флоренции: соборе, Santa Croce и Santa Maria Novella, исчезло самое характерное — стремление ввысь. Итальянец XIV века уже проводил волну религиозного прибое. Он сделался положительнее в вопросах веры; правда, веры не утратил и от церквей еще не отказывается, но в выборе стиля и украшений церкви им руководят уже иные чувства. Он хочет блеснуть перед соседними городами обширностью своего храма, его росписью, его скульптурными украшениями. И его церковь стелется по земле вширь, отвечая честолюбивым помыслам своего создателя. У готического стиля зодчие XIV века берут его техническую особенность — стрельчатый свод и систему колонн, а в Santa Croce необъятная ширина среднего корабля сделала невозможным даже свод; здесь его пришлось заменить плоским потолком; в других заменяли круглым романским сводом, что уже прямо шло навстречу стилю Возрождения. Стены, которые благодаря системе опорных столбов почти освободились на севере от тяжести сводов и поэтому могли быть как угодно изрезаны окнами, в Италии старались по возможности сохранять в целостности — для фресковой росписи. В противоположность северной итальянская церковная готика отличалась большим разнообразием. В этом сказывалось развитие художественной индивидуальности мастера, который уже начал превращаться из ремесленника в артиста, повинаясь все усложнявшимся и утончающимся запросам общества.

И в светской архитектуре северная готика утратила много черт, составляющих в ней самое характерное. Она сохранила почти исключительно стрельчатые окна и порталы. В остальном она шла своими путями. Если ограничиваться Флоренцией, то три самых типичных готических здания: дворец Синьории, дворец подесты (Барджело) и Лоджа Приоров, действуют на зрителей совсем иными сторонами: первые два своей громадой и своими башнями, а изящная и легкая Лоджа—классической чистотой линий своего фасада, в котором нет почти ничего готического. И если сравнить зубчатую, увенчанную башнею массу Palazzo Vecchio с северными ратушами с одной стороны и с позднейшими флорентинскими палаццами с другой, то окажется, что сходства больше там, где есть единство исторического развития, а не там, где единство стиля.

В этой эволюции соединились мотивы общественного и художественного характера. Когда горожане, победив знать, установили всюду свое правление, упоенные гордостью и крепкие верою в будущее, они всюду стали украшать свои города. Но их уже не удовлетворяли сооружения прежнего стиля. Им нужно было что-нибудь особенное, величественное и прекрасное, показывающее меру могущества города.

Так, во Флоренции тотчас же после победы над знатью и установлением нового строя, в 1294 году был издан следующий декрет: «Принимая во внимание, что является признаком державного благоразумия со стороны великого народа действовать так, чтобы по его внешним делам могли познаваться и мудрость и великодушные его поведения,—мы дали приказ Арнольфо, архитектору нашего города, изготовить чертежи и планы для обновления церкви Santa Maria Reparata с величайшим и самым пышным великолепием: чтобы предприимчивость и мощь человеческая не могла никогда ни задумать, ни осуществить ничего более обширного и более прекрасного. Все это должно быть сделано в соответствии с тем, что говорили и советовали в открытом и секретном совещаниях самые мудрые люди нашего города, а именно, что не следует начинать общественных зданий и предприятий, если не имеется налицо проекта, который мог бы привести их в соответствии с великим духом, который рождается из стремлений всех граждан, объединенных в одной воле».

Это высокопарное постановление является типичным образом того, как смотрели на украшение родного города его граждане. Все старое, все такое, что уже есть, что уже видано и перевидало, не удовлетворяет их. Им нужно новое, невиданное, и они не жалеют денег, чтобы привлечь к себе лучших архитекторов своего времени. Правда иногда дело кончалось конфузом. Сиенский собор начали в таком масштабе, что очень скоро выяснилась невозможность кончить его. Пришлось поперечный неф переделать в продольный, а начатые и не законченные арки, занимающие огромную площадь рядом с собором, так и остались памятником честолюбия городских заправил. То же случилось и в Болонье. Собор San Petronio начали с таким расчетом, чтобы он затмил флорентинский. Но тоже не хватило средств. Пришлось сокращаться. Так он и стоит с обданным боком, тем, который не был достроен.

Архитекторы, которым поручали стройку, естественно вынуждены были удалиться от готики и искать таких форм, которые отвечали бы чувствам и настроениям гордых горожан. Арнольфо ди Камбио, гениальный самородок, начал процесс творческого пересоздания архитектурных форм. Он уже смутно ощущал, в каком направлении нужно идти, но у него не было необходимой определенности, ибо у него отсутствовал метод.

Уже в первой половине XV века в архитектуре исчезли последние следы готики, и явился новый стиль — Возрождения, или, как принято говорить в применении к искусству, Ренессанса. Его создал Брунеллеско.

Брунеллеско родился в видной флорентинской семье; отец его, человек образованный, обучал его лично и, видя большие способности мальчика, решил подготовить его для доходной должности нотариуса или врача. Но Филиппо упорно отказывался выучивать то, что ему навязывали, и то ковырял ножом кусок дерева, то лепил, из чего попадало, всякие фигуры. Старик не был упрям и отдал сына к ювелиру. Мальчик сразу пошел, в несколько лет великодепно постиг свою науку и делал такие вещицы, которые заставляли краснеть старых опытных ремесленников. Это не удовлетворяло даровитого юношу. Он мечтал о том, чтобы стать настоящим художником, скульптором. Тут судьба свела его с Донателло, который был несколько моложе его, и одинаковые стремления сделали обоих

самыми близкими друзьями. Они вместе учились, вместе читали, вместе работали и дня не могли прожить один без другого. Брунеллеско был шире и сознательнее относился к своим работам; он старался постичь механические и математические законы искусства, как впоследствии Лионардо. Донателло был талантливее как скульптор и особенно налегал на изучение природы. Филиппо много положил труда на познание законов перспективы, и первый нашел их. Знаменитый Паоло Тосканелли, друг Колумба, с которым сблизился Брунеллеско, выучил его геометрии, что было большим подспорьем в его перспективных занятиях. Среди всех своих необходимых занятий он находил еще время читать Данте и классиков. Он уже успешно выполнил несколько скульптурных заказов, но, по видимому, успехи не вполне удовлетворяли его самого: он охотно уступал другим там, где видел, что дело и без него обойдется. Так, он добровольно предоставил Донателло полученный ими сообща почетный заказ на статуи для церкви *Or San Michele*. Так, он сам признал себя побежденным Гибберти на конкурсе для изготовления бронзовых дверей *Баттистерия*. Брунеллеско уже тогда решил посвятить себя, главным образом, архитектуре и вскоре после конкурса отправился в Рим, сопровождаемый Донателло, который тоже хотел проштудировать антики.

Вот оба друга в вечном городе. В нечом восторге бродят они по улицам, созерцая памятники злого величия, и страдают по окрестностям в поисках за развалинами. Но они не удовлетворяются простым созерцанием. Оба, особенно Брунеллеско, меряют, вычисляют, снимают планы. Филиппо потерял и сон, и аппетит. Он только и занят фронтонами, арками, сводами, колоннами, капителями. Он таскает за собой Донателло, чтобы тот помогал ему дорываться до фундаментов: ему нужно знать, как древние распределяли тяжесть стен. Люди, глядя, как оба друга возвращаются под вечер домой с заступами за плечом и покрытые пылью, качают головами и говорят, что это кладонскатели, что у них имеется магический секрет нахождения сокровищ, что они уже нашли старинный глиняный сосуд, полный медадей. Но, к несчастью для наших артистов, это были чистые фантазии. Чтобы попасть в Рим, Филиппо продал свое именье под Флоренцией, а когда деньги были истрачены, стал промышленять ювелирным

мастерством. Донателло скоро вернулся во Флоренцию, ознакомившись с немногими образцами классической скульптуры, имевшимися в то время в Риме. Брунеллеско остался один, продолжая свои занятия. Он искал «музыкальных пропорций», т.-е. принципов идеального расчленения пространства, и для этого стал срисовывать все, что считал ценным: храмы, базилики, бани, арки, водопроводы, изучал кладку и способ металлического скрепления камней. Постепенно перед его взором стал вырисовываться древний Рим, каким он должен был быть до разрушения. А эта картина, в свою очередь, давала материал его смутным юношеским мечтам об обновлении архитектуры, попавшей в рабство к «варварам», к «готам». И все больше и больше его мысль стала занимать та работа, на которой ему хотелось теперь испробовать свой артистический талант и свои технические познания: возведение купола на флорентинском соборе.

Мы знаем, что собор был выстроен в готическом стиле, но строителям оказалась не под силу техническая задача — возведение купола. Так и стоял собор десятки лет с огромным зияющим отверстием, прикрытым досками. Много раз назначала синьория конкурс на постройку купола, но проекты не удовлетворяли никого, а главное, ни один из проектов не казался достаточно надежным технически. В 1417 году был объявлен новый конкурс, в котором принял участие и Брунеллеско. Артист уже вернулся на родину и с головой окунулся в жизнь флорентинской богемы. В ней не было изобилия, в этой жизни. Нужда бывала там частой гостьей, но там был художественный энтузиазм, было поклонение красоте, была уверенность в силах, было веселье. Брунеллеско и Донателло в свободное от работы время пускаются на невинные проказы. Они потешаются друг над другом и над окружающими, всегда готовы приветствовать остроумную шутку.

Однажды они придумали такую забаву. Подговорив приятелей, они уверяют толстого столяра Манетто, что он не Манетто, а другой человек — Маттео. Они бегают по всему городу, чтобы предупредить кого нужно, устраивают маскарады и доводят дело до того, что несчастный столяр, посаженный в тюрьму за долги воображаемого Маттео, серьезно убеждается, что он не Манетто. Еще бы, ведь Джованни Ручеллай, который поминутно заходил к нему в лавку и человек с мозгами,

не узнал его! А художники, у которых головы полны гениальными планами, довольны, что шутка удалась.

Зато, когда в дело замешается искусство, они отдают ему все. Донателло как-то рассказал Филиппо, что в Кортоне найден чудесный античный саркофаг, вещь по тому времени редкая. Брунеллеско прямо с площади, в рабочем костюме и деревянных башмаках, не сказав никому ни слова, отправляется в Кортону, срисовывает саркофаг и несколько дней спустя показывает рисунки приятелям, объяснявшим его исчезновение спешной работой.

Эту страстную любовь к искусству художники все время проявляют в работе, к которой относятся необыкновенно серьезно. Филиппо, который дожидался конкурса на купол с величайшим нетерпением, поразил комиссию своей деловитостью. Он один сумел доказать, что купол вообще возможен и точно и определенно выяснил единственный способ его кладки. По его мнению, купол должен быть возведен не непосредственно, а на восьмиугольном тамбуре, снабженном большими круглыми окнами. Не дожидаясь конца споров в городской комиссии, он спокойно уехал в Рим, зная, что без него не обойдутся. И действительно, время шло, а купол все еще не начинали. Брунеллеско еще раз изложил свой план; его подняли на смех, но, в конце концов, в 1420 году поручили-таки дело ему, дав ему в товарищи Гиберти. Но Филиппо скоро отплатил старому сопернику тем, что доказал его совершенное невежество в строительном деле. Гиберти пришлось уйти, и Филиппо продолжал работу один. Он вложил в нее всю душу, осматривал каждый кирпич, сам пробовал цемент, входил в мельчайшие детали. Зато и кладка вышла на славу. Теперь ни один гид во Флоренции не забывает объявить туристу, осматривающему собор, что купол ни на иоту не сдвинулся с места с самого момента своего окончания¹⁾.

Купол Брунеллеско — самая крупная строительная проблема, решенная XV веком. Это полный разрыв с готикой, оригинальная, приспособленная к новым условиям, переработка античной идеи купола. «Трудно сделать так же хорошо. Не-

¹⁾ Купол собора окончен в 1434 году. Находящаяся на нем lanterna построена уже после смерти Филиппо по его чертежам.

возможно сделать лучше», говорил Микель Анджело про работу Брунеллеско.

Еще до окончания купола Филиппо начал строить церковь Сан-Лоренцо, составил план новой церкви монастыря Сан-Спирито, выстроил чудесную капеллу Пацци во дворе Санта Кроче и начал палаццо Питти, не считая менее важных работ.

Брунеллеско после собора, где ему пришлось доканчивать чужую работу, ни разу не воспользовался ни одной чертою готики. Он почти презирал ее и, так как у него были полны альбомы античных чертежей, то ему ничего не стоило выдерживать в строго античном стиле каждое из начатых строений. Брунеллеско даже думал вполне искренно, что вся его манера строго античная и что реформа, которую он производит в искусстве, есть возвращение к древности. Так, гуманисты думали, что вся их философия почерпнута целиком из античного. Но Брунеллеско, как и гуманисты, как и многие из художников, заблуждался, считая античное главным моментом и главной существенной частью той реформы, которую он произвел в архитектуре. Ее основные черты были иные; они явились как результат общественного развития и нашли в Брунеллеско своего первого и лучшего выразителя.

Уже итальянская готика логически пришла к тому выводу, что действие храма в художественном отношении станет законченнее, когда каждый будет в состоянии легко находить его центр. Этого же требовала необходимость расширить место перед проповеднической трибуною, ибо церковная проповедь после францисканской реформы сделалась наиболее существенной частью богослужения. Флорентинский собор — попытка готики порвать с прежним типом монашеской церкви и отметить центр храма куполом. Возрождение усвоило эту идею, как усвоило большинство идей, разработанных предшествовавшей национальной эволюцией. И мы понимаем, почему это случилось. Северная церковная готика, как указано выше, уже не гармонировала с религиозным чувством итальянского общества и влияла на итальянскую архитектуру больше своей технической стороною. Запроса общества на художественный тип церкви она не удовлетворила, и общество стало самостоятельно добывать себе идею наиболее отвечающей его художественному чутью церковной архитектуры. Так

был найден тип центрального храма, т.-е. такого, в котором все части гармонически группируются вокруг художественного центра.

Брунеллеско повел эту основную идею дальше, обогащая ее материалами, заимствованными из античной архитектуры. Так явились его великолепные базилики Сан-Лоренцо и Сан-Спирито, где нет ни одной черты, не санкционированной практикой античного зодчества. Гладкие колонны с коринфскими по преимуществу капителями, с фризами и архитравами, коробовой свод и гладкий потолок, куполы круглые и гранные — вот что сменило аксессуар готических церквей. Но если брать построенные им вещи в целом, то среди них нет ни одной, которая была бы скопирована с античного. Начиная с проекта соборного купола, который не похож ни на купол римского Пантеона, ни на другой, у него все самостоятельно, все продумано и прочувствовано по новому. Брунеллеско глядел глазами поколений, изощрившихся в наблюдении природы, и чувство пространства, которым он руководился при планировке храмов, подсказывало только естественное и гармоничное. В этом отношении удивительно хороши капелла Пацци и старая сакристия в Сан-Лоренцо — две жемчужины архитектуры Ренессанса. Художественное действие церкви тут везде на первом плане. Зодчий смело игнорирует ту задачу, которая в церковной готике была самой главной, — возбуждение и содействие молитвенного настроения. Он знает, что общество с него за это не взыщет, потому что вера у общества уже не та, и что, с другой стороны, чувство красоты росло и утончалось с каждым поколением.

В светской архитектуре Брунеллеско первый дал образец членораздельного палаццо вместо прежних гладких башнеобразных домов с как попало прорезанными мелкими окнами. Их время прошло вместе с окончанием периода непрерывных усадеб в городе. Начатый Брунеллеско палаццо Питти, в котором ныне помещается королевский дворец и знаменитая коллекция картин, сложен из трех этажей, каждый из которых отделяется один от другого карнизом. Верхний этаж увенчан общим карнизом. Нижний этаж сложен из грубого неотесанного тосканского камня, рустики, два верхних из того же камня, но гладко отесанного. В каждом этаже правильный ряд окон. Верхний этаж короче двух ниж-

них¹⁾. Художественное действие обусловлено общим видом здания, его монументальностью и гармоническим соотношением частей между собою и к целому. Античных элементов тут почти совсем нет. Когда турист стоит перед палаццо Питти, представляющим прототип наших теперешних жилых домов, он удивляется, каким образом раньше не догадывались заменить ими те дома крепости, образец которых он видел в так называемом Casa di Dante. Все то, что составляет сущность нововведения Брунеллеско, так просто, так красиво и целесообразно, так давно, повидимому, подсказывалось жизнью, что тут трудно говорить о каком-нибудь археологическом влиянии.

Микелоццо и Кронака разработали и улучшили тип палаццо, созданный Брунеллеско. Первый выстроил для старого Козимо знаменитый палаццо Медичи, а второй начал палаццо Строцци — самый красивый образец дворца Возрождения, до сих пор не вполне оконченный.

Потом стиль Ренессанса будет развиваться дальше и даст свои лучшие образцы, но начало ему положил своими работами гениальный флорентинский зодчий, воспитавший на антиках свое тонкое чувство прекрасного.

22. Донателло.

Кто бывал во Флоренции, тот, конечно, знает, что у местного обывателя, который живет, окруженный чудесными памятниками искусства, есть свои любимцы, которых он усиленно рекомендует вниманию туриста. Вы можете ни у кого не спрашивать указаний и разъяснений, флорентинский обыватель убежден, что всякий человек, держащий в руке красного Бедекера, нуждается в указаниях, притом непременно в его, флорентинского обывателя, указаниях. К Бедекеру он относится с величайшим презрением, и если вы вступите с ним в беседу, то он постарается вам доказать, что Tedesco не более как шарлатан. Он подходит к вам совершенно просто, иногда берет вас под руку и подводит к какой-нибудь статуе,

¹⁾ Это, впрочем, кажется, не входило в планы Брунеллеско. Вообще палаццо гораздо шире, чем по первоначальному плану. Его достраивали, когда он сделался резиденцией великих герцогов тосканских.

иногда мимоходом скажет что-нибудь. Случается при этом, что если вы его выслушиваете, то он рекомендуется потом гидом и требует с вас мзду, но большей частью он это делает из любви к искусству в буквальном смысле слова. Искусство он любит безгранично, но понимает его своеобразно. Он прежде всего поклонник Кватроченто. Из художников более поздней эпохи он признает очень немногих: Андреа дель Сарто, Рафаэля, Микель Анджело. Остальных более или менее решительно презирает. Кватрочентистов он любит тоже неодинаково, и едва ли не больше всех он любит Донателло. К нему он питает какую-то нежность. Донателло его гордость, краса его родного города, образец, которому следовали величайшие из позднейших художников. Если вы с Бедкером в руках стоите перед Loggia dei Lanzi и рассматриваете статуи, к вам подходят и указывают на стоящую под аркою статую Юдифи, убивающей Олоферна: «Donatello!» И пока вы всматриваетесь в удивительное лицо женщины, так просто и выразительно передающее целую душевную бурю, вас поворачивают и пальцем показывают: «Eccolo!» Флорентинец убежден, что плохие статуи, украшающие фасад галереи Уффици, передают черты местных знаменитостей, и посылает вас знакомиться с Донателло. Если вы уже видели эти статуи и сердито отмахиваетесь от непрошенных указаний, на вас не обижаются, но поворачивают в другую сторону и снова указывают пальцем на черного бронзового льва, стоящего со щитом в лапах, как на страже, у Дворца Синьории: «Marzocco!» Это флорентинский герб, отлитый по модели Донателло. То же будет и у соборной кампанилы, и внутри собора, и в баптистерии, и в Санта Кроче, и в Сан-Лоренцо, не говоря о Барджелло, где для Донателло отведена самая большая зала. И флорентинец прав, относясь с такою нежностью к Донателло, ибо, если даже забыть его историческое значение, мало художников, которые умеют так захватывать, как творец св. Георгия и Зуссоне.

Донателло был потомком многих поколений здоровых горожан, у которых открылись глаза на природу. Его художественный манифест, который можно читать на его произведениях, — это все тот же манифест Возрождения, открывшего мир и открывшего человека. Скульптура не сразу пришла к нему. До Донателло она ставила себе другие задачи.

Скульптура более непосредственно связана с жизнью, чем архитектура. Ее значение в художественном обиходе общества зависит от того, насколько общество интересуется миром и человеком. Если интерес велик, скульптура будет играть самостоятельную роль, если он мал — она будет служанкой архитектуры, т.-е. будет занимать подчиненное декоративное положение.

Если это не всегда видно очень ясно, то потому, что этапы в развитии общественного самосознания обыкновенно предшествуют соответствующим этапам художественного развития. Таков один из основных законов в эволюции искусства, и он очень легко объясняется тем, что между пониманием природы и умением ее передать лежит долгий путь. Воспитание глаза, техническая осноровка, твердые законы перспективы — все это приходит не сразу, и если у Никколо Пизано фигуры и пейзаж меньше похожи на действительность, чем у рядового художника XVI века, то это, конечно, не потому, что тот понимал природу лучше, чем великий мастер XIII века, а потому, что ему выправили руку и глаз в мастерской учителя.

В эпохи младенчества и первоначального роста в искусстве обыкновенно происходит то, что человек привыкает к неполному сходству художественных произведений с действительностью, как бы санкционирует его и даже не замечает. Не будь этого, художник был бы лишен возможности медленным изучением природы, медленным изощрением глаза и руки постепенно из поколения в поколение уничтожать разницу, и вообще был бы невозможен прогресс в искусстве. Но именно потому, что целое поколение смотрит одними и теми же глазами, искусство может совершенствоваться.

Когда первым свободным горожанам XII века современные ему скульпторы показывали декоративные фигуры людей и животных, так причудливо вытянутые и изогнутые, он их считал вполне натуральными, а когда в XIII веке в Пизе объявился один из величайших гениев в области пластики, Никколо Пизано, и захотел сразу подвинуть искусство к действительности, заимствуя технические приемы у классиков, он остался непонятым; его ближайшие преемники должны были бросить классическую манеру и развивать те приемы старого Никколо, помощью которых он старался самостоятельно приблизиться к природе. То, чего добился

тут Никколо, было немного, и весь XIII век должен был развивать его приобретения. В рельефах Никколо много жизни, группировка фигур естественнее, выражения лиц, позы и весь ансамбль уже передают действия и душевные движения, заметен интерес к человеку индивидуальному и коллективному. Но у Никколо нехватает технических средств. Скульптуре и предстояло открыть эти средства, Внутренняя правда была найдена, нужно было искать внешнего правдоподобия, стараться, чтобы отдельные фигуры сами по себе и по отношению к окружающему были переданы естественно. В этих поисках прошло много времени, слишком столетие, если считать со смерти Никколо Пизано до конкурса 1402 года. Три великих художника работали в этой области: сын Никколо, Джованни, Джотто и его ученик, третий пизанец, Андреа. Кафедра Джованни Пизано в пистойской церкви св. Андреа, рельефы Джотто и Андреа Пизано на флорентинской соборной кампаниле, двери Андреа Пизано, сделанные для флорентинского баптистерия, — вот те факты, которые ведут от старого Никколо к Гиберти и Донателло.

Отчасти путем непосредственного наблюдения, отчасти приглядываясь к классикам, художники увидели, что человек есть прекраснейшее создание природы. Когда это открытие было сделано, дальнейший вывод просился сам собой, и к нему пришли без труда. Нужно было изучать натуру в человеке. Тело нагое и задрапированное представляет собою такое богатство линий и форм, которого скульптура будет не в силах исчерпать до окончания веков. Группировка фигур и сочетание их с окружающей обстановкой в рельефах открывало другое столь же неисчерпаемое поле для наблюдения и фантазии. И, если припомнить все, что говорилось у нас раньше, мы легко пойдем, почему именно искусству Возрождения суждено было произвести этот переворот. Мы снова встречаемся с главным явлением. Переворот в скульптуре был произведен оживившимся интересом к миру и человеку, что, в свою очередь, было естественным результатом общественного развития.

В 1402 г. флорентинская синьория объявила конкурс на отливку вторых бронзовых дверей для баптистерия, и из многих проектов жюри выделило два, между которыми не могло

выбрать. Темой было жертвоприношение Авраама. Авторами двух проектов — Филиппо Брунеллеско и Лоренцо Гиберти. Только теперь выяснились для всех результаты долгого художественного развития. По правильности отдельных фигур, по естественности их группировки, по технике оба проекта были безукоризненны, но между ними была разница. Проект Брунеллеско необыкновенно реалистичен. Исаак изображен худым мальчиком, который кричит, что есть мочи, от страха и боли. Нож отца коснулся уже его шеи, и ангел едва успевает оттолкнуть руку Авраама; суровое и решительное выражение лица Авраама, спокойно пасущийся мул, заснувший слуга — это сама природа. Брунеллеско пожертвовал красотой для правды. Гиберти не гнался за реализмом, но его проект полон такой торжественности и красоты, которая захватывает не меньше, чем у тречентистов. Синьория поручила обоим отлить дверь сообща. Брунеллеско отказался, и Гиберти сделал дверь один. Его работа вызвала всеобщий восторг, и художник получил заказ на другую дверь, которая должна была выйти еще прекраснее, которую должны были повесить у главного входа взамен первой двери Андреа Пизано, которую Микель Анджело должен был назвать вратами рая.

Чувственно-полная жизнь бьет ключом в рельефах Гиберти. Он вполне владеет техникой, отлично знает натуру и перспективу и очень остроумно воспользовался ею для скульптуры: он делает рельеф тем выпуклее, чем фигура ближе к переднему плану. Его орнаменты и рамы, полные цветов, фруктов, животных и маленьких бюстов, изобличают живой интерес к миру и человеку. Индивидуализация типов крайне характерна для времени. И несмотря на то, что он является вполне новым человеком, в работах Гиберти есть еще много типичного для Треченто: торжественность, монументальность, погоня за красотой линий, много условностей. Мягкий и умеренный в своих произведениях, он как будто боится реализма и охотно прибегает к идеализации. Благодаря этому его искусство, несмотря на всю обаятельную прелесть его рельефов, исторически дало сравнительно мало. Ближайшая задача, от решения которой Гиберти робко отстранился, формулировалась так: показать, что изучение природы и самое близкое ее воспроизведение не противоречит идеалу красоты. Быть может, это сумел бы показать Брунеллеско,

если бы не бросил скульптуры. Вместо него это сделал Донателло.

Донателло вобрал в себя результаты художественного и общественного развития Флоренции и вылил эти результаты в виде одушевленного мрамора и живой бронзы. Флоренция шла быстрыми шагами к апогею своей славы и своего могущества. Период преклонения перед утонченной красотой линий, мелкой скульптурой рельефа, период Гиберти, приходил к концу. Нужна была широкая, крупная скульптура, видная народу, показывающая меру богатства и славы народа. Ниши на зданиях раскрывались для статуй, и статуи стали появляться все в большем и большем количестве. Флоренция быстро украшалась, в истории скульптуры начинался новый период, отмеченный гением Донателло.

Мы оставили Донателло в Риме, где он вместе с Брунеллеско докапывался до фундаментов классического искусства. Вернувшись во Флоренцию, он отдался скульптуре и, если не считать редких отлучек, не расставался с родным городом, где постепенно сделался одним из самых популярных горожан. Его общительность, веселый и живой нрав, его простота снискали ему всеобщую любовь. Им гордилась вся Флоренция начиная от Козимо и кончая последним рабочим. Ученики и друзья его обожали. Он зарабатывал своим искусством много, а умер бедняком, потому что делился со всеми. В его мастерской под пестолком висела особенная корзиночка. Туда он складывал свои полочки, и всякий, у кого была нужда в деньгах, ничтоже сумняшеся, лез в эту корзину. Сам Донателло не ощущал от этого ни малейшего неудобства. Как и все современные ему артисты, он был типичный богема, презирающий комфорт и гордящийся своей независимостью. Однажды—это было в то время, когда Донателло работал над украшением Сан-Лоренцо, любимой церкви Козимо Медичи,—последнему показалось, что художник плохо одет, и в одно праздничное утро Донателло получил в подарок целый костюм: плащ, куртку, жилет и шапочку. Он добросовестно попробовал носить этот роскошный костюм, надел его раза два или три, а потом сложил и спрятал. На вопрос удивленного Козимо он заявил, что для него это чересчур тонкая штука.

Он никогда не торговался и брал ту цену, которую ему предлагали, но если бывало затронуто в нем самолюбие арти-

ста или оскорблен идеал искусства, тогда ни за какие деньги нельзя было с ним сговориться. Один генуэзский купец очень долго торговался с ним из-за бронзового бюста и находил, что невозможно платить по полфлорину в день за такую работу. — «Так торгуются из-за бобов, а не из-за статуи», — воскликнул возмущенный художник и столкнул бюст с балкона на улицу, где он разлетелся на мелкие куски. Тщетно пораженный генуэзец стал предлагать вдвое. Донателло отказался наотрез, несмотря на просьбы Козимо.

При таком характере нельзя было разбогатеть, и действительно под старость художник остался бы совсем без средств, если бы ему не помогали Медичи. Козимо, умирая, поручил заботы о художнике своему сыну Пьеро, и тот, исполняя волю отца, подарил ему имение. Старик был сначала бесконечно рад, но год спустя возня с имением ему так надоела, что он стал просить Пьеро освободить его от хлопот. То крестьяне приходят с жалобами, то ветром сорвет крышу с голубятни, то буря разорит виноградники и фруктовые сады, то сборщики угонят скот за недоимки. «Я предпочитаю, — говорил он Пьеро, — умереть с голоду, чем думать зараз о стольких вещах». Пьеро много смеялся над простотой художника и, принявши от него имение, назначил ему еженедельную пенсию, которую художник без хлопот получал в конторе Медичи.

В последние часы пришли к нему родственники и стали упрашивать, чтобы он оставил им свое другое имение, клочок земли в окрестностях Прато. Донателло выслушал их и сказал: «Милые родственники, этого удовольствия я не могу вам доставить. Я собираюсь — и это будет, кажется, более справедливо — оставить свой участок крестьянину, который над ним работал в поте лица. Вы же ничего там не сделали, а хотите, чтобы я подарил его вам в благодарность за посещение. Идите себе с богом. Даю вам свое благословение».

Донателло скоро умер, и его похоронили с большой пышностью в церкви Сан-Лоренцо. Там и лежат они теперь рядом: Козимо, построивший церковь, и Донателло, ее украсивший.

Этот простой человек, так радостно смотревший на мир, так любивший людей, так умевший подмечать в них хорошие стороны и находить своеобразную красоту и в силе, и в энергии, и даже в безобразии, совмещал в себе все данные, чтобы сделаться отцом новой скульптуры. Для него индивидуаль-

ное не сливалось более в условные, общие шаблоны, оно имело самостоятельную ценность и уже служило материалом для типичного. Учителем его была природа, и классики лишь помогали ему понимать ее уроки так же, как они помогали гуманистам схватывать отдельные черты нового мирозерцания. Как и гуманисты, как и Брунеллеско, Донателло создан исключительно общественной эволюцией, поставившей горожанина перед природой и приказавшей ему понимать ее.

Уже в первом крупном произведении Донателло сказались особенности его манеры. В церкви Santa Croce стоит пожелтевший уже большой алтарный рельеф, изображающий Благовещение. Он весь живой. Ангел склонился перед девой, его появление несколько испугало ее; она приветствует его с таким видом, как будто готова бежать, но ее останавливают слова небесного посланца; на ее прекрасном лице одновременно выражаются и смущение и радость. Она с трудом может поверить в свое счастье. Табернакул (алтарная сень) выдержан весь в новом стиле. По бокам колонны с группами ~~масок~~ ~~вместо~~ ~~капителей~~ (их восемь и все разные — характерный признак века индивидуализма), карниз — из своеобразного орнамента, гриф выведен полукругом и украшен тремя кругами. На двух верхних углах по два ангелочка, родоначальники многочисленного роя putti, который должен был посыпаться из-под резца скульпторов Возрождения. Это не прежние условные, стилизованные амурсы, а настоящие живые дети со всеми особенностями своего возраста — веселые, беззаботные, жизнерадостные шалуны, готовые петь, плясать и смеяться без конца.

Все особенности таланта Донателло, оказавшиеся здесь, выразились с полной ясностью в группе статуй, сделанных для украшения церкви Or San Michele, собора и его колокольни. Лучшие из них — св. Иоанн евангелист в соборе, св. Марк и св. Георгий в нишах на Or San Michele¹⁾, Иеремия и Zuccone на кампаниле.

Св. Иоанн сидит в спокойной позе, взор его устремлен вдаль, одна рука опирается на книгу, другая свободно покоится на коленях. Туника падает необыкновенно богатыми

¹⁾ Св. Георгий, стоящий в настоящее время в нише, — копия; оригинал в 80-х годах перенесен в Барджелло.

складками на ноги. Во всей фигуре нет ничего утрированного, беспокойного, но она вся живет: глаза блестят, лоб с нахмуренный, выдает тяжелые думы, в позе видна суверенная решимость. Микель Анджело имел его перед глазами, создавал Моисея. Св. Марк еще лучше. Фигура несклонно изогнута; художник воспользовался этой особенностью классической скульптуры, которая в смягченном виде отлично дает непринужденность позы. Чудесные складки туники бы оживляют все тело. Голова овального типа, в глазах глубокое убеждение. Энергия сквозит во всем. Микель Анджело говорил, что, глядя на св. Марка, легко верить, люди не могли устоять против его проповеди. Св. Георгий едва ли не лучшее произведение Донателло. Юный христианский воин, со щитом у ног, стоит в позе, которая выражает непреклонную решительность. Могучее, гибкое тело обрывается сквозь мягкую кожу панцыря, голова, сидящая на длинной флорентинской шее, обличает уверенность, правая рука, откинувшая плащ, готова подняться на защиту угнетенных, из-под нахмуренных бровей мечут молнии прекрасных глаз. Эта несколько мрачная решительность, *terribilità*, стали называть ее потом, когда она стала господствующей чертой творчества Микель Анджело, проникает насквозь образ св. Георгия. Донателло удалось передать так много мощи жизни и движения при помощи самых скромных, почти скромных средств. Фигура не раскинулась во все стороны, в ней нет кричащих эффектов. Но зритель убежден, что апостол Марк способен глаголом жечь сердца людей, что св. Георгий может сейчас же ринуться в самую злую сечу, чтобы бороться за свои идеалы. Даже и тогда, когда Донателло изображает настоящее движение, как в двух статуях св. Иоанна Крестителя во Флоренции (в *casa Martelli* и в Барджелло), оно ограничивается самым скромным. В обоих случаях св. Иоанн представлен идущим, и все до последнего пальца на нем участвует в этом движении. У природы была вырвана первая тайна.

Благородство, простота, сдержанность внешних приемов, глубина и сила внутренней характеристики — таковы отличительные особенности этой группы произведений Донателло. Здесь христианские традиции, господствующие в искусстве, еще сказываются в творчестве художника в том, что он не

пускает некоторую идеализацию натуры. Лица всех перечисленных статуй, несомненно, флорентинские, и в некоторых случаях сохранены даже те или иные подробности оригиналов, но это не портреты. Традиции заставляют художника сглаживать индивидуальное, но нигде он не приносит в жертву этим традициям верность натуре.

Донателло сам, повидимому, не был вполне удовлетворен этими своими работами. Его молодой бурный темперамент стремится уйти подальше от гнета условной идеализации и отдаться свободному творчеству, он жаждет с головой погрузиться в натуру. И вот, когда ему выпадает на долю задача, очень близко напоминающая первую, он берется за нее совсем иначе.

В наружных нишах колокольни флорентинского собора стоит несколько статуй Донателло, изображающих библейских персонажей. Их моют дожди, засыпает их пыль, горячее южное солнце жжет их мрамор, а между тем среди этих статуй находится знаменитый Зиссоне. Только Флоренция может позволить себе такую расточительность.

Донателло попробовал в этой группе статуй дать настоящие этюды. Это решение отвечало, повидимому, тому беззаветному увлечению натурою, которое охватило художника в этот период. Сохранился очень характерный анекдот, показывающий, до какой силы доходило это увлечение.

Однажды Донателло сделал деревянное распятие и пригласил своего лучшего друга Брунеллеско посмотреть на него и сказать о нем свое мнение. Филиппо был человек прямой и сказал ему, что его Христос не Христос, а простой мужик, посаженный на крест. Донателло совершенно пренебрег задачей изобразить Спасителя, а точно скопировал нагое тело; это худой, но сильный и мускулистый человек, с очень обыкновенным, некрасивым лицом. Какая поразительная разница с распятием Брунеллеско, который, не жертвуя верностью природе, сумел передать божественную одухотворенность и лица и тела так неподражаемо хорошо, что Донателло должен был признать себя побежденным.

История возникновения распятия Брунеллеско такова.

Когда он произнес свой резкий приговор над распятием друга, тот несколько обиделся и сердито проворчал, что если ему не нравится, то пусть попробует сделать лучше. Филиппо

смолчал, принялся за работу, а когда его распятие было готово, он зашел к Донателло и просто пригласил его позавтракать. Оба друга вместе пошли на рынок, где Филиппо купил сыру, яиц, орехов и другой снеди, положил все это в рабочий фартук ничего не подозревавшего Донателло и велел ему итти к себе, обещая догнать по дороге. Но Филиппо нарочно его не догнал, и когда он пришел домой, то застал такую картину. Донателло, как очарованный, стоит перед распятием, руки его, державшие концы фартука, машинально опустились, яйца и все прочее лежало на полу...

Филиппо был очень доволен признанием друга, но переломом истории одержал победу не он, а Донателло. В распятии Брунеллеско красоту придает именно то, чего старался избежать Донателло и чему он все-таки отдал дань в св. Марке, в св. Георгии, — традиционная, полуготическая идеализация. Распятие Брунеллеско смотрит назад, распятие Донателло — вперед. Без него не был бы возможен Христос в Pietà Микель Анджело. И Донателло, несомненно, был прав, не пожелавши итти по этому пути за Филиппо.

Его статуи-портреты на кампаниле и многочисленные бюсты — лучшее его оправдание. Из статуй на колокольне собора лучшая — так называемый Zuccone, Тыква ¹⁾). Донателло был особенно им доволен и любил говорить при случае: «клянусь моим Zuccone». Это — портрет.

Во Флоренции был такой обыватель, знаменитый своим безобразием, — Джованни Керикини, прозванный Тыквой. Донателло взялся его изобразить. Задача увлекала его, он работал запоем, мрамор оживал под его руками, и, глядя, как вырисовываются знакомые черты, Донателло совсем приходил в азарт. «Говори же, говори, чтоб тебя поносом растрясло!» — кричал он, и каменные брызги летели из-под его резца. Получился действительно шедевр. Худое старческое тело. Длинные руки висят, как плети, и не находят себе места, под складками туники чувствуются кривые ноги. Голова с огромным, почти совершенно лысым черепом, лицо — в морщинах, длинный, мясистый нос, нависший над губой, рот до ушей, общипанный подбородок, десяток волосков вокруг рта, вино-

¹⁾ Так и теперь зовут лысых во Флоренции. Слово кроме того означает в разговорном языке нечто в роде нашего выражения «дубовая голова».

вато-пришибленное выражение, — вот Zuccone! Пророк Иеремия и раскрашенный терракотовый бюст знаменитого Никколо да Удзано, дальнейшие опыты Донателло в портретном стиле, — одинаково удачны. Тут для художника, повидимому ¹⁾, была полоса страстного увлечения натурой.

Это увлечение, как видно из перечисленных произведений, имело одну особенность. Художника особенно занимала задача человеческого лица, человеческих дум и чувств, при чем для него с точки зрения художественной проблемы совершенно безразлично, что это за человек. Для него все люди имеют одинаковое право на внимание художника: будь то жалкий Zuccone, с грустной иронией относящийся к собственному убожеству, или блестящий вельможа Никколо да Удзано, политик, ворочающий всей партией Альбицци и самими Альбицци.

Но Донателло не мог остановиться на чистом натурализме. Его порывистая артистическая натура требовала все нового и нового. Быть может, вторая поездка в Рим (1432) повлияла на него в этом направлении: во всяком случае погоня за натурализмом, во что бы то ни стало, сменилась жизнерадостным поклонением красоте внешних форм. Бронзовый Давид в Барджелло, проповедническая трибуна на фасаде собора в Прато и трибуна для певческого хора в флорентинском соборе (теперь в соборном музее) — лучшие выражения нового поворота в художнике.

Давид — прекрасен. На голове простая шляпа поселянина, обитая лавром, на ногах какая-то особенная обувь, в правой руке меч, в левой — камень от пращи, ноги топчут только что отрубленную голову Голиафа. На лице написано спокойное торжество, но сквозь улыбку радости сквозит какая-то задумчивость, облагораживающая весь обрз. Во всем блеске своего нагого не вполне сформировавшегося тела стоит он перед зрителем, открытый со всех сторон, не скованный ни нишей, ни карнизом, ни табернакулом. Давид не только сокрушил Голиафа. Он освободил от векового рабства скульптуру. Теперь она более не служанка архитектуры: перед ней открылся широкий свободный путь.

¹⁾ До сих пор хронология отдельных произведений Донателло далеко не установлена и едва ли будет установлена когда-нибудь, если не поможет случайная находка какого-нибудь документа.

Если в Давиде поражает античная чистота и красота линий, то в барельефах, изображающих хороводы *putti*, — языческий дух беззаботного веселья. Этот пухлый, здоровый маленький народец родился только что. Родители его добрые католики, которые и в церковь ходят, и в бога верят, и в грехах исповедуются, но которые давно утратили старую горячую веру горожан, борьбою добывавших своего бога у застывшей в догматах церкви. Не Донателло виною в том, что красота заняла такое место в мировоззрении его современников. Он только что напрягал все силы своего гения на доказательство того, что в самой безобразной натуре можно найти красоту. Теперь он стал искать в натуре, главным образом, прекрасного и населил храмы своими крылатыми и бескрылыми шадунами, которые ни мало не смущаются святостью места, поют, играют, пляшут, и, глядя на них, упиваясь их красотой, люди приходят в молитвенное настроение. У всякого времени своя вера. Люди XV века, чтобы верить, требовали красоты. Но они еще верили.

Донателло пережил еще один кризис. Под старость, когда руки уже потеряли прежнюю твердость, а глаз не мог более следить за тончайшими изгибами формы, художник должен был отказаться от копирования природы и от таких созданий, как бронзовый Давид. Близость конца настраивала его на торжественный лад, и он отдался весь возвышенным сюжетам. Рельефы из жизни св. Антония в падуанской церкви имени святого, рельефы из жизни Христа в той же церкви, в Сан-Лоренцо и другие, частью разбросанные по галлереям Европы, некоторые мадонны, отдельные статуи — вот главные произведения этого времени. Переход составляет падуанская конная статуя кондотьера Гаттамелаты — группа,носящая более яркий отпечаток увлечения классицизмом, чем какое-нибудь произведение художника.

Гаттамелата — первая конная статуя в новом искусстве, и это, быть может, объясняет, почему Донателло поддался влиянию классиков. Дух антиков особенно бросается в глаза в формах коня, массивных, неестественно тяжелых даже для боевого коня, несколько даже стилизованных. Но Донателло, очевидно, рассчитывал, что для памятника такая монументальность не повредит. Зато фигура самого Гаттамелаты, уверенно сидящего в седле, спокойно, почти небрежно подни-

мающего жезл, его сухошавое тело, выражение его лица — все это обличает мастера, создавшего св. Георгия.

Мадонны, страсти Христовы и чудеса св. Антония дают удивительные образцы трагического в искусстве. Художник отлично владеет техникою перспективы, хорошо взгляделся в приемы классиков, и его образы с необыкновенною силою бьют по сердцам, вызывая в зрителе отголоски той психологической драмы, которую, несомненно, переживал художник в это время и единственным памятником которой остались бронзы и мраморы, выплаканные им. То же впечатление производят статуи Иоанна Крестителя в Сиене и Венеции, св. Магдалина в флорентинском баптистерии. Знание природы послужило художнику своеобразную службу. Оно дало ему материал для беспощадно тонкого изображения изможденной плоти. Тут безобразие не естественное, как у Зиссопе, а искусственное. Художник рассчитывал на особенный эффект.

Мы перечислили лишь главные произведения Донателло. Чтобы подробно говорить обо всем, что выходило из его рук в течение его долгой жизни, нужен большой том. Еще больше, чем своими произведениями, Донателло действовал примером. Лучшие скульпторы следующего поколения: Бернардо Росселино, Дезидерио ди Сеттиньяно, Мино да Фиезоле, Бенедетто ди Майано вышли из его мастерской или воспитались на его вещах. Особняком стоит семья делла Роббиа, которая довела до художественного совершенства старую отрасль тосканского ремесла — производство из глазированной глины. Во Флоренции и в музеях и на улицах очень часто можно видеть белые на синем фоне горельефы и бюсты. Несколько мадонн, находящихся теперь в Барджелло, необыкновенно изящны и отличаются той красотой, которую умели придавать своим произведениям мастера Треченто. На фронтоне Воспитательного дома — множество медальонов, изображающие спеленатых младенцев, милы и привлекательны до бесконечности. Старший из Делла Раббиа, Лука, оставил, впрочем и одно гениальное мраморное произведение. Это певческая трибуна для собора, pendant к такой же трибуне Донателло (теперь тоже в соборном музее). Рельефы покоящих детей на поперечных стенках ее бесподобны по жизненности, красоте и массе движения.

Делла Раббиа, как и Гиберти, действуют на зрителя, главным образом, непосредственной красотой своих произведений. Они пользуются всем, что добыто до них, но их искусство по существу своему консервативно. Им не хватает той мощи, которая дает толчки, которая надолго определяет развитие искусства, которая есть признак титана. Таким титаном был в XVI веке Микель Анджело. В XV им был Донателло. Про него сказано, что он открыл тот мир, который Микель Анджело завоевал, и вообще не раз указывали на их близкое родство. Один современник Микель Анджело, сопоставляя его рисунки с рисунками Донателло, говорил: или Буонаротти донатизирует, или Донато буонароттизирует.

Микель Анджело и доведет до конца работу Донателло.

23. Мазаччо.

В тихом Ольтарно, на небольшой площади, затерявшейся в сети узких улиц и закоулков, стоит старая церковь, бывшая раньше кармелитским монастырем, Santa Maria del Carmine. В 1717 году она горела, но, к счастью, сгорела не совсем, и до сих пор хранит в своих стенах одно из самых поразительных сокровищ искусства.

С первой четверти XV века целые толпы народа приходили в Carmine, отыскивали полутемную капеллу рода Бранкаччи, и часами, и днями простаивали перед фресками, украшающими ее стены. В XV и XVI веках капелла Бранкаччи была своего рода высшей школой для художников. Они там собирались, беседовали, спорили, ссорились, учились, снимали копии. Здесь Микель Анджело получил от Торриджано удар по носу, обезобразивший его на всю жизнь. Здесь юный Рафаэль, восхищенный, набрасывал копии, питавшие его потом в Риме.

Чем же притягивали к себе фрески капеллы Бранкаччи? Они и сейчас целы. Местами они потрескались, местами наполовину стерлись и покрылись темными пятнами, и не всякий сразу поймет, за что так превозносит их молва.

Но молва права, ибо в капелле Бранкаччи совершилось великое таинство. Там родилась новая живопись.

В 1423 году на подмостках только что обведенной стенами капеллы появилось два художника: учитель и ученик.

Оба носили имя Томазо, но в кругах художнической богемы у каждого была своя кличка. Старшего называли Мазолино. т.-е. Томазо Маленький, а младшего — Мазаччо, Томазо Чудной. Оба художника горячо принялись за дело. Учитель начал расписывать потолок, ученику достались стены. Старик писал, строго придерживаясь господствующей манеры школы Джотто. Юноша творил по-новому. Так как Мазолино, скоро отозвали, то Мазаччо остался один и почти закончил шесть фресок, две из которых изображают грехопадение и изгнание из рая, а четыре — историю апостола Петра. Ему было 21 год, когда он начал, и едва исполнилось 27, когда он умер. Смерть его была столь внезапной, что многим приходила в голову мысль об яде ¹⁾.

Среди представителей художественной богемы во Флоренции Мазаччо был чем-то в роде белой вороны.

Нескладный, рассеянный, вечно о чем-то задумывающийся, способный целыми минутами оставаться без движения с полустырытыми губами и устремленным в пространство взглядом синих глаз, Мазаччо недаром получил прозвище Чудного. Жизнь совершенно не задевала его своей практической стороной. Жил он уединенно с братом и со старухой матерью, в веселых пирушках товарищей участия не принимал; любовных приключений никто за ним не знал. Так как художника, хотя бы самого гениального, в то время мало отличали от маляра, то зарабатывал он всего шесть сольди в день. Вечно без денег, он был частым гостем ссудной кассы. Он никогда не помнил, кто брал у него в долг, кому он должен сам, нередко вынужден бывал являться в суд за неплатеж долгов, и все-таки только в крайней нужде обращался к заказчикам за гонораром.

Современников приводил в недоумение этот юноша, который казался им не от мира сего. Между тем, никто не умел так наблюдать и так проникнуть взором в окружающий мир, как Мазаччо. Это он своими синими глазами впервые разглядел изгибы гор, линии складок одежды, живые рельефы нагого тела. Это ему природа и люди впервые предстали не сквозь призму условностей стилизации, а в своем естественном виде.

¹⁾ Работы в капелле закончил уже много лет спустя сын его ученика Филиппо Липпи, молодой Филиппино.

Если его фрески в капелле Бранкаччи не производят большого впечатления, то это потому, что Мазаччо понятен, ибо мало отличается от последующих художников. Он находится уже по сю сторону.

И оценить его по-настоящему можно, только сопоставляя его с тем, что было до него.

Джотто развязал человека, освободил его от целого ряда условностей византийской манеры. Джотто пустил в картину природу, пейзаж, животных. Джотто научил рассказывать красками на стене эпизод. Это были гигантские толчки, и их перерабатывали последователи Джотто в течение целого века. Вперед они не пошли, новых горизонтов не открыли, и это, быть может, служит показателем всей огромности дела, сделанного Джотто. Среди учеников и последователей Джотто были крупные художники: Гадди, Орканья, творцы фресок в Испанской капелле монастыря Sante Maria Novella, наконец сиенцы. Но то, что они сделали, было непосредственным продолжением дела Джотто. Они разрабатывали его манеру передавать настроение при помощи группировки фигур и трактовки движения.

Отношение к природе осталось то же. Ни воздух, ни перспектива, ни пейзаж, ни рисунок не стали совершеннее. Господствовал интерес к душевной жизни, к внутренним переживаниям человека. Новым был только присутствующий некоторым аллегоризм, тормозивший прогресс.

Таково было положение дела, когда стал работать Мазаччо. Он начал там, где кончил Джотто, и когда он умер, живопись была подвинута так далеко, что принципы, брошенные Мазаччо, пришлось разрабатывать еще продолжительнее, чем принципы Джотто.

И чем больше наука углубляется в изучение дела Мазаччо, тем более крупные размеры принимает его фигура. Даже спокойные немецкие историки искусства говорят о быстро сгоревшем юноше, как о каком-то чуде, ниспосланном небесами.

Живопись до Мазаччо и живопись после Мазаччо — две совершенно различные вещи, две разные эпохи.

Джотто открыл тайну передачи ощущений человека и толпы. Мазаччо научил изображать человека и природу.

Человеческое тело, нагое и одетое, сразу приблизилось к жизни. Посмотрите на тела Адама и Евы в сцене изгнания

из рая или взгляните в нагие фигуры на фреске, изображающей крещение язычников ап. Петром! Исчезли сухие линии, стали чувствоваться выпуклости, под кожей обозначилась живая игра мускулов, словом, родился анатомически верный этюд. Адам, согнувшийся от скорби, судорожно прижавший руки к лицу, полная отчаяния Ева, в порыве вдруг родившейся стыдливости, пытающаяся прикрыть свою наготу; юноша, ожидающий очереди, дрожа от холода, — все это шедевры, немедленно обратившие внимание чуткой к прекрасному флорентинской толпы.

Позы, выражения лиц, широкие натуральные складки одежды, сияние в виде легкого кружка над головою святого, свободно следующего за всеми его движениями, тщательная характеристика даже физиологических изменений (у присевшего, чтобы поймать рыбу, Петра кровь бросилась в лицо, заблестели глаза у больного, вылеченного прикосновением тени) — все это впервые по-настоящему приблизилось к природе.

А пейзаж! Он совсем освободился от стилизации. Горы уже не заостренные, уступчатые голыши, а настоящие горы. Они то принимают мягкие очертания отрогов Апеннин, окружающих Флоренцию, как в «Чуде с дидрахмой», то складываются в суровый скалистый пейзаж, как в сцене крещения. Земля, на которой стоят люди, — настоящая плоскость, на которой действительно можно стоять и которую глаз может проследить до заднего фона. Деревья и вообще растительность — уже не бутафория, то стилизованная, то просто выдуманная, а сама природа. Здания не выводятся затейливо сверху до низу; часто видна только нижняя половина их, но зато если люди, фигурирующие на картине, вздумают войти в дома, от этого не произойдет никаких неудобств: крыши они головами не прошибут, стен плечами не развалят. А у Джотто и его последователей, у которых доминирует интерес декоративного эффекта, такая опасность грозит сплошь и рядом.

Чем же был произведен этот чудесный переворот в живописи? Средства были простые, но Мазаччо первый стал применять их удачно. То были рисунок, перспектива и светотень. До Мазаччо мы не встречали такого твердого, легко и верно передающего естественные линии рисунка. Мазаччо стал смотреть, как все происходит в действительности. Тогда сами со-

бою отпали и условные позы, и неестественные жесты и выдуманный пейзаж. При точной передаче фигуры и группы освободились от связанности в движении, явилась вольная группировка, которая не стесняет взора, не тяготит его противоречием с природою.

Перспектива сделала то, что на картинах Мазаччо стало чувствоваться пространство. У его предшественников был фон. Византийцы делали его золотом, итальянцы отступили от этой манеры, но фон не перестал быть фоном от того, что гладкое золото сменилось пейзажем и архитектурным задним планом. В их картинах не хватало воздуха. Мазаччо сотворил воздух для живописи. В «Чуде с дидрахмой» глаз зрителя охватывает сразу огромное пространство: зеленые холмы на заднем плане стоят далеко, по разбросанным в разных местах между ними и апостолами деревьям видно очень хорошо, как велико пространство, разделяющее оба плана картины. В «Чуде с тенью» перед вами настоящая улица, по которой идет группа людей. Эта группа, с ап. Петром впереди, на ваших глазах прошла уже несколько домов, и вы ясно видите пространство, ею пройденное.

То же и с искусством светотени. Светотень служит у Мазаччо двум целям. Она, во-первых, дополняет рисунок, сообщая ему рельеф, а, во-вторых, позволяет дать картине то освещение, которое лучше всего отвечает замыслу художника. Мазаччо продолжает завоевание тайны осознательности.

Усовершенствования в области рисунка, перспективы и светотени представляют прежде всего интерес с точки зрения истории искусства. Но все это тесно связано с рядом других вопросов, более широких, освещающих крупные проблемы истории культуры.

В деле Мазаччо нужно различать то, что является продуктом времени и продуктом его личной исключительной одаренности. Время было таково, что природу изучали со всех сторон. Она интересовала с разных точек зрения самых разнообразных людей. Общественный деятель, ведущий борьбу с церковью, проклиная природу; гуманист, которому древние греки и римляне открыли глаза на красоты природы; поэт, воспевающий теперь эти красоты; обыватель, научившийся находить наслаждение в созерцании волшебного пейзажа

Фьезоле, Поджо а Кайано, Валломброзы; художник, пытающийся схватить глазом и передать кистью то, что его окружает, — все сходились в одном — в стремлении приблизиться к пониманию природы.

Художнику эта задача должна была быть особенно близкой. Недаром Брунеллеско отдал столько времени, чтобы найти теоретические законы перспективы. Но от теории до практики было довольно далеко; Брунеллеско выучил тому, что знал, своих друзей живописцев — Паоло Учелло и Мазаччо. Паоло просиживал целые ночи напролет над решением перспективных задач, и когда жена звала его спать, только и восклицал: «Какая прекрасная вещь эта перспектива!» Но бессонные ночи мало помогли ему. В его картинах перспектива еще сильно хромает.

И художники искали не только перспективы. Начиная с одного из гениальнейших последователей Джотто, Андреа Орканья, они пытаются отметить рельеф с помощью света-тени. И ищут, и бьются в бесплодных усилиях.

Задачи, которые разрешил Мазаччо, носились в воздухе. Они назрели давно, но не было гения, способного схватить и выразить их. Явился Мазаччо и сделал то, чего не могли сделать другие. Задачи, им решенные, были выдвинуты общественной эволюцией, но для того, чтобы решить их, нужны были исключительные дарования и совершенно сверхъестественная способность воспользоваться всем, что было сделано в искусстве раньше. И не только в живописи. Ведь когда Мазаччо начинал, он имел возможность не только пользоваться указаниями своего старшего друга Брунеллеско по теории перспективы. Он уже видел, как пользуется перспективою в своих рельефах Гиберти, как моделирует человеческое тело его другой гениальный друг — Донателло. Живопись шла по следам пластики, ее опередившей. Отдельные ветви искусства помогали одна другой, и все вместе впитывали в себя идеи, которыми жило общество.

Одна из самых любопытных черт художественного развития Мазаччо заключается в том, что оно было совершенно свободно от влияния антиков. В его время уже можно было заимствовать многое, и он имел возможность сделать это, но, кроме нескольких архитектурных мотивов, он не взял ничего. Подобно Донателло и Джотто, он учился от при-

роды и от тех, кто раньше его постиг тайну воспроизведения природы.

Такова была роль Мазаччо. Если бы не пришел он со своим взором, умевшим все схватить, со своей рукой, умевшей все изобразить, в моменты грез на яву похищавший у природы одну ее тайну за другою, пришел бы другой гений, который выполнил бы ту же задачу. «Чудо» появления Мазаччо заключается в том, что гений был ниспослан именно тогда, когда он был более всего нужен.

Сев, брошенный им в художественную ниву, взошел и принес обильные плоды. Два самых выдающихся его сверстника — Паоло Учелло и Андреа дель Кастаньо — признали его своим учителем. И если первый не в силах был еще освободиться совершенно от старой манеры, то второй использовал заветы Мазаччо до конца.

Необузданный, буйный, всегда готовый схватиться за кинжал, Кастаньо особенно увлекался одной задачей: изобразить на лице человека его душу, его характер. Портреты-фрески Кастаньо, ныне собранные во флорентинской Sant' Apollonia, по силе экспрессии превосходят все, что дала до него итальянская живопись.

Как живые стоят Данте и воспетый им Фарината, благородный патриот, спаситель Флоренции. Дикой мощью, беспощадной свирепостью веет от фигуры кондотьера Пиппо Спано. Он стоит закованный в сталь, с ухарски раздвинутыми ногами, словно вросшими в землю, и крепко сжимает в обеих руках тяжелый меч, готовый бросить вызов небу и аду. Видно, что художник выписывал с особенной любовью родную ему натуру. Но даже в картинах духовного содержания, в Риеџа, в «Тайной вечере» Кастаньо не покидает стремление придавать жестокую выразительность лицам своих фигур. Он не боится уродства, наоборот, ищет его в природе и, как Донателло в мраморе, заносит его на стену или на полотно.

Расстрига-монах Филиппо Липпи завершает в другой области то, что сделал его учитель Мазаччо. Когда он попал в монастырь, он не знал, что с собою делать. Жажда веселья наполняла его, жизнерадостность была в нем ключом. Природа к тому же одарила его такой любовью к женщинам, что он готов был все отдать для них. Свою монастырскую мастерскую он то-и-дело покидал на произвол судьбы, отпра-

вляясь в погоню за приглянувшейся ему красавицею. Богобоязненные отцы-кармелиты, чтобы заставить его работать, пробовали его запереть. Он свивал из простыни веревки и исчезал через окно. Наконец, он бросил монастырь совсем, странствовал по Италии, побывал в плену у африканских пиратов. Слава его все росла. Много храмов в Италии украсились его фресками. Однажды его пригласили в женский монастырь св. Маргариты в Прато написать алтарный образ и неосторожно поставили ему натурщицей для фигуры мадонны самую хорошенькую послушницу, Лукрецию Бути. Художник влюбился в модель, модель влюбилась в художника, и Филиппо бежал из Прато, захватив с собою Лукрецию. Флорентинцам, хорошо знавшим своего Филиппо, эта история доставила много веселых минут, и серьезный Козимо Медичи, узнав о ней, хохотал до упада.

Вот этот поклонник женской красоты и сделал следующий шаг итальянской живописи. Он создал обвешанный поэзией, окруженный ореолом неуязвимой, но совершенно реальной красоты образ женщины. Его мадонны, его ангелы — все это живые, нежные, прелестные женские фигуры: счастливые матери, влюбленные, мечтательные девушки, девочки-подростки.

Посмотрите его «Венчание св. Девы» в Академии, где изображен целый цветник молодых девушек. В них, правда, меньше святости, чем у Джотто и у Орканья, но зато сколько жизненной правды, нежности и красоты! Мадонна и ангелы сведены гениальным беглым монахом на землю и расквартированы во всех четырех кварталах Флоренции. Только человек, так бесконечно любивший женщин, мог совершить этот переворот. Он был не по плечу ни бесстрастно объективному Мазаччо, ни неистовому Кастаньо. Природа одержала еще одну победу!

Насколько неудержима была эта тяга к натурализму, — видно из судьбы еще одного гениального флорентинского художника.

Фра Анджелико из Фиезоле был полной противоположностью фра Филиппо. Он провел молодость вдали от водоворота общественной жизни, в изгнании в тихой Умбрии, где еще вполне изгладились воспоминания о св. Франциске. Там воспиталась его душа чистыми образами, и когда он вернулся во Флоренцию, он был мистиком до мозга костей. Свой мисти-

ческий восторг он и изливал в картинах. Искусство было для него необходимостью, присущим ему одному способом подвижничества. Он верил, что его чудный гений виспослан ему небом для прославления благости божией, и на каждую свою картину глядел, как на благочестивый подвиг. Он никогда не поправлял своих картин, ибо был убежден, что они вышли из-под его кисти такими, а не иными, по воле божией. Он никогда не приступал к работе, не настроив своей души горячей молитвой, никогда не начинал писать распятие, не оплакивая Христа обильными, искренними слезами.

Только такая горячая, младенчески чистая и непосредственная вера могла создавать те чудные видения, которым удивляется человечество в блещущих до сих пор яркими красками картинах фра Анджелико.

Своей кистью он пел о блаженстве бесплотных духов под куполами райских садов; он прославлял спасителя и мадонну. Он передавал на камень стены или на холст алтарной иконы переживания экстаза, его опьяняющего, образы благочестивых галлюцинаций, осаждавших его тихую, бесхитростную, далекую от земных помыслов, душу. Ему не приходило в голову копировать природу. Ночи ему нужны были для молитв, и ему некогда было решать перспективных задач.

И все-таки, в конце концов, общее настроение наложило печать и на фра Анджелико. Картины последнего, римского периода уже утрачивают прозрачную безмятежность его первых произведений и приближаются к жизни. Мистический налет, который сближал его с тречентистами, стал слегка гаснуть, стали мелькать черты натурализма. Чуткий гений художника, не позволяющий ему держаться вдали от жизни, раз искусство проложило к ней дорогу, подчинил своей власти блаженного монаха.

Отныне уже нет возврата к старому. Искусство и жизнь стали неразрывны.

Брунеллеско в зодчестве, Донателло в скульптуре, Мазаччо в живописи вывели искусство на этот путь. За ними пошли другие. Эта эволюция, помимо своего непосредственного значения, была важна еще по одной причине.

Искусство Кватроченто в Италии, в частности во Флоренции, демократично. Любому чомпи, самому последнему нищему одинаково доступно созерцание и купола собора, и капеллы

Папци, и дверей баптистерия, и св. Георгия, и лысого Зиссоне, и всех шедевров живописи на церковных стенах.

И художник должен был творить так, чтобы быть оцененным обществом. Если общество не оценит его, его художественная репутация погребена безвозвратно. Стараясь найти доступ к пониманию общества и угодить его взыскательному вкусу, художник вкладывает в свое искусство те новые культурные принципы, которыми живет общество: преклонение перед красотой природы и совершенством человека, жизнерадостное наслаждение жизнью, упоение яркими бликами солнца на зелени холмов, бархатной ласкою зари, стальным отливом бурного Арно.

Люди, которые впервые сумели понять и формулировать эти идеи, чувства и настроения, давно носившиеся в воздухе, — гуманисты, — не только не заботились о том, чтобы пустить их в народные круги, а, наоборот, как мы знаем, сознательно отчуждались от народа, писали на непонятном ему латинском языке. Они жили в своей литературной республике замкнутой аристократической группой, народом не интересовались, совсем презирали народ.

Искусство поправило грех литературы, но по необходимости лишь отчасти, ибо пластическим образом трудно было сказать то, что так легко передавалось художественным или просто горячим, искренним словом.

И, быть может, именно потому, что искусство было в это время более демократично, чем литература, протест против аристократической исключительности в литературе раздался впервые из уст человека, бывшего и гениальным художником, и крупным гуманистом.

Он первый заявил, что он пишет не для себя, а для человечества, что предпочитает помогать многим, чем правиться немногим, и потому хочет писать на языке всем понятном, на языке Данте, Петрарки и Боккаччо, на итальянском *volgare*.

То был Леоне-Баттиста Альберти. Он внес новую струю в эволюцию принципов Возрождения.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА.

1. Гуманисты.

Петрарка, 1304—1374.
Боккаччо, 1313—1375.
Марсили, 1330—1394.
Салутати, 1331—1406.
Лоски, 1360—1441.
Никколи, 1364—1437.
Бруни, 1369—1444.
Гуарино, 1370—1460.
Витторино да Фельтре, 1378—
1446.
Поджо, 1380—1459.
Траверсари, 1386—1439.
Манетти, 1393—1459.
Бекаделли, 1394—1471.

Филельфо, 1398—1481.
Марсупини, 1399—1463.
П. К. Дечембрио, 1399—1477.
Л. Б. Альберти, 1404—1477.
Эннеа Сильвио Пикколомини,
1405—1464 (с 1458 папа .
под именем Пия II)—
Валла, 1407—1475.
Понтано, 1426—1503.
Фичино, 1433—1499.
Поллициано, 1454—1494.
П. делла Мирандола, 1462—
1494.

2. Художники.

✓ Брунеллеско, 1377—1446.
Гиберти, 1378—1455.
✓ Донателло, 1386—1466.
✓ Кастаньо, 1390—1457.
✓ Учелло, 1397—1475.
— Лука делла Роббиа, 1399—1482.
Мазаччо, 1401—1428.
Домен. Венециано, 1402—1461.
Фра Анджелико, 1387—1455.
✓ Филиппо Липпи, 1406—1469.
Антонио Полайuolo, 1429—1498
Вероккио, 1435—1488.
Боттичелли, 1446—1510.
Дом. Гирландайо, 1449—1494.

Филиппино Липпи, 1458—1504.
Лоренцо ди Креди, 1459—1537.
Пьеро ди Козимо, 1462—1521.
Дезидерио да Сеттиньяно,
1428—1464.
Бернардо Росселино, 1409—
1464.
Бенед. да Майано, 1442—1497.
Пьетро Перуджино, 1446—1524.
Лионардо да Винчи, 1452—1519.
Микель Анджело, 1475—1564.
Рафаэль, 1483—1520.
Андреа дель Сарто, 1487—1531.